ПАРАЛЛЕЛИ

прибалтийский литературнопублицистический альманах

> № 1 (11) декабрь, 2012

Главный редактор: Вячеслав КАРПЕНКО Зам. главного редактора: Алексей ПОПОВ

Редакционная коллегия:

Елена АЛЕКСАНДРОНЕЦ Геннадий ЮШКО Валерий ГОЛУБЕВ Олег ГЛУШКИН Юозас ШИКШНЯЛИС Арвидас ЮОЗАЙТИС Clandestinus

Римантас ЧЕРНЯУСКАС Сэм СИМКИН

Корректор:

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Компьютерная вёрстка:

Алексей ПОПОВ

Партнёры редакции:

Клайпедское отделение СП Литвы

При участии

Калининградской городской библиотеки им. Чехова

Все авторские права защищены. При перепечатке и цитировании ссылка на «Параллели» обязательна.

Наши партнёры:

Калининградская централизованная библиотечная система Зеленоградская городская библиотека Библиотека им. Снегова

ПАРАЛЛЕЛИ

Прибалтийский литературнопублицистический альманах

Издаётся Калининградским ПЕН-центром с 2006 года

№ 1 (11) декабрь, 2012 г.

Авторам должно сметь своё суждение иметь

Подписано в печать в 20.00 05.12.2012. Отпечатано в типографии Калининградского ПЕН-центра, ул. 9 апреля, 5 Тираж – 500 экз. Печать цифровая.

В оформлении обложки использован «Занавес к "Аиде"» Сергея Калмыкова

СОДЕРЖАНИЕ

Вячеслав Карпенко О патриотизме и честолюбии	4
10 лет Калининградскому ПЕН-центра	7
Единственное стихотворение	9
Память	15
Вячеслав Карпенко Моя память	15
Иван Новокшонов	16
Родившиеся в свитерах	19
Белла – Bella!	20
Проза	27
Андрей Геласимов Азиат и Полина	27
Олег Глушкин Заранее проигранный эндшпиль	
Наталья Горбачёва Рассказы	
Юозас Шикшнялис Перекрёсток	59
Алла Татарикова-Карпенко Лето – страсть моя	65
Карине Асенова Вертолётчик	77
Clandestinus Густас, который решил поменять имя	82
Алексей Попов Дьявол и мисс Стэндстоун	84
Наталья Антонова Святая радиоактивная Ада	90
Поэзия	97
Валерий Голубев	
Валентина Соловьёва	103
Игорь Белов	
Геннадий Юшко	113
Сергей Михайлов	118
Сергей Погоняев	120
Ушли, чтобы вернуться	125
Владимир Фирсов	
Лев Щеглов	132
Валентин Зорин	138
Сэм Симкин	
У нас в гостях	143
Альфонсас Навицкас Цикл о Кристийонасе Донелайтисе	
Антанас Шимкус Из цикла «Сезон окончен»	
Марцелиюс Мартинайтис	151
Пранас Нарушис	154
Ричардас Шилейка	159
Михаил Голденков	163
Ева Любиньска	
Реэт Куду	172
Арвидас Юозайтис	
Дебют	181
Лада Сыроватко Переводим Милоша	
Александр Ковтун	
Наталья Кардач-Лисова	193
Публицистика	197
Алексей Симонов Дю Вентре в эпоху джу Гашвили	
Романас Борисовас Когда время меняет свой бег	
Олег Турушев Россия - Польша: кто мы?	212
Михаил Никитин Встреча в Берлине	
Марина Попова Путевые заметки о современном искусстве	
Наша книжная полка	229



О ПАТРИОТИЗМЕ И ЧЕСТОЛЮБИИ

В последние годы мне больно проходить даже по красивому скверу, что на углу улиц Карла Маркса и Космонавта Леонова. Взгляд невольно обращается к бывшему зданию издательства «Янтарный сказ». Конечно, здание по-прежнему незыблемо находится на своём месте, да вот издательства, которое знали и высоко, смею уверить, ценили в России и Европе, теперь не существует. На всех международных книжных фестивалях и ярмарках книги, изданные «Янтарным сказом» были заметны отменным вкусом исполнения, высокой культурой оформления, качеством издания и разносторонностью направлений книг. От миниатюрных, помещаемых в жилетном кармане, «Мыслей об истине...», собранных Львом Толстым «на каждый день», Учения Иоанна Златоуста и «Размышлений» Марка Аврелия до огромного тома с богатым оформлением в кожаном переплёте, заказанного к 1000-летию Казани или подарочной библии с графикой Доре. Однотомные, лёгкие (спецбумага) собрания сочинений Пушкина, Есенина, Лермонтова. И что не менее важно – книги местных авторов, ибо не могут возникнуть любовь к земле и гордость своей родиной без знания истории, как и воспитания чувства поэзии, восприятия красоты и ранимости природы, сопереживания и добра...

Вспоминается в связи с этим патетичное выступление на одной конференции хозяина (или кто он там) «Вестера» и бывшего депутата о необходимости «воспитывать молодёжь в духе патриотизма» и потому необходимо «заказать книгу с патриотической направленностью самой востребованной сегодня писательнице Марининой». Разумеется, хозяину ещё и «бутиков» в «Вестере» «Книжки и книжечки», виднее, кто «патриотичнее». Ведь тот же Бунин или Паустовский, с их поэтическим восприятием отчей земли никак не патриотичны. И всех – от Пушкина и Аксакова до Астафьева или Казакова – никак нельзя соотнести к «патриотам»... тем более, что и к правящей партии они отношения не имеют...

Так вот этот «Вестер» и выкупил здание вместе с издательством «Янтарный сказ», избавившись сначала от директора, а затем, тихой сапой, от профессиональных редакторов, художников, корректоров – словом, от всех и всего, что было заметным лицом Калининграда на книжном рынке России и Европы, а также от писателей, читателей (которых «нужно воспитывать в духе») и первоклассной техники. Конечно же, Анатолий Махлов, бывший директор, не пропал: его опыт пригодился для управления крупнейшей типографией в Риге. А в здании, где были цеха, отделы издательства, печатались ведущие газеты, сейчас обитают десятки, если не сотни, фирм и фирмочек, никакого отношения к культуре не имеющих, но зато успешно их может «стричь» домовладелец. Последним его де-

янием стало закрытие книжного магазина, любовно выпестованного тем же «Янтарным сказом», где проводились даже презентации книг, встречи с читателями и пр. В «Книжках и книжечках» местной литературы и авторов вы не найдёте...

И у такой области, да ещё и оторванной от метрополии, нет своего настоящего издательства, ибо та масса мелких коммерческих печатен никогда не восполнят утраты профессионального комплекса.

А здание теперь приведено в полный рыночный порядок! – В первую очередь открыт ещё один «Вестер». Пузырится новыми дверями банк. Солидный угол занял «Английский паб» с флагами Британии и Евросоюза. А как завершающий авантюру (простите, конечно же – увертюру) аккорд – на месте книжного магазина – знай, мол, наших, и мы не лыком шиты: «Преттория Пармезан»! Два рядом злачных места, но, очевидно, с разной кухней, чтобы господам не наскучило.

Это к вопросу о патриотизме.

Им не осознать, видимо, что в последние двадцать лет дискредитировано само понятие, которое есть душевное состояние, а не флаг для карьеры и шельмования инако думающих. Что это не преданность партии кормления или к государству, которые меняются, но – любовь к матери, к отчей земле, родине-отчизне...

Хотел было процитировать классиков, что такое «патриотизм» для подобных «господ», да у меня нет денег, чтобы в суде отсылать их к Гейне и Толстому...

Недавно мне довелось почти месяц провести в латышском городке Вентспилсе, в Международном доме творчества писателей и переводчиков. Удивительный город и порт, в который я возил бы мэров иных, больших и малых, «населённых пунктов», чтобы научить приобретать «лица необщее выражение».

Город цветов и светлых тротуаров с велодорожками. С массой скульптур, ухоженными парками с якорными аллеями и современными тренажёрами, которые, кстати, поставлены и в жилых кварталах – выходи, пенсионер и школьник, разминайся бесплатно. Удивительным зданием оснащённого театра, в котором проходят европейские конкурсы. И это при том, что здесь нет профессиональной труппы, но занимается театр народный. Гордость – олимпийский центр, где проходят европейские соревнования, а в обычное время – бесплатно работают спортивные секции для юных. И две библиотеки (по обе стороны реки Венты), оснащению которых и каталогу книг позавидуют города-миллионники. Тем более, что там есть детские игровые комнаты, в которых родители могут оставить чад на попечение дежурного библиотекаря и заниматься в читальном зале или у компьютера. И много ещё сказочного, например для нас: при гастролях в театре, а приезжают известные коллективы Риги, Таллинна и других, мэрия доплачивает жителям часть стоимости билета – только бы большее число приобщилось к культуре...

И всё это чудо, которого нет больше во всей Латвии, за двадцать лет выборности сотворено энергией и умом мэра Лемберга, которого город любит и никогда не предаст. Хотя все последние годы, когда город из затрапезного порта превратился в игрушку, попытки Риги и управленцев оттуда сместить главу Вентспилса не прекращаются: больно лакомый кусок. «Он даже свои деньги тратит на город», услышал я сказанное наезжим чиновником с обидой в голосе.

А горожане не отдают своего мэра даже на «возгонку» – в парламент, и не отвернулись, когда он отсижывал несколько месяцев под следствием. И это при том, что «характер-то у Лемберга не сахар», – улыбаясь, сказала мне горожанка. Последний штрих – появилось даже народное название холма – «шляпа Лемберга», а мэр устраивал выставку карикатур... на себя.

К чему я столь многословен в описании города и деяний далёкого мне человека. Знаете, меня давно мучает вопрос человеческого тщеславия и честолюбия. Как это так: человек обретает власть, порой даже и не шуточную – в посёлке, городе, крае, государстве. Власть эта даёт ему всё, в том числе – особенно у нас, в России – сытую ухоженную жизнь, обеспечение жильём, дачами и деньгами ещё и потомков на несколько поколений. Казалось бы, есть время и возможности помыслить: а что же дальше, после ухода туда, где нет ни начальников, ни подчинённых, куда ведь не заберёшь всю эту нажитую мишуру и деньги? Где останется память о тебе – в анекдоте или легенде?...

Мы плохо даже осознаём собственный язык, и во власть-то зачастую приходим недоучками, а потом уже и учиться некогда – надо учить. А язык наш лукав и смыслом полон. Вот – тщеславие – разве не слышится здоровому уху корень – «тщета». А у честолюбия всё прозрачно – любить честь. Кстати, не обращали внимания, что даже офицеры нынче на улице не «козыряют» – не отдают честь друг другу, не говоря уж о ми...да, полиции, ГАИ и прочих. Нечего стало отдавать? Сейчас вновь становятся актуальными песни Владимира Высоцкого, и мне отрадно, что молодежь начинает к ним прислушиваться: «И слово Честь забыто...»

Так вот о честолюбии и власти. Отчего так не везёт России на честолюбивых управителей, которым виделась бы страна на порядок лучше и счастливей, благодаря их деянию? Ведь их потомкам жить в этой стране – нищей, истощённой, растащенной по углам и карманам, с хмуро-озабоченными лицами соотечественников, или – счастливой и богатой разумными детьми и улыбками? Ну не все же уедут, да и не обольщайтесь: там всё равно они останутся чужими... И когда народ, если он и в самом деле народ, а не толпа, перестанет за подачки пускать во власть тщеславцев. И сам обретёт честолюбие, способное обеспечить вечно мечтанное будушее.

Остаётся, как Николаю Васильевичу, воскликнуть: «Дай ответ... не даёт ответа!..»

Вячеслав КАРПЕНКО, председатель Калининградского ПЕН-центра.

10 лет Калининградского ПЕН-центра

Литература, явление хотя и национальное по происхождению, не знает границ и должна оставаться средством общения между народами, вопреки трудностям национального и международного характера.

ПЕН-клуб выступает в защиту свободы печати и против произвольного применения цензуры в мирное время. ПЕН-клуб считает, что необходимое продвижение человечества к более высоким формам политической и экономической организации требует свободной критики правительства, органов управления и политических институтов.

Из Хартии Международного ПЕН-клуба

В эти годы наша организация активно сотрудничала с библиотеками города и области, была одним из инициаторов ставших традиционными Дней литературы, вошла в международную программу «Соседство» проектом «Балтославия». По этому проекту и полученному гранту в течение почти трёх лет совместно с писательской организацией Клайпеды мы проводили ежеквартальные семинары-пленэры молодых литераторов, конкурсы, по результатам которых издавались разделы талантливых поэтов и прозаиков в билингвистском (на русском и литовском языках) журнале «Параллели». Журнал печатал и профессиональных писателей, как местных, так и авторов Литвы, Польши, России, а кроме этого под рубрикой «Ушли, чтобы вернуться» возвращал читателям забытые имена и произведения. Наша организация впервые в 2005 году издала параллельные тексты К. Донелайтиса «Времена года», а в 2010 - подобное же издание в новом переводе на русский язык «Времена».

Уже несколько лет, как ПЕНцентром открыта Литературная гостиная при библиотеке им. С. Снегова, где проходят презентации новых книг, выставки художников местных и литовских, фотовыставки, встречи писателей со школьниками, вечера поэзии молодых авторов и профессионалов. Здесь мы принимали литераторов Швеции, Финляндии, Литвы, Германии, российских писателей. Фестивали «С книгой в XXI-й век», «Славянские чтения», «Весна поэзии» и «Осень новеллы» (Клайпеда) проходят при нашем участии. Книги членов ПЕНа выходят по издательской программе правительства (И. Белов, О. Глушкин, Н. Горбачёва, В. Карпенко, В. Соловьёва).

Настоящее искусство – литература, живопись, музыка – как и творцы его, – не должно быть политизированным, выразителем интересов партий, групп, идеологий. Но произведения настоящих художников создают тот нравственный и духовный фундамент, который открывает путь к планетарному мышлению человека, к осознанию его, человека, значимой частицей мира и природы, пробуждения достоинства и понимания единственности личности. Естественно, это подразумевает и

ответственность за Слово. Это предполагает и активную гражданскую позицию: Калининградский ПЕН-центр неоднократно выступал в защиту журналистов, деятелей культуры, против отторжения памятников и очагов культуры, за толерантность и уважение к человеку, какой бы национальности или религиозной конфессии он ни принадлежал...

Хочется надеяться, что читатель нашего альманаха с пониманием отнесётся к произведениям публикуемых авторов. На страницах «Параллелей» в этом выпуске все члены Калининградского ПЕН-центра. Кроме этого, мы продолжаем линию бывшего одноименного нашего журнала, преобразованного в альманах как по экономическим, так и по творческим причинам. Мы попрежнему остаёмся внимательны к молодым талантам, возвращаем (или напоминаем) нашим читателям забытые имена и произведения писателей, знакомим с литературой и искусством наших ближайших соседей.

Время, увы, безжалостно: в последние два года из жизни ушли такие значительные художники слова, как Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина. Наша организация за эти годы также проводила в вечность своих товарищей — Валентина Зорина и Сэма Симкина, — которые внесли немалый вклад в культуру края. Но их произведения остаются источником духовного климата нации, радостью и откровением каждого мыслящего человека. И потому они — с нами, в нашей памяти и сердце...

Список членов Калининградского ПЕН-центра (2002–2012 гг.):

Карине Асенова
Игорь Белов
Олег Глушкин
Валерий Голубев
Наталья Горбачёва
Валентин Зорин
Вячеслав Карпенко

Вячеслав Карпенко Михаил Никитин Борис Нисневич Сергей Погоняев Алексей Попов

Сэм Симкин

Валентина Соловьёва Алла Татарикова-Карпенко Геннадий Юшко

Единственное стихотворение

Конечно же, у каждого большого поэта есть стихотворение, которое живёт, звучит и открывается новыми гранями мысли и чувства независимо от времени написания. Такие стихи многое могут открыть в поэте: его любовь и тревогу, предчувствие и прозрение, данные ему талантом, даже поворот в личной судьбе, которая экстраполируется на судьбу страны.

Есть, видимо, такое стихотворение и у читателя, должно быть, если он внимателен к Слову, организующему жизнь, если он не живёт одним днём и умеет удивляться, восхищаться рассвету, ненавидеть ложь и радоваться успеху друга. Если он думает о собственной душе и будущем отчей земли. И вовсе не важно, что стихи, врезавшиеся тебе в память, становятся хрестоматийными. Они – твои. И потому – единственные. Потому что они написаны Поэтом, опережая свою жизнь и предвидя – судьбу.

На песчаном белом берегу Островка В Восточном океане Я, не отирая влажных глаз, С маленьким играю крабом. (Исикава ТАКУБОКУ)

И ты прочитаешь такое стихотворение своим сыну или дочери, и в них ты захочешь заронить искру любви, добра и сопереживания чужой боли, вне которых человек лишь функция, манипулируемая кукловодами, а народ – лишь толпа... Не быть «ленивыми и нелюбопытными», на что так горько сетовал наш поэт, встретив повозку с телом Грибоедова, болея о его фатуме и словно предвидя трагические судьбы многих русских гениев – как отражение состояния отчизны...

Вяч. К.

Михаил ЛЕРМОНТОВ

Дума

Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто, иль темно, Меж тем, под бременем познанья и сомненья, В бездействии состарится оно.

Богаты мы. едва из колыбели.

Ошибками отцов и поздним их умом. И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,

Как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы; Перед опасностью позорно малодушны

И перед властию — презренные рабы.

Так тощий плод, до времени созрелый, Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, Висит между цветов, пришлец осиротелый, И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной, Тая завистливо, от ближних и друзей Надежды лучшие и голос благородный Неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслажденья, Но юных сил мы тем не сберегли; Из каждой радости, бояся пресыщенья,

Мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создания искусства Восторгом сладостным наш ум не шевелят; Мы жадно бережем в груди остаток чувства — Зарытый скупостью и бесполезный клад. ІІ ненавидим мы, и любим мы случайно, Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, Их добросовестный, ребяческий разврат; И к гробу мы спешим без счастья и без славы, Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой Над миром мы пройдем без шума и следа. Не бросивши векам ни мысли плодовитой,

Ни гением начатого труда. И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, Потомок оскорбит презрительным стихом, Насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом.

Александр ТВАРДОВСКИЙ

* * *

Я знаю, никакой моей вины В том, что другие не пришли с войны. В том, что они – кто старше, кто моложе – Остались там, но не о том же речь Что я их мог, но не сумел сберечь, – Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...

Варлам ШАЛАМОВ

Сосны срубленные

Пахнут мёдом будущие бревна — Бывшие деревья на земле, Их в ряды укладывают ровно, Подкатив к разрушенной скале.

Как бесславен этот промежуток. Первая ступень небытия, Когда жизни стало не до шуток. Когда шкура ближе всех — своя.

В соснах мысли нет об увяданье, Блещет светлой бронзою кора Тем страшнее было ожиданье Первого удара топора.

Берегли от вора, от пожара, От червей горбатых берегли — Для того внезапного удара, Мщенья перепуганной земли.

Дескать, ждет их славная дорога — Лечь в закладке первого венца, И терпеть придётся им немного На ролях простого мертвеца.

Чем живут в такой вот час смертельный Эти сосны испокон веков? Лишь мечтой быть мачтой корабельной, Чтобы вновь коснуться облаков!

Марина ЦВЕТАЕВА

* * *

Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я — поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти, В святилище, где сон и фимиам, Моим стихам о юности и смерти, — Нечитанным стихам! —

Разбросанным в пыли по магазинам (Где их никто не брал и не берет!) Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед.

Май 1913, Коктебель

Борис ЧИЧИБАБИН

* * *

Сними с меня усталость, матерь Смерть. Я не прошу награды за работу, но ниспошли остуду и дремоту на моё тело длинное, как жердь.

Я так устал. Мне стало всё равно, Ко мне всего на три часа из суток приходит сон, томителен и чуток, и в сон желанье смерти вселено.

Мне книгу зла читать невмоготу, а книга блага вся перелисталась. О, матерь Смерть, сними с меня усталость, покрой рядном худую наготу.

На лоб и грудь дохни своим ледком, дай отдохнуть светло и беспробудно. Я так устал. Мне сроду было трудно, что всем другим привычно и легко.

Я верил в дух, безумен и упрям, я Бога звал — и видел ад воочью, — и рвётся тело в судорогах ночью, и кровь из носу хлещет по утрам.

Одним стихам вовек не потускнеть, да сколько их останется, однако. Я так устал. Как раб или собака. Сними с меня усталость, матерь Смерть. 1968

Булат ОКУДЖАВА

Почему мы исчезаем, превращаясь в дым и пепел, в глинозем, в солончаки, в дух, что так неосязаем, в прах, что выглядит нелепым, — нытики и остряки?

Почему мы исчезаем так внезапно, так жестоко, даже слишком, может быть? Потому что притязаем, докопавшись до истока, миру истину открыть.

Вот она в руках как будто, можно, кажется, потрогать, свет её слепит глаза...
В ту же самую минуту
Некто нас берёт под локоть и уводит в небеса.

Это так несправедливо, горько и невероятно — невозможно осознать: был счастливым, жил красиво, но уже нельзя обратно, чтоб по-умному начать.

Может быть, идущий следом, зная обо всём об этом, изберёт надежней путь? Может, новая когорта из людей иного сорта изловчится как-нибудь?

Всё чревато повтореньем. Он, объятый вдохновеньем, зорко с облака следит. И грядущим поколеньям, обожжённым нетерпеньем, тоже это предстоит.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

(Первое посвящение из поэмы «Мастера»)

Колокола, гудошники... Звон. Звон...

Вам, художники всех времён!

Вам, Микеланджело, Барма, Дант! Вас молниею заживо испепелял талант.

Ваш молот не колонны и статуи тесал — сбивал со лбов короны и троны сотрясал.

ПАРАЛЛЕЛИ ______ декабрь 2012

Художник первородный — всегда трибун. В нём дух переворота и вечно – бунт.

Вас в стены муровали. Сжигали на кострах. Монахи муравьями плясали на костях.

Искусство воскресало из казней и из пыток и било, как кресало, о камни Моабитов.

Кровавые мозоли. Зола и пот. И Музу, точно Зою, вели на эшафот.

Но нет противоядия её святым словам — Воители, Ваятели, слава вам!



моя память

Интересно, какими мы были бы, не вложив нам природа под черепную коробку, кроме разума, ещё и память?.. Скорее всего, вне памяти мы сразу исчезли бы как вид не приспособленный к жизни. Ибо именно память даёт возможность сохранять инстинкты, в том числе главнейший - выживания. Памятью наделено всё живое на планете, иначе жизнь просто остановилась бы. Человеку же именно память позволяет сохранять привычки, накапливать опыт, запоминать дорогу домой и лицо любимой. А человеку, как животному коллективному, присуща, или должна быть, память историческая. Вот здесь уже всё сложнее, ибо этой памятью можно манипулировать, можно её предавать забвению, забывая опыт, ошибки и жертвы при неусвоенном или забытом опыте предыдущих поколений и формаций. Тогда гибнут государства и целые цивилизации... Но грабли у каждого народа всегда под ногами, особенно у нашего...

И ещё память сохраняет нам лица, голоса, слова людей, встреча с которыми порой способна изменить жизнь, масштабнее увидеть и ощутить мир и себя в нём. И вот эта встреченность, как и память о ней, помогает нам выстроить и свои отношения с другими людьми и обществом, обрести понимание своего пути, наконец, просто выживать в нашем непростом мире, не изменяя себе и не принося неуюта окружающим и природе. И вовсе неважно, на какой тропе встретишь ты человека, дарящего тебе свой опыт, своё понимание места под луной или просто - навык выживания. Откровенно говоря, мне везло в жизни на встречи с красивыми людьми, где бы это ни происходило: с таёжником, научившим в любую погоду разжечь костёр, со старым табунщиком, открывающим мне

душу коня... И конечно же повезло на встречи с людьми, чей талант не только профессиональный, но, если позволено будет так обозначить, ещё и талант душевный подарил мне незабываемые мгновения – а наша жизнь и есть всего лишь промельк в бесконечности времени - красоты мысли и чувства. Большой талант всегда щедр на раздачу себя, ибо он и подарен тому, кто способен безоглядно делиться этим даром. Мне вспоминается в Ленинграде в будочке «холодный» сапожник– так назывались мастеровые, которые «на ходу» могли привести в порядок обувь, поставить заплатку, прошить шов, приметать набойку, просто почистить. Ещё не старый, но с лицом человека немало испытавшего, с какими-то васильковыми детскими глазами, но и с хитринкой, этот сапожник собирал вокруг себя немало прохожих, потому что на его руки можно было смотреть, забыв о времени, он сыпал прибаутками, отрывая детские свои глаза от работы, что-то напевал по ходу и, казалось, дратва, прошивающая шов, подпевает ему своим тонким всхлипыванием, а потом вступал молоток, чётко впечатывающий деревянные гвоздики, и вновь речитативом журчал говор, заставляя уносить с собой улыбку привороженным слушателям-зрителям. Художник!.. И сейчас, спустя полвека мне видится это лицо, лёгкость рук и настроения, даримого вот так, от души и щедрости сердечной случайным прохожим...

И ещё мне везло на встречи с художниками гениальными, след от пребывания которых в нашем бренном мире не сотрёт и время. А человеческое обаяние простота общения делает таких люде близкими, заставляя и свою жизнь поверять их мерою. Впечатлениями этих встреч мне и хочется поделиться. Как и болью утраты.

Иван НОВОКШОНОВ

Удивительные порой встречи уготавливает жизнь. Или дорога...

Как-то, во время учёбы на Высших курсах Литературного института, случайная встреча в книжной лавке привела меня в московскую квартиру почти на окраине, на Алтуфьевском шоссе. И улица оказалась знаковой – Николая Лескова, одного из немногих русских писателей, у которых следует учиться языку, вкусу, если угодно, слова, а вот подражать невозможно – «уши» сразу вылезут.

Разговор шёл о художниках, и мне нужно было рассказать о строителе Андрее Зенкове, что возвёл в Верном удивительный деревянный храм, который выдержал в начале века разрушительное землетрясение. О романе «Хранитель древностей» и его авторе, сосланном уже не в Верный, а в Алма-Ату, и работавшем этим «хранителем» в музее, помещавшемся теперь в том диковинном храме. Говорил о необыкновенном, чудном и чудном живописце Сергее Калмыкове, прошедшем через другой роман того же писателя, «Факультет ненужных вещей». Да, роман вышел в Париже, и автор успел подержать книгу свою в руках незадолго до смерти, и это, конечно же, хоть отчасти примирило его с нелёгкой жизнью, с тремя «ходками» в лагери, от СЛОНа до Озерлага. Выйдет ли роман у нас? – сомневаюсь, говорил я тогда (он вышел в России, правда, через два года, спустя двенадцать лет после парижского издания), мы читали его в рукописи, и нигде, пожалуй, в прозе, остающейся высокой литературой, так точно не вскрыты глубинные, причинные корни большого террора, трагедии народа, принявшего сталинщину. Корни предательства и покорности...

– Как вы назвали писателя? Домбровский?..

У седовласой моей слушательницы внимательные глаза за толстыми стёклами очков затуманились. Нет, не от слёз, хотя, как потом стало понятно, была причина и для них. Нет, это память другого времени облаком затянула взгляд: глаза видели иное время, иные лица, то была память невосстановимой утраты и неизбывной боли.

Я уже знал, что Галина Ивановна – писатель, был очарован глубокой культурой и, ещё больше, силой духа этой женщины, двадцать лет боровшейся с параличом, с собственным непослушным телом, отказавшимся служить после фронтовой контузии. Её роман «Малая Бронная», о судьбах парней и девчонок с её родной улицы, что юными ушли в ополчение и потом на фронт, выйдет позже. Теперь же рассказывалось о другом: как ей, только окончившей художественное училище дочери «врага народа», удалось уйти на фронт, замужеством сменив фамилию, выучиться в юридической школе, стать следователем, бежать, узнав о готовом на неё доносе, в глубинку, честно и бескомпромиссно работать, пока не догнала болезнь. А позже вернуться всё же в Москву, пусть и не на родную Бронную, стать художником и писателем, вопреки недугу... «Да, можете представить, - это она вернулась издалека к нашему разговору. – Да, это Юрий Осипович передал мне рассказ о том, как погиб в лагере отец... в сорок третьем, хотя считался расстреляным раньше».

– Нет, не все, – ещё сказала Галина Ивановна, когда я продолжал о романе, размышляя о феномене массового погружения в предательство, именуе-

мое «патриотизмом», в страх и душевный анабиоз.

Конечно же не все подписывали себе приговор, не все, хоть невыносимо изощрённы были пытки, не только физические, но и душевные – доносили и выбивали признание не враги чужеземные, но «свои», и доканывали в лагерях тоже земляки единоязычные... А вот держались, теряли зубы, но не оговаривали ни себя, ни других за глухими стенами «следственных комиссий». Выдержал и её отец, Иван Новокшонов.

Позже прочитал я повесть Галины Ивановны «Иван», узнал судьбу человека легендарного, имя которого вошло в революционную историю Сибири. Прочитал и его книги «Великий Аным», «Таёжная жуть», «Потомок Чингис-хана»...

Сейчас уже, пожалуй, лишь киноведы знают одноимённый фильм Всеволода Пудовкина, поставленный по этой повести – «Потомок Чингис-хана», как, впрочем, и эйзенштейновского «Потёмкина»: а ведь они вошли в сокровищницу мирового кинематогрфа. Но сама повесть, послужившая основой сценария картины Пудовкина, вышла лишь в 1962 году, после реабилитации Ивана Новокшонова. Даже фамилия его была смыта с титров фильма, сценаристом остался Иосиф Брик, работавший тогда в Госкино, который, как редактор, соавторствовал во многих картинах, хотя вряд ли написал что-то самостоятельное.

Известная телеграмма командира партизанского отряда, вскоре ставшего Пятым Зиминским им. Гершевича кавполком, Новокшонова: «...Всем, всем... по линии Зима-Иркутск. Сегодня, 13 января 1920 года, в Зиму поездом 58-бис в чешском офицерском вагоне

прибыл адмирал Колчак. На моё требование о выдаче Колчака комендант станции Зима полковник Вани отказался его выдать. В случае прорыва через Зиму примите меры задержанию Иркутске...». Зиминцы удержали поезд на сутки, помогая подготовиться к встрече «Верховного» и эшелона с золотым запасом России. Другой вопрос, куда это золото и драгоценности делись после их отправки в Москву...

Иван Новокшонов добился личного свидания с Колчаком и оставил в вагоне для сопровождения своего адъютанта Соседко. Это ему ещё припомнится на допросах в 38-м году, номер поезда с адмиралом оказался символичным, по зловещей (ах, как многозначен русский язык: «зло вещать», предсказывать беду...) 58-й пройдут миллионы... В мае 20-го Новокшонов назначается помощником командующего Ингодинской группы войск народно-революционной армии Дальневосточной республики, воюет с японцами.

... «Революцию делают идеалисты и герои, но на смену им приходят негодяи». Добавим – и чиновники. Приходит посредственность. Серость, жаждущая растворить в себе всё выдающееся, чтобы воспользоваться благами «перераспределения», неминуемого в общественном катаклизме... В том самом «мутном омуте» бунтовского коловорота. Началось, увы, это сразу после победы революции, а достигло апогея в 30-е годы. «До основанья, а затем...» - принцип оказался живуч для многострадальной России и её народа, с розовой лапшой на ушах, умело наступающего на собственные грабли и поныне.

Дважды Иван Новокшонов расстреливался белыми, лишь случайно оставаясь в живых. В конце двадцать первого года его вызвали в Москву – для

вручения золотого оружия, но вслед посылается и «р-революционный» донос-оговор, по которому молодой командир партизан на год заключается под следствие в Бутырку. И в этот раз всё обходится благополучно, до уничтожения соратников дело пока не дошло. Зато у Ивана за этот год созрела потребность осмыслить и рассказать о собственном опыте жизни и борьбы. Как и необходимость учёбы – чтением. В журналах публикуется серия рассказов и очерков, сложившихся в первую книгу. В 1925 году Новокшонов вступает в члены Всероссийсского общества крестьянских писателей, возглавляемого Семёном Подъячевым, а вскоре избирается ответственным секретарём месткома общества, много работает в Комиссии по охране авторских прав. Ведёт переписку с ведущими писателями советской и мировой литературы – Горьким и Сейфуллиной, Грином, Фединым и Вс. Ивановым, Роменом Ролланом, Андре Жидом, Драйзером.

Крестьянская Россия, в которой земледелец ещё с реформ Столыпина наконец-то становился на прочные ноги, но был обманут так долго ожидаемым посулом земли, представляла несомненную угрозу новой власти. Бунты на Тамбовщине, в Сибири, на Хопре и Дону, подавленные жестоко, задушенные газом и расстрелом заложников, напугали идеологов большевизма. Троцкий родил безумную идею «трудармии», должной заменить индивидуальное крестьянское XOзяйствование. Сталин реализовал эту идею во «всеобщей коллективизации», которая привела страну к полной утрате земледельца и, по сути, хлебной зависимости от импорта на долгие годы. Как и реанимации крепостного состояния деревни.

С началом коллективизации был

разгромлен и «центр кулацкой идеологии» – Общество крестьянских писателей. По этапу вскоре пойдут, чтобы погибнуть, Клюев, Клычков, Орешин... По счастью избегнет этой участи Андрей Платонов, на рукописи которого «Усомнившийся Макар» Сталин оставит ремарку «талантливый негодяй».

Время Ивана Новокшонова ещё не подошло: пока, по совету единомышленников, он переезжает в Свердловск, подальше от столицы. Здесь он руководит строительством Дома литературы и искусства, становится его первым директором, участвует в создании объединения, а затем Союза писателей, пишет пьесу для детского театра «Храбрый портняжка», работает над повестью «Потомок Чингис-хана».

Всё заканчивается ночью 37-го, заключением «без права переписки», хотя жить ещё остаётся почти семь лет. До той весны 43-года, о которой и рассказал другой з/к-писатель, выживший в Озерлаге, Юрий Домбровский моей новой знакомой Галине Ивановне. Весна выдалась скорая, пошёл лёд, бурлила половодьем река и грозила затопить контору лагеря. Естественно, спасать имущество и само начальство должны были зэки. Ивану досталось переплавлять на лодке сейф с документами. В сопровождени новобранца-охранника с винтовкой. Лодку накренило течением и льдинами, грузный сейф навалился на борт, лодка перевернулась, оба её пловца оказались в воде. Солдат с винтовкой, страшащийся выпустить её из рук, отягощённый сразу набухшей шинелью, хлебнул воды и принялся тонуть. Новокшонов, пять лет значащийся под номером на изношенном фуфане, был всё-таки сибиряк, даже несмотря на каторжный лесоповал, в свои сорок пять не потерявший природной силы, нырнул за парнишкой...

и его винтовкой. И доплавил их до спасительной суши. Дальше понятно: служивому дали спирта, обтёрли-переодели, а зэка, как был мокрого, впихнули в барак, где он и сгорел в воспалении лёгких...

Такую вот историю поведала мне Галина Ивановна в московской квартире на улице имени писателя Лескова. Сказать, что оказался я там случайно было бы не совсем верно: я был влюблён в актрису, её дочь, как понял из рассказа -- внучку Ивана Новокшонова, с кото-

рой у нас спустя два года родился сын. Мой младший. Разумеется – Иван. Хотя Галине Ивановне не довелось об этом узнать, она ушла раньше...

Конечно, «рукописи не горят», как золото, не растворяются они в серной кислоте посредственности. И том с произведениями Ивана Новокшонова вышел в серии «Сибирский роман».

Но сколько их, так и не написанных, погибло для культуры и души России не сможет подсчитать, пожалуй, и сам Воланд...

РОДИВШИЕСЯ В СВИТЕРАХ

Все слова, сказанные в связи с уходом Андрея Вознесенского, не в состоянии выразить боль утраты Поэта и Человека, жизнь и творчество которого останется мерилом Свободы, Достоинства и Чести...

Его стихи в 60-е не просто собирали сотни и тысячи слушателей в Политехническом и на стадионах, заучивались и звучали на кухнях во всех концах Союза, но – рождали веру в возможность переустройства бытия, осознание и необходимость собственного душевного взлёта и участия. Веру, которая подготовила и сделала возможным освобождение от собственных догм и рабства духа...

Я - ГОЙЯ...

Я - ГОЛОС...

Я - ГОРЛО...

Андрей Вознесенский и был Голосом и Горлом поколения, был – Словом его и Песней...

Тяжело даётся это слово – «был». Да и не может оно быть приложимо к Художнику, который всего себя отдал, растратил, раздарил – и нам, живущим, и тем, будущим, что придут на смену. Он – ЕСТЬ: в Слове, в книгах, в музыке, в спектаклях. Есть и будет – в

Памяти.

«Треугольная груша», «Антимиры», «Ахиллесово сердце», «Взгляд»... «Мастера», «Оза» – нужно только подойти к полкам... Ленкомовские «Юнона и Авось» и «Антимиры» Таганки...

Память... Мне сразу вспоминается ночь июня 1970-го, четвёртый час – ещё ночи, уже утра? – в Алма-Ате, когда раздался звонок и стук в дверь моей квартиры на пятом этаже... И приветственно-вопросительный лай моего дога Балта, потому что в двевсегда самооткрывающихся, стоял наш друг Олжас Сулейменов, а за ним... да-да: Андрей Вознесенский и Таня Лаврова из «Современника», театр давал гастроли в нашем городе... Не узнать их было нельзя, но и узнавать без шока было сложно: такие они были... растерзанные, что ли, – у Андрея прямо на глазах вырастала на голове («кумпол менестрельский») огромная шишка, у Татьяны синяком заплывал глаз («мне ведь играть вечером!..»). «Там во дворе машина... помоги поставить», - говорит мне Олжас, гладя пса, бьющего хвостом. – «Водка есть?..». Водка

была, слава Аллаху и случайности. А во дворе грузовик швартовал качественно помятую «Волгу», дважды проделавшую «мёртвую петлю» на пути из аэропорта, где Сулейменов встречал Вознесенского. И в республиканской газете уже набирались некрологи поэтам и артистам, сведения для которых донёс журналистам услужливый «узун кулак» («длинное ухо»).

А мы пили холодный арак, закусывая языками из бараньих голов, сваренных для Балта, и гости, преодолевая запоздавшие «Испуги, с пупырышками и в пухе», уже шутили о долгой жизни... Впрочем, об этой истории можно прочитать целую балладу, написанную Андреем Вознесенским сразу по следам «ДТП» – «В замедленном дубле. Посвящается АТЕ-37-70...» (Номер был именно такой, словно специально придуманный для символики, хотя год Олжаса – 36).

...Враги наши купят свечку. Враги наши купят свечку И вставят её в зоб себе! Мы живы, Олжас. Мы вечно Будем в седле!

Так и будет, ибо Слово Поэта, разбуживающего Самосознание человека и Совесть его, непреходяще.

Два года прошло с тех пор, как мы проводили поэта, коллегу и друга, вице-президента Русского ПЕН-клуба в самый далёкий путь. А его голос, который не однажды слышал Калининград, его стихи, звучащие здесь и в России уже более полувека, его книги останутся с нами и будут раскрываться молодыми читателями, познающими себя и время через поэзию Андрея Вознесенского.

Мы дети «37-70», не сохнет кровь на губах, из бешеного семени родившиеся в свитерах...

BELLA – БЕЛЛА!

Удивительно, однако даже во сне они появляются для меня вместе. Хотя встречались мы порознь. Отчего так?

Вот уже два года, как ушла Белла Ахмадулина, и мне необходимо было ещё прежде написать о ней, о нашей встрече, о её стихах и музыкальной прозе, которые перечитываю вновь будто заново... Для себя, прежде всего, записать. И каждый раз рядом появляется Веничка – Венедикт Ерофеев. Даже книжки их, подаренные, – Беллы и Венедикта – оказываются рядом, хоть и получены в разное время, да и в разных географических и временных широтах...

Кто знает – вечность или миг

мне предстоит бродить по свету...

Что б ни случилось, не кляну, а лишь благословляю лёгкость: твоей печали мимолётность, моей кончины тишину.

Эти стихи Ахмадулина посвятила - «Веничке Ерофееву», но позже. А в той книге – «Свеча» - что дарена мне в головокружительные три январских дня 80-го года, посвящения ещё не было. Возможно, из-за табу на само имя «Веничка», за которым и для нечутких цензоров рисовались советские «Мёртвые души» - «Москва – Петушки», также закономерно названные поэмой...

Мне повезло: в эти январские дни я сменился на своей высокогорной кочегарке и спустился с гор в город. Алма-Ата, одна тысяча девятьсот восьмидесятый год. Год помпезный и трагический.

Но в тот момент мы были озабочены одним: надо было попасть на чтение Беллы Ахмадулиной. Мы трое – я и мои молодые друзья-поэты, недавние литинститутовцы, Кайрат и Бахыт, знали о приезде Беллы заранее, а вот с билетами вышла промашка. И хотя зал нового Дома офицеров был велик, билетов уже не оставалось. А может быть попросту не нашлись деньги. Впрочем, мои прежние журналистские знакомства с администраторами театров и клубов дали нам возможность просочиться в зал и даже устроиться на ступеньках.

А зал был полон, даже стены не смогли бы пошевелиться, случись и землетрясение, - их надёжно подпирали спины безместных зрителей.

Белла появилась – явилась! – на сцене как-то сразу, зал даже не успел среагировать и только немного спустя грохнули аплодисменты. Которые она остановила одним лёгким движением кисти. И сразу представилась классическими уже стихами:

Это я – в два часа пополудни повитухой добытый трофей. Надо мною играют на лютне. Мне щекотно от палочек фей...

Она сама сейчас казалась феей для почти тысячного зала зачарованных слушателей, вслушивателей в этот голос, в мелодику стихов. Она казалась райской птицей, на радость и муку залетевшей в этот январский стылый вечер: вибрирующее высокое горло, белые лёгкие кисти рук и лицо, оттенённое всем чёрным одеянием. И глубина черноты глаз на белом лице,

словно вбирающих в себя этот зал и видящих – каждого. И к каждому обращённых, как и стихи.

...Это сейчас можно даже в интернете открыть выступления Ахмадулиной, а тогда это было – единственностью для каждого, было встречей с большой поэзией и Поэтом.

Ещё и потому, что умели затаённо слушать стихи почти два часа, и слово оживало многоцветной бабочкой, опускаясь в зачарованные души.

Сидеть на ступеньках мы уже не могли и невесомо текли вдоль стены поближе к сцене.

Мне – пляшущей под мцхетскою луной, мне – плачущей любою мышцей в теле, мне – ставшей тенью, слабою длиной, не умещённой

в храм Свети-Цховели...

Казалось, нам мешает собственное дыхание. А зал наполнялся озоном, и многие сидели с приоткрытым ртом, словно боясь задохнуться в этом наэлектризованном воздухе.

Почувствовав, что прозвучали последние стихи, а Белле всё несут цветы, мы прошмыгнули за кулисы. «Думаешь, удастся?» – сомневался Кайрат. «Мы же её спасём», – шепталось в ответ.

Кажется, в гримёрке был администратор, а Белла улыбалась рассеянно и внимательно, слушая меня. Я же понимал, что смущаться нам некогда, а промедление и непонятость грозят выдворением вон и навсегда. «Белла, – сказал я. – Ты устала, а за дверями народ не даст и в машину сесть. Давай: ты уходишь с нами – это Кайрат и Бахыт, хорошие поэты, но они не будут мучать стихами, они же литинститутские и всё понимают. А я простой

кочегар с космостанции (я интуитивно нажал именно на «космостанцию») и мне скоро подниматься в горы обратно. У нас стол, вино и настоящий плов, в гостинице такого не будет. Да и отдохнуть не дадут... А мы будем пить кумыс!». Она рассмеялась – то ли такой безыскусной наглости, то ли ожидательным лицам моих красивых казахов (а Бахыт тогда и вообще на малайского принца был похож), – и коротко ответила: «А почему бы нет? Поехали!». Её администратор, наверняка, знал характер Ахмадулиной если уж решила, лучше не прекословить. Ей достаточно было удивлённо поднять брови на слабую попытку отговора.

Не знаю уж, наверное её повлекло моё кочегарское горное звание, да и сам шаг в сторону, выламывающийся из предписанного, был ей не чужд. Конечно, я немного лукавил – у меня уже вышло полторы книжки, немудрящих в общем-то, но зато давших позже тему разговора – о моём егерстве, о волках, о конях и собаках, к которым Белла тоже была неравнодушна.

Вот совсем недавно, будучи в Вентспилсе, я узнал, что они с Мессерером лет семь назад тоже приезжали в этот портовый городок. Белла уже была не очень здорова, а Борис Мессерер хотел выйти с рыбаками в море. И поручил сопровождающей женщине опекать Беллу. И что же: «Она всё же сбежала от меня к морякам и говорила с ними, и пила... Мне так было неудобно!» – рассказала о старой обиде моя собеседница.

А тогда мы и вообще не ощущали возраста, а Беллиной энергии можно было поражаться, да и вообще она была ночной птицей. На улице было морозно и хрустко, и мы, тенями об-

ступив Беллу, пытаясь как-то нечаянно запахнуть её шубку, которая всегда оказывалась нараспашку, проскользнули на улицу 8 марта, где – повезло - сразу поймали какую-то легковушку. Водитель, узнав кого везёт, разумеется, довёз нас до дому даром. Беспорядок и пёс в моей, холостяцкой на тот момент, квартире Беллу не смутил, а плов готовить я и сейчас умею всерьёз. Под плов, питиё и знакомственные разговоры о городе, о горах над ним и пережитых селях, но и о литературе, конечно. «О, и телефон есть! – вспомнила Белла. - И позвонить можно? Через восьмёрку?»

«Булатик, это я! Да, здесь поздно, я долетела и здесь у ребят... всё хорошо!»... Мы, конечно поняли, кто на другом конце провода в Москве, и ушли курить на кухню.

Как много значили тогда эти кухни в жизни страны! И даже в её будущей судьбе. Конечно, понятие «кухни» довольно условно – были и квартиры, и мастерские художников, где можно было собраться, выпить и услышать новый анекдот «армянского радио», а главное - поговорить о том, о чём молчал или лгал официоз. На одних говорили о книгах, которые трудно или невозможно достать, передавались «на ночь» машинописные перепечатки того же «Доктора Живаго», или «Факультета ненужных вещей», у меня и до сих пор хранится «Лебединый стан», который ночь печатал на машинке...

- Где лебеди? А лебеди ушли.
- А вороны?
 - А вороны остались.
- Куда ушли? Куда и журавли.
- Зачем ушли?
 - Чтоб крылья не достались.
- A nana где?
 - Спи, спи, за нами Сон,

Сон на степном коне сейчас приедет. – Куда возьмет? – На лебединый Дон. Там у меня – ты знаешь? – белый лебедь...

Или вот «Иконостас» Павла Флоренского... Да много чего – «голоса», «закрытые просмотры»... На других кухнях тяжело пили ту же водку и кляли сволочизм жизни, престарелое политбюро и необходимость «блата», чтобы «достать» или «получить» колбасу... И тоже говорили анекдоты.

Не помню уже – то ли Лёва Щеглов привёз, то ли мне в Москве дал машинопись «Москвы-Петушков» Юра Коваль, у которого бывал в мастерской на Неглинке, но мы ко встрече с Беллой уже знали Веничку Ерофеева по его поэме. А Белла, видимо, была и знакома с ним. И разговор об этой книге, советских «Мёртвых душах», был необходим.

Спустя шесть лет на такой же «кухне» я встретил и Венедикта Ерофеева, возможно ещё не знавшего о подстерегавшей его болезни. Ему, как и Белле, был подарен природой удивительный голос. Его мягкий баритон с некоторой хрипотцой завораживал и сразу забирал внимание тем более, что говорил Веничка (так его и называли за столом) так ёмко и таким насыщенным языком. Позже, уже после его смерти, я слушал его чтение «Москвы-Петушков» и не переставал радоваться, что кто-то сумел записать на примитивный магнитофон (а происходило это наверняка на одной из «кухонь» - слышны даже голоса реакции и смех) - и сохранить этот голос, который мог передавать самые оттенки мысли и образа, автором написанных. И в этой поэме, написанной в 1969, кажется, году и вывернувшей

наизнанку всю рабскую мерзость и лживость государства, как и его поселенцев, эту ложь принимающих, Веничка будто увидел и свой уход в иные дали. Помните: «Зачем-зачем?.. зачем-зачем-зачем?.. – бормотал я. Они вонзили мне своё шило в самое горло...(выделено Вен. Ерофеевым). Я не знал, что есть на свете такая боль, я скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.». Когда это писалось, никак Ерофеев не мог знать, что через двадцать лет ему в горло и в самом деле смертельно вопьётся рак. Что это? Предвидение предопределённости? Как многое, что дано было ему видеть или чувствовать...

Там, в самом центре Москвы, на Пушкинской площади, где через переход можно было зайти в «Шоколадницу» (или «Сластёну»?), пройдя под арку, попадаешь в квартиру «обычного» инженера-электрика Саши Исаркина (теперь-то, вроде, и не страшно назвать), который на дому увлекался переплётным делом и откуда-то получал переснятые на «Эре» (была такая техника - предшественница нынешнего ксерокса) «горячие» книги, за которые можно было схлопотать добротный срок. «Я – потомственный татарин, - смеялся Саша. – И дворник: все московские дворы содержала родня!» Там я и получил в подарок уменьшенную (нонпарель!) копию Веничкиной поэмы, изданной YMCA-PRESS в Париже ещё в 77-м году. Размером в ладонь, но в добротном твёрдом переплёте. И целых два 4-хтомника Николая Гумилёва, копии нью-йоркского издания, один из которых привёз другу Олжасу Сулейменову...

Вот в этой квартире, довольно «проходной» – потому что там всегда находился кто-то, кому было уже трудно подняться после горячего питья и разговоров, да просто далеко ехать. Или надо было пожить несколько дней, как порой Ерофееву или Анатолию Звереву, чтобы прийти в себя. «Какой я вам Толик, – поднимал тяжёлую голову гениальный художник. – Я – Анатолий Тимофеевич!». Голова упадала на прежнее место, однако он мог здесь же и написать портрет, если оказывалась бумага и краски, которые, впрочем, могли быть и в карманах его столь же тяжёлого и неснимаемого пальто. Впрочем, если было что-то, что оставляло след на бумаге уголь, свекла... Невольно вспоминается мой добрый приятель американец Ричард Спунер, юрист какой-то компании и коллекционер художников-«бульдозеристов», советского андеграунда, нонконформистов. В первый раз попав в его представительскую квартиру со стенами, увешанными картинами нонконформистов Яковлева, О. Рабина, В. Немухина и др.), увидел явный рисунок руки Зверева – портрет самого Ричарда. «Как?» – спросил его. «Пришёл в Москве на выставку на Грузинской, рассказал Спунер. - Хожу, смотрю. Подходит человек, довольно уже «под шафе» и спрашивает, не хочу ли иметь портрет работы Толика. Кто же откажется! «Ты американец? – Шесть рублей стоит». И подвёл к Звереву, тот в уголке возле смотрительницы сидел. Знаешь ведь Зверев быстро творил... но его приятель с шестью рублями был ещё быстрее - явился с двумя «Фаустпатронами» - так у вас эти толстые бутылки с портвейном назывались? Знаешь, сколько теперь

этот портрет стоит, хоть и не продам, конечно?» – «Знаю, – загрустил я, помня жизнь художника, которому Сикейрос ещё в 56 году на первом Фестивале молодёжи в Москве вручил золотую медаль, чем вызвал шок академиков ...

... Нам было легко с Белой, в ней не ощущалось ни капли тщеславия или какой-то амбиции, она умно слушала. Мы говорили о любви, вне которой не может быть искусства... и в которой можно сгореть счастливым: это вспомнилась судьба нашего яркого павлодарца – Павла Васильева, стихи которого читал Кайрат. Любовь Павла Васильева и Натальи Кончаловской, которая стала его костром и Голгофой, отчасти способствуя приговору о расстреле из-за озлобленных анонимок завистников таланту, плодящихся во все времена, как клопы...

И мы, естественно, были влюблены в Беллу, эта влюблённость, кажется отражалась и на походке, становящейся лёгкой рядом с ней, сколько бы ни бродили по городу, и в старательном ограничении себя от какой либо навязчивости, и в приготовлении «аборигенных» блюд. Да и кто не был влюблён в Беллу, даже чуть приблизившись... Удивительно, однако все эти три дня общения мы, включая Беллу, не ощущали усталости, несмотря на совсем короткие часы отдыха.

А на следующий день было 25 января. И мы все, почти разом, вспомнили о дне рождения Владимира Высоцкого. У Бахыта готовился бешбармак,, под который легко пилось, а потом пелось. Оба мои друга владели гитарой и классно пели русские романсы, казачьи песни и баллады, песни Окуджавы и Висбора. Надо сказать, что казахи вообще музыкальная нация. А у Кайрата был очень своеобраз-

ный тембр голоса, и когда он запел коронную «Любо, братцы, любо...», глаза Беллы совсем стали бездоннотёмными, она растворилась в песне и странном голосе с переходами от мелодичной сиплости баритона до почти альтовых нот, как мы растворялись в её голосе и стихах.

Мы пили здоровье Высоцкого, ещё не ведая, что он уйдёт всего через полгода.

Я не зря назвал год восьмидесятый помпезным и трагическим. Олимпийские игры в Москве, отягощённые вводом войск в Афганистан и бойкотом крупнейших стран, готовились с помпой как очередная победа идеологии. И здесь же звучал голос Высоцкого, гневя душу в каждом дворе. Невозможность жития в помпезной лжи, уводила поэтов и художников в кочегары и дворники, как в партизаны. А из Москвы на сто первый километр вывозили тунеядцев и прочих «нежелательных элементов», которым вдруг вздумалось бы общаться с иностранцами и чуждой прессой. И в эти пафосные дни смерть артиста, барда и поэта стала шоком для страны. И головной болью руководства. Попытка замолчать или смикшировать эту утрату русского искусства и совести не удалась: от Таганки до Ваганькова шли люди, и цветы устилали этот скорбный путь. И по всей шири земли «от Москвы до самых до окраин» слышался его единственный голос:

Не спешите шибко, кони... Чуть помедленнее... Я ещё постою

на краю...

Мы были детьми одного поколения и одной почвы: война, эвакуация, утрата родных и кормильцев на фронте или в тылу, подсолнечный жмых, как лакомство... И ощущение тех внутренней свободы и достоинства, что принесла правда «оттепели». И вне этой свободы дышать полной грудью уже не могли. И понимание тупика целой - и единственной ведь для нас – страны. Нам нужно было только встретиться взглядом, чтобы понять - «мы одной крови»... Даже в большом многолюдье порой достаточно увидеть глаза человека, чтобы понять это. А у нас с Венедиктом, тем более, по жилам текла одна кровь независимого кочевника, и от места работы вовсе не зависело внутреннее осознание в себе человека. Мне и нынче неприемлемо понятие «субординации», за которым обычно скрывается напыщенность индюка.

Вот почему они – Белла Ахмадулина и Венедикт (Веничка!) Ерофеев для меня в памяти неразрывны, и не только потому, что их подаренные книги стоят рядом.

Они – оголённый электрический провод этой страны, провод самого высокого напряжения, который и сам плавится при коротком замыкании. Трагичная судьба? – скорее, тяжкая – но он её выбрал и строил сам, и был счастлив и независим... или его выбрало провидение, чтобы он мог пережить боль этой земли и сказать, пропеть о ней скорбную песнь. Как прежде выбран был Гоголь.

«Ишь ты», сказал один [русский мужик] другому: «вон какое колесо! Что ты думаешь: доедет то колесо...

в Москву, или не доедет?» – «Доедет», отвечал другой. – «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», отвечал другой. Этим разговор и кончился». («Мёртвые души»).

Вот и Веничка в поэме Ерофеева до Петушков так и не доехал...

Ничто так не таранит тиранию и глупость, как смех и сарказм. Нет, не тот смех от щекотанья пяток и подбрюшья власти, подобный всяким петросянам и аншлагам сегодня. Веничка хорошо знал природу и действенность настоящего хохота, вскрывающего всю мерзость человеческую.

И ничто так не дезавуирует власть, как Красота и Гармония, которых взыскует самая потерянная душа. И этому служила безоглядно Белла, как когдато её любимые Лермонтов и Цветаева.

Я вновь открываю малиновую обложку Беллиной «Свечи», где написано: «Славе – с дружбой, сразу пришедшей. 24-25-26 января 1980 года».

Мы провожали Беллу в аэропорт, мне было необходимо что-то подарить значительное. И я передал ей офорт Тышлера, который привёз мне талантливый режиссёр Юра Пискунов, снимавший в фильме о Эрмитаже и работы художника. Это было, конечно, наивно: «Я подпишу его для тебя у Саши», - засмеялась она. Конечно же она была дружна и с Тышлером, её призванность могла открыть любые двери, как и радоваться таланту – рядом...

В том порту накопитель был внизу, а провожающие могли послать последний привет с балюстрады над площадкой с улетающими. Мы были молоды и легко влюблялись: и сам не помнил, как спрыгнул с этих трёх метров пограничья, чтобы ещё раз пожелать счастливого полёта. Разумеется, даже милиционеры улыбались, выводя меня прочь...

...Летучей мышью, каплей в темноту Вы канули... Лишь в небе опустелом Стихотворения неясный ультразвук Вибрировал высокой нитью:

«Бел-л-ла!..»

– написал позже Бахыт Каирбеков.

В последний раз я увидел Беллу четыре года назад на юбилейной выставке Бориса Мессерера, куда меня привёл мой друг, искусствовед и писатель, Григорий Анисимов. Это была короткая встреча, вокруг было много разного народа, и Белла явно не очень хорошо себя чувствовала, поддерживаемая надёжной рукой мужа, и лицо затеняла шляпа с необъятными полями. Мы поздоровались, а Гриша сказал ей об Алма-Ате, в которой... «И плов и остальное было чудно», – тихо сказала она, чуть приостановившись и протянув такую лёгкую руку. Её глаза были по-прежнему бездонны...

Как её Поэзия.

Вячеслав КАРПЕНКО





Андрей ГЕЛАСИМОВ

АЗИАТ И ПОЛИНА

Летом 1926 года потомок древнего, но крайне обедневшего самурайского рода Миянага Хиротаро завершил курс обучения в университете города Киото и, как лучший студент, получил предложение продолжить своё образование в Европе. Чрезвычайно польщённый этим господин Ивая, который владел в Нагасаки табачной фабрикой и оплачивал его учёбу, немедленно дал согласие на дальнейшее финансирование, и Хиротаро отправился во Францию, где был зачислен на кафедру фармацевтики Парижского университета.

Великий город удивил его керосиновыми лампами в окнах домов на Елисейских полях, поцелуями и тем, что все европейцы оказались на одно лицо. К последнему сюрпризу он ещё в какой-то мере был подготовлен, потому что видел в порту своего родного Нагасаки одинаковых как однояйцовые близнецы американских и русских моряков, но вот открыто целующиеся парижане продолжали шокировать его, наверное, целый год.

Поначалу, если это неожиданно случалось где-нибудь в кафе, он вскакивал изза стола и от стыда выбегал на улицу. У себя в Японии Хиротаро за всю свою жизнь ни разу не видел, как целуются даже его родители, потому что это ни в коем случае не могло происходить при свидетелях. Но здесь всё было по-другому. Распущенные европейцы предавались самым укромным ласкам прямо на глазах у чужих людей. Несколько раз по этой причине ему пришлось остаться голодным и расплачиваться за нетронутый завтрак на улице, где его догонял встревоженный официант.

Поняв, что ему не удастся переубедить ни официантов, ни всех этих целующихся парижан, Хиротаро решил принять неизбежное. Для постепенного привыкания к шокирующему поведению европейцев он обратился к скульп-туре. Мраморный поцелуй смущал его не так сильно, как публичные ласки живых людей.

Лучше всего для этой цели подходил, конечно, Роден, но, ознакомившись по фотографиям с его творчеством, Хиротаро все же не нашел в себе сил воочию увидеть эти немыслимые по японским меркам скульптуры. Фонтан Медичи в Люксембургском саду – вот, пожалуй, был компромисс, на который он мог в этом смысле пойти для начала. Юноша из белого мрамора лишь собирался поцеловать лежащую у него на коленях девушку.

Впрочем, первые два-три раза Хиротаро было нелегко смотреть даже на эти приготовления. В присутствии других людей он стеснялся открыто взглянуть на застывшую обнаженную пару, и причиной этого стеснения была отнюдь не нагота. Будь его воля, он с удовольствием прикрыл бы какой-нибудь мраморной вуалью эти склоненные к поцелую головы, оставив для всеобщего обозрения прекрасные молодые тела.

Именно у фонтана Медичи он впервые встретил Полину. Отвернувшись от изваяния, Хиротаро украдкой наблюдал за другими людьми, стоявшими по обе стороны узкого водоема. Ему хотелось научиться у них той небрежности, с которой они скользили взглядами по волновавшей его скульптуре. Своей безучастностью эти люди напоминали ему орхидеи из храма Кофукудзи в Нагасаки, и он пытался незаметно воспроизвести на своем лице равнодушное выражение их лиц, надеясь, что это приведёт и к внутреннему сходству реакций. Посматривая время от времени на фонтан, Хиротаро старался делать это с лицом типичного парижанина, и в какой-то момент ему показалось, что у него всё получилось – как в детстве, когда он сначала не мог есть осьминогов, и даже боялся в руки их брать, но потом постепенно привык, а к десяти примерно годам уже уплетал их за обе щеки. Важно было себя приучить, и Хиротаро показалось, что да, что вот он себя приучил, и что это, то есть, намечающийся поцелуй, даже начинает ему смутно нравиться. Главное – не спешить. Главное – понемножку.

Как раз в этот момент он вдруг заметил наблюдавшую за ним девушку. Она стояла прямо напротив него, опираясь на чугун решётки и отражаясь вверх ногами в свободном от опавших листьев участке тёмной воды. Хиротаро мог поклясться, что за секунду до этого ни девушки, ни просвета на поверхности водоёма не было – листья покрывали узкую полоску воды таким неподвижным и таким плотным слоем, что она казалась продолжением садовой дорожки, и что по ней можно спокойно ходить. Однако теперь этот цветастый покров чудесным образом расступился, и за гримасами Хиротаро с нескрываемым удивлением наблюдали сразу две девушки – одна из-за чугунной решётки, другая с поверхности гладкой как зеркало тёмной воды. Почти соприкасаясь ногами, они были похожи на сросшиеся ветки цветущий сакуры. Девушка куталась от налетевшего ветра в легкую розовую шаль.

«Почему вы кривляетесь? – сказала она, подходя к нему. – У вас тик?»

«Я не кривляюсь», - ответил он по-французски, но с ужасным акцентом.

«Да? А это вот что?»

Она передразнила его гримасы.

«Вам так скульптура не нравится, странный вы азиат?»

Хиротаро окончательно смутился и не знал, что отвечать. Его старания явно пошли прахом. Ему не удалось выглядеть безучастным, как все остальные посетители Люксембургского сада.

Не говоря уж об орхидеях из храма Кофукудзи.

В первое мгновение он захотел солгать, что всё дело в ярком осеннем солнце и в белизне мрамора, и что от этого у него заслезились глаза, но его французского языка для такой непростой лжи было пока недостаточно. Девушка усмехнулась, прищурила зелёные с тёмными крапинками глаза и пошла к выходу из сада в сторону бульвара Сен-Мишель. Момент был упущен. Хиротаро проводил её взглядом до высоких чугунных ворот, а потом рассеянно посмотрел на скульптуру, которая почему-то его больше не волновала.

Гораздо позже, когда они были уже на «ты», и когда он уже совсем не понимал каким образом столько лет прожил без неё, Хиротаро объяснил ей, что поцелуй на людях для японца – это всё равно что запустить руку женщине между ног гденибудь в людном месте.

«Например, на скамейке посреди бульвара Сен-Жермен?» – спросила она, меняясь в лице от удивления.

«Хотя бы, - ответил он. - Представь себе».

Она представила и поёжилась. Но потом рассмеялась.

«Трудно тебе в Европе».

«Да, нелегко».

Но это было гораздо позже. А в тот день Хиротаро вернулся из Люксембургского сада к себе в квартирку на улице Кампань-Премьер в полном смятении. Провалявшись до вечера на узком диванчике, он даже не притронулся к черновикам своего каталога лекарственных растений Центральной и Южной Франции.

«Значит, так надо», - вертелось у него в голове.

* * *

Эту фразу он когда-то услышал от одного человека, который помог ему избежать больших неприятностей, и с годами эта формула стоического согласия абсолютно со всем, что приносила ему жизнь, незаметно стала для Хиротаро и девизом, и защитой, и непреходящим в своей свежести откровением.

Тогда, в детстве, ему повезло, что господин Китамура Сэйбо собирал глину для своих скульптур именно рядом с табачной плантацией. Масахиро, хромой от рождения сын господина Ивая, никак не мог простить нищему, но очень способному мальчишке внимание и даже любовь своего отца, и потому пакостил Хиротаро при первом удобном случае. В тот раз он затоптал всю посаженную отцовским учеником рассаду, и, если бы не свидетельство господина Китамура, крестьяне наказали бы Хиротаро намного сильней.

Вскоре он научился ускользать от своего мучителя и подолгу прятался от него в саду храма Кофукудзи. Там он рассматривал белые орхидеи, похожие на летящих птиц, мечтал о чём-то туманном или просто дремал, пока однажды его не окликнул какой-то господин. Хиротаро узнал в нём того самого скульптора, который спас его на табачной плантации от незаслуженного наказания.

«Значит, так надо», - сказал он, выслушав рассказ мальчика о новой обиде, и Хиротаро с ним согласился.

У господина Китамура в храме была своя мастерская. Монахи пригласили его на месяц, чтобы он изготовил сто деревянных кукол, предназначенных для праздника богини Каннон. Они собирались раздать их детям.

Перепачкавшись в краске, Хиротаро в тот вечер по просьбе скульптора выкрасил две безрукие куклы кокэси, а на следующий день господин Китамура зашел в табачный магазин, где работал отец мальчика.

«Вот, принес вам статуэтку, – сказал он слегка удивленному продавцу. – Называется «Плачущий мальчик на грядке с табаком». Возьмите, пожалуйста. У меня все равно её никто не купил».

Когда выяснилось, что в бронзовой фигурке запечатлен Хиротаро, его отец попросил скульптора последить за магазином, а сам побежал на фабрику. Господину Китамура в его отсутствие пришлось продать заглянувшему покупателю две пачки сигарет, но вскоре тесный магазинчик наполнился шумной толпой. Пришел даже Санзоу Цуда, который был известен тем, что напал в городке Оцу на русского престолонаследника, когда тот путешествовал по Японии. Цуда хотел убедиться, что

его слабоумный братец не врёт, и что в районе морского порта он теперь уже не будет единственной знаменитостью.

Сначала все долго спорили – похожа ли статуэтка на Хиротаро, а потом решили просто найти его и сравнить. Мальчишек обнаружили на складе, где они о чём-то шушукались позади рулонов с папиросной бумагой. Перед Масахиро извинились и отправили его домой, а Хиротаро повели в магазин. Там его заставили сесть на пол и долго осматривали со всех сторон, сравнивая с произведением господина Китамура. Скульптор улыбался, по-прежнему стоя за прилавком, но не произносил ни слова.

Он вмешался лишь в тот момент, когда кто-то предложил треснуть Хиротаро по затылку, чтобы тот заплакал, и тогда уже точно можно было определить – имеется ли у статуэтки сходство с оригиналом.

«Оставьте его в покое, – сказал он. – А то унесу её обратно».

Бронзовую фигурку немедленно водрузили на полку рядом с коробкой самых дорогих сигарет, а потом ещё долго наслаждались ее созерцанием. Один только мрачный Санзоу Цуда буркнул, что всё это ерунда, и вернулся на фабрику.

Через день Хиротаро снова повстречал скульптора в храме Кофукудзи.

«Хочешь, покажу тебе кое-что интересное?» – предложил тот.

Целый час они бродили вокруг центрального здания храма, и господин Китамура вдохновенно рассказывал о появлении театральных масок и реалистических изображений животных в период Муромати, сменивший период Камакура.

«Видишь, какая глубокая резьба, – говорил он, проводя рукой по каменным барельефам. – До этого так глубоко не резали. Считалось, что всё должно быть плоским. Только плоское тогда было красивым. Как китайское лицо. И лишь в пятнадцатом веке возник объём».

Хиротаро переходил вслед за скульптором от одного барельефа к другому, всматривался в них, кивал, но думал о том, что в отличие от всех этих каменных изображений, цветы и травы в саду были объёмными даже до периода Муромати.

Впрочем, ему нравилось слушать господина Китамура. Очень скоро он стал постоянным гостем в его мастерской. Примитивные куклы кокэси уже через неделю после начала работы наскучили скульптору, и тот стал отлынивать от резьбы. Зато Хиротаро увидел, как ловко он лепит. За пару часов между завтраком и обедом господин Китамура мог запросто вылепить из глины несколько кошек, двух-трёх быков или одного дракона. Животные получались совсем небольшие, но Хиротаро был счастлив. Наблюдая за руками скульптора, он терял ощущение времени, а когда оно возвращалось, на столе перед ним уже сидела глиняная кошка.

Все было бы хорошо, но монахи ждали к празднику богини Каннон сотню кукол, поэтому, в конце концов, Хиротаро пришлось взяться за работу, иначе господин Китамура забросил бы своих зверей. Показав новому ученику, каким образом надо обтачивать цилиндр для туловища, скульптор продолжал насвистывать и лепить из глины быков и овец. А когда наступил праздник, все остались довольны – и монахи, и дети, и господин Китамура. Но больше всех счастлив был Хиротаро. Дома у него скопился настоящий зверинец.

Дождавшись, когда он покрепче привяжется к своим глиняным трофеям, Масахиро побросал их в реку с моста Мэганэ-баси. Ему ужасно нравилось печальное лицо Хиротаро, с которым тот следил за исчезавшими под мостом статуэтками. Швыряя ненавистных зверьков из глины в тёмную воду, Масахиро старался попа-

дать ими в отражение Хиротаро, и всякий раз, когда ему это удавалось, и дрожавшая на речной поверхности горестная фигура разлеталась во все стороны фонтаном веселых брызг, он заливался по-детски счастливым смехом.

«Значит, так надо», – думал Хиротаро, вспоминая слова скульптора, но легче на сердце у него от этого не становилось.

* * *

На Монпарнасе он поселился из-за невысоких цен. По соседству обитали перепачканные красками и вечно злые художники, но до поры до времени Хиротаро не обращал на них никакого внимания. Он был искренне благодарен господину Ивая, и собирался тратить его деньги строго по назначению. Воспоминания о господине Китамура и об искусстве ваяния уже не тревожили его сердце.

К тому же неподалёку от дома номер 32, в котором он снял крохотную квартиру, оказался весьма симпатичный рынок. Из Бретани сюда каждый день везли свежую рыбу, так что, купив немного риса, Хиротаро мог время от времени приготовить себе самый настоящий японский обед. А через месяц после приезда он уже с удовольствием покупал и французский сыр, и вино, и хотя бы в этом отношении чувствовал себя европейцем.

Впрочем, иногда он скучал по Нагасаки. В такие минуты Хиротаро отправлялся к реке и смотрел на мосты, сравнивая их с родным, почти полукруглым Мэганэбаси. Отдалённое сходство было, пожалуй, только у Пон-Нёф, если смотреть на него со стороны Лувра. Однако этот мост почему-то не отражался в воде, и пролётов у него насчитывалось не два, а гораздо больше.

Ёжась от ветра на дощатом настиле не очень симпатичного ему из-за своих металлических конструкций моста Пон-дез-Ар, Хиротаро пытался мысленно добавить мосту Пон-Нёф очаровательную горбинку Мэганэ-баси, убрать лишние пролёты и дорисовать полукруглые отражения на воде, но всё же знакомые с детства «очки» у него никак не получались.

Зато однажды он оказался вознагражден за свои усилия совершенно иным образом. Закрывая ладонью перспективу осточертевшей ему правой половины Пон-Нёф, он старался сосредоточиться на той части моста, которая соединяет северный берег и остров Сите. Хиротаро не обращал ни малейшего внимания на крохотных пешеходов, но вдруг отчётливо увидел розовое пятно. Сердце его дрогнуло, он опустил правую руку и вгляделся в девушку, шагавшую по мосту. С такого расстояния невозможно было судить наверняка, но что-то говорило ему, что он не ошибся. Топая как сумасшедший, он бросился в сторону южного берега, перепугал целую группу детей с двумя или тремя гувернантками и выскочил на набережную Конти. Розовое пятно удалялось от него в сторону бульвара Сен-Мишель.

Добежав до перекрестка, он в нерешительности остановился. Незнакомка могла и не свернуть на бульвар, а двинуться дальше по набережной или исчезнуть в одном из переулков Латинского квартала. Прислушиваясь к своему бьющемуся сердцу и прерывистому дыханию, Хиротаро неожиданно спросил себя – зачем он бежит. Неужели эта чудесная девушка захочет говорить с ним? Слушать его ужасный французский язык? Смотреть на его узкоглазую физиономию?

В конце концов, он даже не был уверен, что это та самая девушка.

Постояв ещё полминуты и отругав себя за несдержанное поведение, Хирота-

ро направился по бульвару домой. Едва он миновал Сорбонскую площадь, далеко впереди снова мелькнуло розовое пятно.

Секунду или две он ещё боролся с искушением, но потом сдался и прибавил шаг. Он подумал, что она опять направляется к фонтану Медичи, и обрадовался этому, потому что последние полтора месяца каждый вечер сочинял и заучивал остроумные французские фразы, которые хотел сказать ей именно там, у фонтана, где он так опростоволосился перед ней, и тогда она перестанет, наверное, считать его тупым, необразованным азиатом. Все что теперь требовалось от него – лишь догнать её и выбрать из всех придуманных фраз самую лучшую.

Но она не вошла в Люксембургский сад. Мелькнув ещё несколько раз впереди своей розовой шалью, она растворилась в вечернем парижском воздухе, а Хиротаро, покружив немного около фонтана Обсерватории, с тяжелым сердцем направился к себе на улицу Кампань-Премьер, до которой уже оставалось буквально два шага.

Однако наваждение с розовой шалью на этом не кончилось. Хиротаро ещё два раза видел её издали на бульваре Распай и один раз прямо из окна своей квартиры. Эта девушка кружила по Монпарнасу как будто тоже искала его, как будто знала, что он живёт где-то здесь. Впрочем, вскоре выяснилось, что дело было вовсе не в нём.

Снова заметив её как-то вечером, задумчиво бредущую вдоль стены кладбища, он решил больше не упускать её и медленно шел за ней целый квартал, не решаясь окликнуть.

В гулком полутёмном подъезде, куда она вошла, так и не заметив шагавшего за ней Хиротаро, сидел пожилой толстый консьерж. Он с удивлением посмотрел на смущённого японца и спросил – оплачено ли у него хотя бы за неделю вперед. Хиротаро ответил, что нет, и консьерж указал ему на выход. Мимо со смехом поднимались по лестнице какие-то молодые люди. Один из них вдруг остановился и схватил Хиротаро за рукав.

«Смотрите, это же Хокусай! – закричал он. – К нам пожаловал сам Хокусай! Падите ниц, бездарные европейцы!»

Все остальные засмеялись еще громче, дерзкий юноша начал отбивать перед Хиротаро шутовские поклоны, а тот, вежливо улыбаясь, освободил свой рукав и вышел из полуосвещённого подъезда на улицу.

На следующий день он выяснил, что в этом доме находится художественная академия Коларосси. Любой, кто хотел, мог заплатить здесь определенную сумму и посещать уроки известных мастеров. По вечерам занятия проводил скульптор Аристид Майоль. Учебный зал едва вмещал всех желающих.

Решив, что девушка в розовой шали занимается именно у него, Хиротаро поторопился оплатить уроки за месяц вперед. Сэкономить он решил на еде. В отчете господину Ивая, который он аккуратно отправлял в Нагасаки в конце каждого месяца, об этой новой статье расходов Хиротаро не сообщил.

Ни в первый, ни во второй, ни даже в третий вечер девушка на занятиях не появилась. Студенты косились на странного азиата, который без всякого дела просто сидел в углу и, казалось, даже не слушал мастера. Он бесстрастно смотрел в одну точку прямо перед собой, как будто не хотел видеть расставленные по всему залу скульптурные этюды, а когда в перерывах к нему подходил тот юноша из подъезда

и со смехом называл его то Хокусаем, то Буддой, он вежливо улыбался, показывая, что ценит его остроумие, а потом опять замирал в неподвижной позе, сам становясь похожим на чей-то уже совершенно законченный этюд.

В четвёртый вечер девушка, которую он ждал, наконец появилась. Она принесла с собой статуэтку, и у Хиротаро, чей взгляд впервые за эти дни сдвинулся с места, перехватило дыхание. Вылепленная незнакомкой фигура была разительно похожа на ту, что господин Китамура когда-то принёс его отцу в табачный магазин. Это было точно такое же скульптурное изображение сидящего на корточках мальчика.

«Как называется?» - нахмурился Майоль.

«Внук адмирала», - ответила девушка.

«Лучше бы он стоял... И почему он у вас ревёт? Его кто-то обидел?»

Скульптор вертел статуэтку, думая уже о чём-то своем.

«Он плачет от страха».

Хиротаро отчетливо услышал, как у девушки задрожал голос.

«Он испугался».

«Лучше бы вы показали нам то, из-за чего он так испугался. Ваяние – самая репрезентативная форма искусства. В нём нет места тайнам и отражениям».

«Хотите увидеть?» – голос её неожиданно стал твёрдым, и в нём отчетливо послышался вызов.

«Хотелось бы».

«Тогда смотрите».

Она быстро прошла к центру аудитории, схватила со стола длинную деревянную указку, вытянула вперёд левую руку и что было сил ударила указкой по этой руке.

Все буквально окаменели от неожиданности, а девушка продолжала бить себя до тех пор, пока к ней не подбежали помощники Майоля и не вытолкали её в коридор. Вернувшись через несколько секунд, они извинились перед мастером, а тот, что держал отнятую у девушки злополучную указку, с почтением положил её обратно на стол рядом с хмурым Майолем. В следующее мгновение Хиротаро поднялся со своего места, подошел к пожилому скульптору, взял у него из рук статуэтку и, не спрашивая разрешения, быстро вышел из зала.

Девушку он нашёл на скамейке рядом с художественной академией. Она курила сигарету, вставленную в длинный мундштук, задумчиво прикусывала верхнюю губу и смотрела на голубей, которые яростно ворковали и наскакивали друг на друга с известными намерениями прямо у её ног.

«Вам нужно поменять сигареты, - сказал Хиротаро, протягивая ей глиняную фигурку. – Этот табак не годится».

«YTO?»

Она подняла голову и прищурилась, разглядывая неизвестно откуда возникшего перед ней азиата.

«Плохое качество», - сказал он.

Девушка пожала плечами и перевела взгляд на фигурку.

«Да, да, очень плохое, – задумчиво протянула она. – Можете оставить этого уродца себе».

Хиротаро тоже посмотрел на статуэтку и на мгновение как будто снова вдруг

оказался в табачном магазинчике в Нагасаки. Только скульптором, вылепившим заплаканного мальчика, был теперь не господин Китамура, а незнакомая грустная девушка, которая курила плохие сигареты и очень нравилась Хиротаро.

«Кто этот мальчик?» – спросил он после минутного молчания.

Девушка слегка нахмурилась, но всё же ответила:

«Мой брат... Только не надо мне ничего говорить про Майоля. Я и без вас знаю, что он прав. Он великий скульптор. Я совсем не злюсь на него. Я вообще ни на кого не злюсь. На людей нельзя злиться. Все люди сделаны из чистого золота. Да, да, не спорьте, пожалуйста, – из чистого золота».

Она замолчала, и Хиротаро показалось, что вот сейчас она наконец заплачет. Он растерянно оглянулся, как будто надеялся на чью-то помощь, но улица в этот вечерний час была совершенна пустынна. Лишь на углу бульвара Монпарнас какой-то любитель абсента некрепко держался за фонарный столб.

«А я вас узнала, – неожиданно спокойным голосом сказала она. – Вы – тот китаец из Люксембургского сада. Который гримасничал».

Она скорчила совершенно нелепую рожу, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Затем от перекрестка до них долетел звук упавшего тела, Хиротаро перевел растерянный взгляд на валявшегося теперь у столба пьяницу, снова посмотрел на девушку, которая продолжала гримасничать, а потом, не удержавшись, все-таки рассмеялся.

* * *

До определённого возраста Хиротаро был уверен в безопасности, незыблемости, а главное – бесконечности своего существования. Более того, он был абсолютно уверен в незыблемости существования всего окружавшего его тогда мира. Если мост Мэганэ-баси стоял над рекой Накадзима до его рождения, то это смутно значило, что он стоял и, видимо, будет стоять там всегда. То же самое касалось родителей, друзей, табачных грядок и, вообще, всего города Нагасаки. Со временем он понял, что это не так. Много позже майор Чарльз Суини на своей «летающей крепости» В-29 подтвердил его печальную догадку.

Впрочем, даже если бы утром 9-го августа 1945 года над городом Кокура не стояла густая облачная завеса, и майор Суини, согласно первоначальному плану, сбросил бы своего «Толстяка» там, а не в Нагасаки, это всё равно не уберегло бы Хиротаро от понимания бренности и ненадежности мира. С главным разочарованием своей жизни он смирился задолго до того, как бомбардировщик «Bock's Car» под командованием 25-летнего майора оторвался от взлётной полосы на тихоокеанском острове Тиниан и взял курс на затянутый облаками город Кокура.

В общем, когда Хиротаро осознал, что жизнь далеко не бесконечна, и что мост Мэганэ-баси мог вовсе не появиться над рекой Накадзима, он перестал беспокоиться по поводу всего остального. Это эмоциональное потрясение, постигшее его ещё в детстве, научило его сдержанности и умению сохранять чувство собственного достоинства в любой ситуации.

«Значит, так надо», – повторял он, когда происходило что-нибудь неожиданное, неприятное или даже опасное для него самого.

Поэтому его удивляли открытые проявления чувств, которые постоянно позволяли себе европейцы. Он привязался к Полине всей своей японской душой, но

долго не мог привыкнуть к тому, что она была способна заплакать по самому пустячному поводу, а после этого тут же рассмеяться. Рядом с ней он чувствовал себя как на вулкане, и это чувство не только удивляло, но и беспокоило его. По мнению Хиротаро Полина вела себя так, как будто ей практически каждый день сбрасывают на голову бомбу, начинённую плутонием-239. За тем исключением, что такой бомбы в то время пока даже не существовало.

Но зато Полина уже была.

«Они отняли у меня скакалку и стали бить ею меня по руке, – волновалась она, рассказывая о причинах, заставивших ее вылепить своего младшего брата в слезах. – А что я такого сделала? Просто сказала, что все французы дураки, и что я не позволю говорить при мне плохо о моем папе».

Полина была очень, очень эмоциональна.

«А маленький Клод сидел рядом на корточках и всё видел. Поэтому испугался и начал плакать. А я его вылепила. Вот таким».

Она была как цунами. За тем исключением, что Хиротаро цунами пока ещё ни разу не видел. С него было достаточно одной Полины.

Когда она узнала, что его двоюродный дядя напал в Японии на русского цесаревича, она едва не лишилась чувств. Полина сама была наполовину русская, но суть заключалась даже не в этом. Оказалось, что её отец служил мичманом на том самом фрегате «Путь Азова», который доставил тогда наследника в Нагасаки и потом в городок Оцу.

Хиротаро и сам был удивлён этим совпадением, но то, что произошло с Полиной, удивлением назвать было нельзя. Казалось, даже ваяние и всё, что связано с искусством, стало вдруг волновать её в меньшей степени, чем это нелепое стечение обстоятельств.

«А ты знаешь, кто ещё был с ними на том корабле? Ты таблицу Менделеева на своих аптекарских курсах учил? Периодические элементы. Или как они там? Химия! Учил или нет?»

Совершенно сбитый с толку Хиротаро кивал, и она продолжала своё взволнованное горячее повествование:

«Там был сын Менделеева, мичман Владимир. И в твоем Нагасаки у него появилась морская жена. По контракту. Они все так поступали. Тоже мне – офицеры! А потом у них родилась дочь. И её назвали в честь горы Фудзи. Ты знаешь её? Внучку Дмитрия Менделеева? Она японка. Ты её встречал?»

Хиротаро отрицательно качал головой, а Полина уже задумчиво смотрела в другую сторону.

«Представляешь, что было бы, если бы этот твой дядя тогда зарубил Николая? – говорила она, и взгляд её становился отрешенным. – Где бы мы сейчас были все?»

* * *

Родители Полины познакомились в России в 1904 году. Её будущая мать, которой тогда только-только исполнилось восемнадцать, приехала туда со сво-им отцом, известным французским адмиралом. Визит был скорее светский, чем военно-морской, и дочь адмирала закружилась по петербургским балам. На одном из них она увлеклась немногословным, но весьма элегантным офицером российского флота. А через два месяца его корабль вошёл в Средиземное море,

и она, сломя голову, бросилась к нему через всю Φ ранцию на свидание в Марсель. Ещё через полгода они обвенчались в Петербурге.

Когда родилась Полина, её мать захотела вернуться с ребенком во Францию. Мужа месяцами не было дома, и она очень скучала в окружении чужих русских людей. Однако родители ей отказали. По их мнению, Россия была теперь её новой родиной, и, став женой офицера, она должна была служить этой родине точно так же, как её отец всю свою жизнь служил Франции.

Их сердца смягчились лишь после начала войны летом 1914-го года. Напуганные масштабами европейской катастрофы, они со слезами распахнули перед дочерью и внучкой свои объятья, но отец Полины не позволил увезти дочь во Францию. Несмотря на все уговоры, истерики жены и даже её нелепую попытку самоубийства, девочка осталась в России.

Три года она воспитывалась постоянно сменявшимися гувернантками, то есть, по сути – никем. Отец приходил из боевых походов смертельно уставший, и ему не было никакого дела до её кукол, до её косичек, до её платьев и до её одиночества. В эти годы Полина научилась забираться по приставной лесенке на верхние полки в домашней библиотеке и сталкивать оттуда на пол огромные книги по искусству ваяния.

Так незаметно, за книгами, наступил 1917 год, и вскоре отец Полины уже нёс службу на одном из кораблей Черноморской эскадры Врангеля. Начиная с десятилетнего возраста, Полина изучала географию по перемещениям того, что осталось от русского императорского флота. Одиннадцать лет ей исполнилось в Севастополе. Тринадцать – в Стамбуле. Четырнадцать – в убогом тунисском порту Безерта.

Африка не нравилась ей, но она привыкла к корабельному быту, и когда её безутешная матушка начала засыпать её отца письмами, требуя вернуть дочь и попеременно называя его то «извергом», то «варваром», Полина сказала, что останется с ним. Во-первых, в свои четырнадцать лет она ненавидела даже саму мысль о предательстве, во-вторых, злилась на мать за то, что та бросила её в семилетнем возрасте, а, в-третьих, ей очень нравился мальчик Коля из военно-морского училища, которое тоже кочевало по морям следом за Черноморской эскадрой.

К 1923 году, когда ей исполнилось шестнадцать, училище перевели из порта куда-то в пустыню, в какие-то горные пещеры, и отъезд во Францию уже не казался ей таким страшным предательством. К тому же в Тунисе не было ни одного приличного скульптора.

Добравшись до городка Сен-Мало на севере Франции, она познакомилась со своим дедушкой, со своим новым папой и с братиком Клодом, родившимся пока она листала в Петербурге огромные тома по живописи и ваянию. Через год на всех русских кораблях в Безерте спустили Андреевский флаг, и отец Полины перебрался в Париж, где по протекции адмирала устроился инженером на завод «Рено».

Хиротаро узнал всю эту русско-французскую историю почти сразу после знакомства с Полиной. Эта девушка в принципе не знала, что такое секреты. Кое-какие детали ускользали от него, но общая картина её предыдущей жизни очень быстро стала ему ясна. Мешал, правда, его плохой французский язык, на котором он сбивчиво задавал вопросы, когда чего-то не понимал. В такие минуты Полина, не отдавая себе отчета, переходила на русский, и разговор заканчивался общим смехом к возмущению библиотекаря, шиканью церковного служки или к мимолетной улыбке официанта в кафе.

«Ты не понимаешь, – говорила она таким тоном, как будто было что-то забавное в том, что он не понимает русского языка. – Я тебя научу».

«Во-да, – повторял он за ней по-русски, опираясь на каменный парапет набережной рядом с мостом Пон-Нёф. – Бул-ка. Па-риж».

У неё были странные теории. Полина вполне серьезно считала, что все проблемы и неприятности в жизни существуют лишь из-за того, что год начинается зимой.

«Ты понимаешь? – горячо, и даже волнуясь, говорила она по-французски. – Зимой! Это же так противно. Слякоть и холодно. У меня, например, мерзнут руки».

Узнав, что китайский Новый Год тоже празднуется зимой, она по-настоящему огорчилась.

«Вот видишь. Значит и у вас в Азии не всё в порядке. Год должен начинаться летом. Тогда все двенадцать месяцев будет счастье. Ты любишь лето? Ну, скажи. Нет, стой! Скажи «лето» по-русски. Давай-давай, говори. Ле-то».

Хиротаро послушно повторял за ней «лето», «давай», «водка», «жара» и ещё множество разных слов, от которых Полина всегда смеялась, хотя сам он не находил в них ничего смешного.

«Хорошо, что тебя не слышат другие русские, – говорила она. – Они бы вообще умерли от смеха».

«Тогда перестань меня учить».

«Нет. Вдруг тебе пригодится».

* * *

Они кружили по центру Парижа, как два цветных стёклышка в картонной трубке калейдоскопа, затерявшиеся среди сотен других ярких осколков, каждый из которых бестолково и радостно мечется в пределах одного и того же круга по воле всесильной детской руки.

Они бродили по кварталу Маре, заглядывая в крошечные дворики, потом возвращались по Риволи в сторону Лувра и заходили в церковь Сен-Жерве-Сен-Проте, где странные фигуры в белом часами безмолвно стояли на коленях вокруг алтаря, а Хиротаро шёпотом рассказывал Полине про синтоистское святилище Сува в Нагасаки и про орхидеи в буддистском храме Кофукудзи. Потом они переходили через остров Сите на другой берег, и он начинал рассказывать ей про мост Мэганэ-баси, который по семейному преданию помогал строить одному китайскому монаху прапрадед Хиротаро.

Оценив близость его квартиры к академии Коларосси, она вскоре перебралась к нему на Монпарнас, и скромных денежных переводов от господина Ивая с этого момента стало едва хватать. Зато Хиротаро снова мог наблюдать за процессом ваяния. Первым делом Полина вдребезги расколотила стоявшую у него на полке статуэтку плачущего мальчика и тут же принялась лепить новую.

«Теперь он у меня будет смеяться. Плаксы нам не нужны. У вас в Японии люди смеются?»

Хиротаро аккуратно собрал с пола все глиняные осколки, а потом попытался пересказать ей на французском несколько классических хокку. Ему хотелось поделиться с ней тем японским, что было особенно дорого для него. И ещё он хотел, чтобы она перестала задавать глупые вопросы.

«Замечательно, - сказала она. - Это стихи? А кто написал?»

«Мацуо Басё».

Через несколько дней, задумчиво разглядывая своего нового глиняного мальчишку, она сообщила ему, что тоже написала японское стихотворение.

«Как ты говоришь, они называются?»

«Хокку», - ответил он.

«Понятно. Тогда слушай мою хокку»

Она провела ладонью по лицу, убирая прядь волос за ухо, и на щеке у нее осталась желтая глиняная полоска.

«Возлюбленная самурая... Драгоценные ножны Для боевого меча».

В комнате на секунду наступила полная тишина, и Хиротаро отчетливо услышал, как за стеной кладбища Монпарнас кричат птицы.

«Ну как?»

«По-моему, очень хорошо. Чувственно и поэтично».

«Да нет, я про мальчишку. Ничего, что он у меня теперь не сидит, а стоит? Майоль не подумает, что я испугалась?»

* * *

Так прошло несколько месяцев. За это счастливое время Хиротаро успел выучить более сотни новых слов, два раза практически до смерти напиться русской водки и познакомиться с компанией бывших врангелевских офицеров.

Офицеры шумно сдвигали столики в заплёванных и прокуренных кафе, смеялись над его русским произношением, упрекали за Порт-Артур и Цусиму, а потом обязательно лезли целоваться и требовали показать «как писают самураи». По вечерам он убирал глиняные осколки разбитых Полиной «адмиральских внуков», и в перерывах между всеми этими занятиями умудрялся продолжать работу над своим каталогом лекарственных растений.

Праздник закончился одним дождливым апрельским утром. Из-за барабанной дроби капель по жестяному подоконнику Хиротаро проснулся раньше обычного. Стараясь не разбудить Полину, он осторожно выбрался из-под теплого одеяла, накинул плащ и, поеживаясь, вышел на угол бульвара, чтобы купить для неё в ближайшем кафе горячую булку и молоко.

На обратном пути он остановился у табачного киоска и купил сигарет. Полина уже давно поняла, что лучше Хиротаро выбирать сигареты никто не умеет, и доверилась ему в этом совершенно. Если бы ему захотелось над ней подшутить, он мог скрутить для неё сигарету, просто нащипав травы у подъезда, – она всё равно стала бы её курить. И даже, наверняка бы, хвалила.

Подойдя к дому, он ещё немного помедлил, чтобы задержать охватившее его ощущение счастья, полной грудью втянул пропитанный дождём воздух и лишь после этого не спеша начал подниматься по лестнице.

В комнате перед ним предстала картина, которую он потом долгие годы безуспешно старался забыть. Полина, как перепуганный зверёк, сидела, забившись в угол кровати, и судорожно прижимала к себе одеяло, а напротив неё в мокром

плаще стоял Масахиро. С мерзкой ухмылкой он тянул конец одеяла на себя и повторял по-японски:

«Покажи грудь. Покажи грудь. Не надо стесняться».

Уронив бумажный пакет с покупками на пол, Хиротаро ужасающе медленно, как будто эта нелепая сцена уже начала мучить его в тяжёлых снах, бросился к Масахиро и оттолкнул его в сторону. Тот налетел на стул, на котором лежала его грязная трость, и рухнул возле окна.

«Как ты вошёл?!! – по-японски закричал Хиротаро. – Как ты вошёл? Говори! Я убью тебя!»

Масахиро в притворном страхе закрылся руками и захохотал:

«Не убивай меня, господин! Не убивай меня, повелитель клизм и лечебных пиявок!»

«Как ты вошёл?» - повторил Хиротаро.

«Дверь была не заперта. В следующий раз будешь умнее. Помоги мне подняться».

«Кто это?» – едва слышно спросила по-русски бледная от страха Полина.

«Не хочешь обнять друга детства? – ухмыльнулся Масахиро и сел на полу. – Какой-то ты негостеприимный».

* * *

Он приехал, чтобы вернуть Хиротаро в Нагасаки. Дела господина Ивая в последнее время шли всё хуже и хуже, и теперь он не мог выплатить своему банку даже процентные ставки по кредиту. Табачная фабрика уже полгода работала в убыток. Единственным выходом оставалась выгодная женитьба, но родители невесты отказали господину Ивая после встречи и переговоров с Масахиро. Они вежливо прочли все медицинские справки, предоставленные стороной жениха, и высказали опасение, что его врождённая хромота всё-таки может передаться по наследству. Масахиро не удалось увидеть невесту даже краешком глаза.

«Поэтому отец решил, что женишься ты. А капитал потом переведёшь на его имя. Иначе фабрику придется закрыть. И магазин, кстати, тоже. Да, и вот еще что, чуть не забыл, – у тебя умер отец. Так что, давай, собирайся».

Полина умоляла его остаться, но Хиротаро ответил, что выбора у него нет.

«Значит, так надо», – добавил он, и первый раз в жизни почувствовал, как на мгновение вокруг него останавливается весь мир.

На вокзал она примчалась в самую последнюю минуту. Хиротаро вообще не хотел, чтобы она провожала его, но она, разумеется, не удержалась и, вскочив с места прямо посреди занятия, вдруг выбежала из художественной мастерской.

«Вот видите, господа, – развел руками Майоль, глядя на захлопнувшуюся дверь. – Вот вам пример того, как женщины на самом деле любят скульптуру. Так что, не верьте сказкам про Камилу Клодель. Роден был бы великим и без этой сумасшедшей из Мондеверга. Думаю, нашу прекрасную даму тоже поджидает психиатрическая лечебница».

На Восточном вокзале царила обычная толкотня, и всё же Полина увидела двух японцев практически сразу. Они молча стояли у вагона франкфуртского поезда с такими невозмутимыми лицами, как будто это не они оказались в самом центре Европы, а Европа вдруг навязалась им, и эти двое теперь просто-напросто вежливо терпели её присутствие.

«Вот, – выдохнула Полина, хватая Хиротаро за рукав. – Я принесла тебе подарок. Чтобы ты помнил меня. Ты будешь обо мне помнить?»

Он посмотрел на деревянную статуэтку в её руке и впервые за последние три дня улыбнулся.

«Где ты это взяла?»

«У букинистов на набережной. Они сказали мне, что это японская богиня Каннон».

«Да, так и есть. Спасибо тебе большое».

«Только почему-то выглядит как мужчина...»

«Нет, это богиня Каннон. Они тебя не обманули. Просто у нее есть мужское воплощение».

«Не уезжай, я прошу тебя, - голос её задрожал. - Мне будет без тебя плохо».

«Что она хочет?» – по-японски спросил Масахиро.

«Она принесла мне подарок», - ответил Хиротаро.

«Фальшивую тибетскую статуэтку?»

«Не твое дело».

«Зачем она её принесла?»

«Не твое дело».

Полина нервно переводила взгляд с одного на другого, пытаясь понять о чем они говорят.

«Что ему надо? – наконец не выдержала она. – Пусть замолчит! Я не хочу, чтобы он говорил! Пусть замолчит! Я его ненавижу!»

«Урод!» – добавила она по-русски.

«Какая смешная дурочка, – с улыбкой сказал Масахиро. – Они все тут такие?»

В поезде Хиротаро долго смотрел на деревянную статуэтку с четырьмя руками, а затем положил её в саквояж рядом с последним «Внуком адмирала». Он умудрился спасти его от участи всех остальных, сказав Полине, что ему просто надоело собирать осколки, и легче выбросить статуэтку всю целиком – до того, как она разлетится на части. Поэтому теперь улыбающийся от уха до уха «Внук адмирала» лежал у него в саквояже рядом с деревянным Бодхисаттвой Авалокитешвара, и Хиротаро смотрел на эту пару, не находя в себе сил перевести дыхание, закрыть саквояж, убрать его на полку для багажа и продолжать, как ни в чем не бывало, ехать по залитой дождем Франции в сторону немецкой границы, в сторону Азии, в сторону Нагасаки – словом, все дальше и дальше от Парижа.

«Значит, так надо, – вертелось у него в голове под стук железных колес. – Значит, так надо».



Олег ГЛУШКИН

ЗАРАНЕЕ ПРОИГРАННЫЙ ЭНДШПИЛЬ

Каюсь, я долгое время не придавал значения эндшпилю. Я старался в шахматной партии все решить в середине игры. Любил авантюрные варианты, охотно жертвовал фигуры. Меня манил вихрь комбинаций. Стоило ли думать об эндшпиле, когда рушились пешечные преграды и взламывалась защита. И противник вынужден был класть своего короля. Шахматы не были целью моей жизни. Для меня это была просто игра. Серьезные игроки думали об эндшпиле и старались не тратить сил впустую. И в эндшпиле так сказывалась каждая сбереженная пешка, становившаяся ферзем. Я не стал чемпионом. Сегодня можно вспоминать, вздыхая о прошлом, анализировать не только сыгранные шахматные партии, но и всю свою жизнь. Жара и внутреннее томление сжимают сердце. Постоянная боль в груди. Как я любил раньше валяться на пляжах, загорать, играть в волейбол...Играть под палящим солнцем в шахматы. Это сегодня не для меня. Слишком мало осталось у меня времени, чтобы тратить его на игру. И яркое солнце тоже не для меня.

Месяц прошел без дождя и без какого либо намека на вдохновение. Как живут в южных странах, как выдерживают нашествие жары – не представляю. Говорят – у всех есть кондишки. И в Африке, у эфиопов? – спрашиваю сына моего покойного друга, приехавшего из Марокко. Вообще-то он живет в Израиле, в Марокко ездил за экспонатами. Был и в Эфиопии, искал пропавшее колено Израилево. Отвечает, живут как на сковородке...

Там привычные. А вообще-то все ищут тепла. Поэтому уезжают. Пушкину тоже здесь было холодно. Но грел внутренний жар. Сегодня с утра более тридцати градусов. Не нужно никакого внутреннего жара. И это всего лишь начало лета. Сын моего друга привез урну с прахом матери, которую подзахоронили мы к могиле моего друга. Друг студенческий веселый певец опередил нас. Теперь и она - звонкая хохотунья с ним соединилась. В могиле друга вырыли глубокую дыру, словно нору - и в нее опустили урну - голубоватый глобус. Как мало остается от человека. Бросили горсти земли в эту нору, выпили виноградного вина. От жары раскалывалась голова. И лишь под вечер – дождь долгожданный. Словно раскрылись хляби небесные. Услышаны мольбы огородников. Дождь спасает будущий урожай. Представляю, как ждут дождя на земле обетованной. Сын друга – чисто русский человек, рано полысевший, на висках только осталось золото волос. Он хранитель музея в Хайфе. Живет там на самой вершине горы Кермаль. Возвращаться не хочет. Напротив, зовет меня туда. Я ничего не обещаю. Здесь, на месте бывшей Пруссии, я давно и напрочь прижился, родина писателя – язык, здесь я улавливаю новые слова.

Но невозможно найти единственные слова для прощания... Что помню о ней?

Была хохотуньей, казалась простушкой. Слезы не туманят глаза. Совсем недавно хоронили моего друга – поэта, стал я говорить у гроба и не смог, сдавило горло. Жена друга – это тоже тяжело. Как будто хороню его еще один раз. Она жила ради него. А может быть, я не прав...

Женщины у могилы, говорящие прощальные слова и едва сдерживающие слезы, создавали другой образ. Пусть будет так: затейница радостных сборов, лидер в бабьем веселье. С моим другом прожила всю жизнь, и без него, я уверен, стало все для нее пресным. И вот сейчас дождем орошает ее последнюю обитель. Когда покидает мир близкий человек, понимаешь - скоро и твоя очередь. Думаю об этом без страха. Сделал все, что мог, а может быть, и больше, чем мог. Пора остановиться, ничего нового я уже не скажу людям. А впускать их в свой мир старика – имеет ли смысл. Примером может служить моя жизнь? Вряд ли... На старости лет без собственного пристанища, мечусь в поисках уединения. В лесной тишине создаю свои бумажные миры. Вернее даже не бумажные. Нередко написанное остается на диске компьютера. Принтер не хочется включать.

Главное, заранее не думать ни о каком сюжете. Люди, ожившие на листе бумаги или на экране компьютера, сами вершат свою судьбу. Знал ли мой друг, покинувший Питер, что будет лежать в чужой земле. Нас столько сюда приехало – двадцать один человек. И вот стою один у могилы. Вокруг деревья, листья блестят от дождевых капель. Лес уступает место могилам. Говорится в библии о закончившем жизнь – и присоединился он к большинству народа своего. Я пока в меньшинстве. В чем замысел Бога? Почему не всем отпущен равный срок? В голове бьются строки Анны Андреевны: чтоб вас оплакивать мне жизнь сохранена...Это она о блокаде, о миллионе погибших от голода. Жена моего друга тоже была блокадницей. Чудом выжила. Значит, пощадили ее небеса. И сколько бы не было нам отпущено, все, кажется, мало. И говорим и пишем в некрологах – безвременная кончина. Наверное, правильно, смерть отменяет ход времени, само время теряет смысл. Наступает вечное путешествие, обещанное Эйнштейном, скорость полета замедляет годы и даже века. Почему же мы хотим отсрочить космический полет? Жену моего друга пытались вылечить в Израиле, потом лечили в Питере. Там и кремировали. Горстка пепла в вазе, похожей на голубой школьный глобус. Везли самолетом, чтобы воссоединить с моим другом. Ученики великого философа и утописта Федорова, основателя русского космизма, возможно, научатся собирать наши частицы даже в космосе. Надо вернуть миллионы кремированных и миллионы сожженных в печах гитлеровских лагерей. По силам ли это верящим в воскрешение. Есть ли смысл повторять свою жизнь. И стоит ли? Вновь пройти через унижения и страдания – не хочу. Говорят космисты, что можно будет исправить ошибки. Жизнь без ошибок пресна, как вегетарианская диета. Судьба долгожителя-ворона скучна и утомительна.

Но как заманчиво общее воскрешение. Мы тогда все свидимся. Станем ли предъявлять претензии и множить обиды? Или обрадованные возвращением в жизнь заживем вечно и счастливо. Но как пугающе бездонно – слово вечно. Выдержит ли душа? Хватит ли сил у нее. Запросится наверняка туда, где нет бренного измученного болезнями тела. Но отпустят ли? Свобода выбора – это только слова. На свободных выборах побеждают диктаторы.

Мы возвращаемся с кладбища в маленьком автобусе. Почему-то все шутят,

нервный смех, возможно даже радость от осознания, что остался жив, что не твой еще черед. Тоже, помню было на похоронах моего литературного наставника. Замечал не раз, как жены хоронят своих мужей. Женщины ведь живут, как правило, дольше. Так вот на похоронах в них просыпается скрытая энергия. Они в центре внимания. Лишь через месяцы осознают, что лишились привычной жизни. И опустевший дом заразит немыслимой тоской. Самый счастливый конец обещают русские народные сказки. Изумительная концовка: жили они долго и счастливо и умерли в один день.

Но не сбывается сказка. Совсем недавно я потерял лучшего своего литовского друга. Он написал книгу, которую я не прочел, потому что нет еще ее перевода на русский язык. Это книга о школе для червяков. Червяка там спрашивают: знает ли он Ленина. Червяк отвечает – нет. А как же иначе – ведь вождь не зарыт в землю. Мой друг умер мгновенно, тромб закупорил сосуд в легких. Он лежал в гробу с легкой ухмылкой на лице. Казалось, сейчас встанет и удивится – почему так много цветов и народа вокруг. Жена – организатор и при жизни его всяческих встреч и литературных праздников, и здесь распоряжалась всем действом весьма энергично. Всем улыбалась, раскланивалась, словно разыгрывала написанную умершим мужем комедию, написанную специально для этого печального дня. Именно комедию. Ведь он никогда не писал трагедий. Мой друг не боялся смерти, и не верил в бессмертие души. Лежал большой и грузный в гробу, не тронутый болезнями, затаив под усами усмешку. Мол, перехитрил всех, как и его герой литовский Швейк – Густас.

Люди вокруг меня не похожи на литовского друга. Не пойму, почему старый капитан так боится смерти. В морях он был самым лихим из капитанов. Теперь ему за восемьдесят. Давно проводил жену в иной мир. Просит звонить ему по утрам, проверять - жив ли... Покупает дорогие лекарства. Отдал ключи соседке, чтобы могла зайти, если он не откликнется на звонки. И в то же время держит в неприкосновенном запасе бутылку коньяка. Говорит мне, что если проглотить с десяток таблеток снотворного и выпить бутылку - можно безболезненно закончить жизнь. Я его понимаю - самое страшное обессиленному болезнями стать всем в тягость. Зачем эти мучения. И все же почти во всех странах осуждают самоубийц. Их положено хоронить за оградой, вне других могил. Возможно, самоубийца уничтожает свою душу. Не дает ей отделиться от бренного тела. Об этом даже подумать тяжело. Ведь душа бессмертна. Верю, Федоров изначально прав: самое главное зло смерть. Пока ее не победим, не можем мы считать себя разумными управителями мира, сынами Божьими. Можно восстановить тело – уже сейчас, можно клонировать. Но куда испаряется душа? Никому не ведомо. Никто не возвратился из иного мира и ничего нам не объяснил. Неизвестность пугает. Если даже там рай - ты ведь прибудешь туда без тела...

Жизнь, как и шахматную партию, всегда можно прервать самому. В шахматной игре достаточно положить короля и произнести одно слово: сдаюсь. В жизни все значительно сложнее. Я не в праве никого осуждать. Ведь самые чтимые мною писатели и поэты осуществили свое право на смерть. Ясунари Кавабата, Хемингуэй, Ромен Гари, Есенин, Маяковский, Цветаева...Думали ли они о бессмертии души. Скорее всего, нет. Отчаяние затмевало мысли о вечном. А возможно, понимали, что уже обессмертили себя в слове. Ведь творчество на сегодня единственный путь к бессмертию. И оно же делает жизнь невыносимой. Человек пишущий всегда на виду,

он изначально занимается эксгибиционизмом. Раны его видны всем. У него спрашивают ответ гонимые, униженные и оскорбленные... У него ищут ответ в смертный час. И наступает момент, когда чаша страданий переполняет его. Есть версия, что даже великий Гомер повесился. И не был ли самоубийством уход Толстого из Ясной Поляны.

Жить сегодня, умереть завтра. В студенческие годы смотрел японский фильм с таким названием. Японцы более других понимают, что такое смерть. Харакири, Хиросима, Фукусима – от слов подступает к горлу тошнотворный страх. Само слово Япония пахнет смертью. И в то же время завораживает. Близость смерти порождает самураев. Порождает людей чести. Спасая других, спасаешь себя, вернее свою душу, очищаешь ее. И становится святее святых японский консул в Литве Сёгихаро. Спасший тысячу, спас десятки тысяч. Это потомство тех евреев, кому успел выдать он транзитные визы. Это те, кто успел покинуть страну, где за каждым углом подстерегала смерть. Ведь литовские фашисты расправлялись с жителями местечек раньше, чем туда добирались айнзацкоманды...

Все время помню, что я спасся чудом, что жизнь моя «случайный дар». В мои сны врываются страшные видения – рвы с трупами, газовые камеры...Полтора миллиона убитых детей... Это мои сверстники, могли бы жить рядом со мной, были бы моими друзьями...

Нас было много на челне... Пушкин – молодой, переполненный желанием любви, рифмами и сюжетами – вдруг почувствовал, что остался один. А если бы он прожил долгую жизнь, среднестатистическую жизнь современного человека – создал бы шедевры или задохнулся от тоски, узнав, что мир не изменяется от слов.

Не равняю себя с гением. Я слишком поздно понял, что остался один. В течении десяти последних лет покинули этот мир самые близкие люди. Друзья и родители. Со смертью матери не стало человека, который принимал меня в любой ситуации, в любом проявлении, принимал и прощал.

А друзья ведь задолго до смерти стали чужими. Один, раздавленный и униженный неудачами, скрылся в соседней республике, другой не выдержал моей критики и затаил обиду. Нельзя, понял я, говорить правду, даже самым близким друзьям. Особенно поэтам. Надо слушать, внимать, восхищаться. Поэтам нужны не друзья, а любящие женщины. Поэты должны быть молодыми. Печально быть поэтом после шестидесяти. Лишенный обожания женщин, разве может он сочинять стихи. Представьте седого Пушкина, с лицом изборожденным морщинами, страдающего геморроем и язвой желудка, согбенного и еле волочащего ноги – невозможно крикнете вы, нам не нужен такой Пушкин! Успокойтесь, такого не будет. Пистолет Дантеса заряжен.

Сегодня дуэли не в моде. Были бы разрешены поединки, поэты перестреляли бы друг друга. Желчь и зависть душит их. И никакого Дантеса не нужно.

И все же «человек один не может». Одному тяжело не только от одиночества. Одному так легко утонуть в своих обидах. Одного ничто не радует.

Вместе со всеми можно забыть про караулящую тебя смерть. Похороны сменяются праздниками. В июне один праздник набегает на другой. Встречаем лето. День России. День, когда Ельцин влез на танк. И поделили империю. Совпадает с Ивановым днем. Впору жечь костры и прыгать через жаркие всполохи огня...

В парке юные барабанщицы созывают народ на открытую эстраду. Голена-

стые, тонконогие, приученные к ритму. Бейте звонче. Разгоняйте тоску. Славьте богов дождя и солнца. Юные потомки язычников. Повсюду за кустами палатки национальных обществ. Зачем разделили нас. Украинское, белорусское, великорусское – не все ли они звенья одной цепи – просто разные диалекты. Опомнитесь, соединитесь. Не хотят, жар обид будоражит тело. Только сильный дождь может охладить. Тучи над парком сгущаются. Чиновники ждут явления губернатора. Приготовили большой зонт, чтобы уберечь от дождя начальничью голову. Казачьи патрули и охранники у входа. Шарят по моей спине металлоискателем. Бесплатный массаж. Во всех аллеях охранники. Одеты в черное. Униформа. Заимствовали у фюрера. Как хочется иметь вождя. Он все решает. А тебе остается только подчиняться и кричать: Зиг Хайль. Каждому в этом бренном мире нужна победа. Но в слове победа содержится слово беда. Это слова из стихов талантливой писательницы, моей соседки. Победитель жаждет получить вознаграждение за пролитую кровь. Победителю кажется, что ему все дозволено. Он хочет выиграть у судьбы, у жизни. Полагающий, что победил, он заблуждается. Победа растлила его. Так материальное преимущество, достигнутое легко в начале партии, усыпляет игрока, делает его невнимательным. Он рано почивает на лаврах. Но подсказать ему об этом нельзя. Играем всегда без подсказок. Девиз один: «Взялся – ходи!». Если ты дотронулся до фигуры, то другой фигурой ты уже не имеешь права пойти...

Мои ушедшие из жизни друзья были страстными игроками. В шахматных партиях они получали свою дозу адринолина. Победа на доске заменяла поражения в жизни. В жизни же была одна единственная партия с заранее проигранным эндшпилем. Это была расплата за бездумную и лихую игру в миттельшпиле. Все эти красивые жертвы и изящные комбинации услаждали самолюбие и сеяли в душе надежды. Но нехватка фигуры в конце партии, нехватка всего лишь одного темпа делали всю эту красивую игру бесполезной. Можно положить короля на доску и сдаться сразу, а можно тянуть игру и зная, что обречен, мучить себя и противника необязательными ходами. К тому же и флажок на часах повис. Вот-вот он упадет. Зачем дергаться и повторять ходы. Ничьей в этой жизни не бывает. И нет никаких прав на повторение партии. Отыграться невозможно...

Мой старший друг-шахматист сумел затянуть концовку. В фашистском концлагере он занял второе место в шахматном турнире. И был переведен из каменоломен, где человек мог выдержать от силы месяц, в лагерную обслуту. Он вполне сознательно уступил первое место эсэсовцу из лагерной охраны. За первое место славянин мог расплатиться жизнью. В обслуге он заменил того, кто искал для охранников в золе золотые коронки. Этот бедолага, не сумевший скрыть свое еврейство, стал горсткой пепла. Золотую коронку можно было и утаить. Спрятать в заднем проходе, а потом выменять на нее не только пайку хлеба, но даже и талон в лагерный публичный дом. В день Победы этот мой друг надевал арестантскую робу, увесив ее медалями, которые он получал регулярно, как участник войны, и мы шли к памятнику павшим героям, стояли там у вечного огня. И все видели в моем друге героя. Он был герой, потому что выжил в кровавой мясорубке, где миллионы жизней уносились в небо с дымом крематория. И в то же время я понимал, а с годами все больше понимаю, что герои это не те, кто выжил. Герои погибают первыми.

Война пробуждает самые низменные инстинкты. Иногда героев трудно отли-

чить от палачей. Проходит время. Многое забывается. За давностью лет, говорят. Но души, истерзанные войной, трудно воскресить. И как можно оправдать тех, кто убивал и насиловал. Кто привык к тому, что все дозволено. Но находятся защитники. Они называют себя патриотами. В моей электронной почте письмо, призывающее участвовать в пикете, требующем наказать убийц полковника Буданова. Но ведь он сам уже давно обрек себя на смерть. Задушивший у себя в кабинете семнадцатилетнюю чеченку, он убил свою душу. Но ничего не понял. Ведь его восхваляла дружно почти вся страна. Он был воин и герой. Он делал зачистки и уничтожал бандитов. Эта девушка, зверски им убитая, могла быть снайпером, так пытались оправдать его те, кто видел врага в каждом чеченце, видел в каждой кавказской женщине шахидку или снайпера. Он и сам втолковывал это своим храбрым воинам. Воины мстили за убитых товарищей. Кавказ полнился кровниками. И вот полковник был осужден, его одного из многих все таки наказали и никто не хотел понять за что. Он в тюрьме был арестантом примерного поведения, и его выпустили досрочно. И теперь пуля кровника настигла его вдали от Кавказа. Его хоронили как героя со всеми воинскими почестями. Его отпевали. Церковь отпускает грехи воинам. Так повелось испокон. Воины за веру Христову угодны церкви. Воины нужны государству. Воины, спорт и церковь – основа власти.

В могущественных государствах, претендующих на мировое господство, спорту дается первейшее место. Так было в предвоенной Германии, фюреру были нужны сильные и выносливые солдаты. Философия и литература не поощрялись. Арийцы должны были покорить другие народы. Ни тени сомнений, порожденных книгами. Костры для книг. Бумага хорошо горит. У нас тоже пробовали – не прижилось. Зато сейчас закрывают сельские школы, изымают литературу из школьных программ. Строят так называемые ФОКи – физкультурно-оздоровительные комплексы. Называется все это – патриотическое воспитание. Готовятся индульгенции тем, кто уничтожит врага. Враг – это не мы с вами, это иной – иностранец...

Индульгенции не помогут. Военным преступникам нет оправдания. Война не все спишет. Страшно, что сами палачи не могут осознать, что совершили преступление. Ведь их долго готовили к тому, чтобы убивать. Убийцу миллионов Эйхмана пытались оправдать. Говорили об обыденности зла, о том, что он просто исполнял приказы. Сердобольная еврейка Хана Арендт, чудом избежавшая Холокоста, была на его стороне. Проходят годы. Преступники успевают прожить жизнь, состариться, они так до конца жизни и считают, что честно выполняли приказы. Они получают нормальную пенсию. Считаются ветеранами войны. Когда судили одного из полицаев, его спросили, как он смог убить более десяти тысяч евреев, не тяготит ли это убийство его совесть, он ответил: так це ж жиды. Буданов мог тоже ответить, так це ж чеченцы. Так въедается в кровь и в генную память национальная рознь. Ее итоги – миллионы замученных и убитых. Ее плоды – развалившиеся государства.

Бог создал человека по образу и подобию своему, Бог наделил его разумом с большим запасом на будущее. И первое с чего начали люди – они стали делить богов и спорить, чей Бог сильнее. Религиозная рознь слилась с национальной. Человек оказался способен на такую жестокость, какая никакому Богу не могла даже присниться. Человек употребил свой разум на создание средств и способов убийств. Почему всесильный Господь со своей высоты не заметил этого. Почему не услышал мольбы гибнущих в газовнях Освенцима? Есть ли он вообще. А возмож-

но, правы те, кто считают Освенцим доказательством отсутствия Бога. Но если отвергнуть Бога, тогда – тупик, тогда все дозволено, пределов нет...

Атутещеиподсказка: гений нашеговременита инственный питерец Григорий Перельман якобы математически обосновал отсутствие Бога. Ему присудили премию в миллиондолларов задоказательствогипотезы Пуанкаре. Вселенную можнос вернуть вточку поэтой гипотезе. А значит верно, что она произошла путем Большого в зрыва – материя из одной точки взяла свой разбег. Перельман, погруженный в мир абстрактных расчетов, не принял миллион долларов, он замкнуто живет в двухкомнатной квартире со своей матерью на окраине Питера. Он не дает интервью и ни с кем не хочет делиться своими мыслями. Количество желающих трактовать эти мысли все время растет. Вот и я внесу свою лепту – полагаю, он боится своих открытий. И напрасно. То, что Вселенная образовалась из точки – и есть прямое доказательство не отсутствия, а присутствия Бога. Ведь творил буквально из ничего, из пустоты, из слова, из сгустка энергии, из черных дыр. И мы постоянно пополняем эту энергию, наши мысли, наши души, наши энергетические поля, мы создаем Бога. И, к сожалению, заполняем пространство немыслимым злом. Яд геноцида разъедает и растлевает пространство и время.

Миллионы жертв, миллионы детей, молодые женщины не успевшие родить – цена геноцида. Желания безумцев утвердить свою религию и свою нацию превыше всех других, обитающих на планете, уничтожает не только иноверцев, но и своих. Миллионы – это статистика. Представить невозможно. И потому все кажется нереальным, абстрактным. Но если среди этих миллионов твои родители, твои сестры и братья, твои дети – тогда горе становится реальным и охватывает тебя. Можно ли это пережить. Узнать в наслоении трупов близкого человека и после этого еще хотеть выжить, стараться не вызвать гнева палачей. Спрятаться за чужие спины.

Так было. Лагерный опыт – это антиопыт, это шаламовская антилитература, чтение которой порождает неверие в человека. Но отбрасывать знание этого опыта – значит уподобляться страусу, уткнувшему голову в песок.

Человек не только безжалостно уничтожает себе подобных, он уничтожает всю биосферу, он рубит сук, на котором сидит. Тело побеждает разум. Только освобожденный от тела разум может приблизиться к Богу. И опять правы русские космисты. Человек должен состоять из энергетических полей, должен быть человеком «лучистым», не поглощающим продукты биосферы. Ведь есть пример в природе – деревья, растительность – им достаточно солнечных лучей, воды и углекислого газа, они же пополняют атмосферу кислородом и насыщают, создают почву.

Но пока все это область утопии и нам надо жить в том образе, в котором мы созданы и много веков существуем. Как же научиться прощать друг друга, как научиться исполнять десять заповедей, данных Господом на горе Синайской Моисею.

Мы покинули коммунистический рай лжи и утопий и обрели другой мир, где утратившие совесть и честь пытаются обратить нас в рабство. И некому изгнать торгующих из храма.

В далеком прошлом проповедники, живущие в нищете, отвергали даже мысли о Маммоне, Страстные толкователи Божьего слова. Сегодня нередко облаченные в рясы рвутся к богатствам. Бывшие комсомольские работники, штатные хулители Бога, они сегодня окормляются его именем. Оправдание – апостол Павел, ведь тоже был Савлом, был гонителем, а стал страстным проповедником.

Пришла еще одна печальная весть из Москвы – скончался зять Юрия Куранова. Зять – священник, который десять лет назад отпевал писателя. Я не мог и не имел права остановить тогда прибывшего на похороны из Москвы церковника. Ведь Юрий Куранов не признавал официозную православную церковь. Он был в катакомбной церкви. Яростный борец и ниспровергатель серости и лжи, он лежал неподвижно в гробу и не мог уже больше протестовать. Зять его, православный священник отпускал ему грехи и молил Господа о прощении усопшего. Теперь иной священник в Подмосковье провел панихиду. Простим умершим все их грехи. Нет на земле людей безгрешных. Юрий Куранов – писатель и бунтарь жаждал смерти, он не желал бороться со смертельной болезнью. Он жаждал встречи с Христом. Я спросил его: а на каком языке он будет говорить с ним. Куранов задумался. Я заметил, что незадолго до смерти великий Лев Толстой начал изучать иврит.

Я пытался изучить этот первозданный язык, далекий от всех европейских языков, когда собирался в поездку в страну обетованную. Все мои потуги оказались напрасными, знания мои не пригодились. Выходцы из России, мои друзья и все их друзья говорили на русском языке.

Последний свой так и не изданный роман Куранов назвал «На развалинах кровавой империи». Он был дружен с отцом перестройки Александром Яковлевым и записал все разговоры с ним. Роман сегодня не нужен ни его почитателям, ни его хулителям. После смерти человек обретает иную суть. Из него делают или беса или святого. Это вторая смерть. А не совершил ли Куранов самоубийства? Ведь он намеренно не стал лечиться. Ему выделили деньги на поездку в Дубну, где должны были облучением побороться с опухолью горла. Он доехал только до Москвы, там провел месяц, прощаясь с друзьями, и вернулся. «Не хочу, – сказал он мне, – чтобы издевались над моим организмом, превращали меня в видимое ничто, убивали медленно мою плоть». Он прожил еще год. Но какой год! Ему дано было говорить все, что он думал. Проповедовать яростно и страстно. Он защищал свой язык, он нес проклятие тем, кто обесчестил и исковеркал слово. Но почему он не хотел признавать другие языки?

Мы слишком долго жили в огромной империи. Мы привыкли к тому, что русский понимают в любой республике, составлявшей эту империю. Мы привыкли переводить по подстрочникам. Возможно, мы обкрадывали себя. Ведь каждый язык вносит нечто иное в познании мира. И в тоже время было бы много лучше иметь один общий язык и понимать друг друга. Но что поделать, коли разрушена Вавилонская башня. Хотели достичь неба, а получили извечную вражду и недоверие друг к другу. Ведь человек, говорящий на другом языке опасен. Возможно, он наговаривает на тебя, а ты стоишь и глупо улыбаешься. Праязык был отвергнут по воле свыше. Чтобы не добрались до сути, чтобы оставались в неведении и не знали, кто и как управляет миром. Незнание не освобождает от ответственности.

Но как иногда полезно незнание. Никому не дано угадать свой смертный час. Ясно, что его не избежать, что для всех одинаков исход эндшпиля. Многие тома написаны по теории шахматной игры. Есть разработка дебютов такая тщательная, что знатоки теории могут точно сказать, какая фигура и где будет стоять даже после двадцатого хода. Есть разработки и для эндшпилей. Но никому не дано познать все глубины концовок. И как и человеческая жизнь индивидуальна и никогда не повторяется, так и шахматная партия повторяет только дебюты. Вся же игра неповторима.

И вот повис флажок. Очень важен последний ход, на который остались последние секунды. В жизни же это – завещания, предсмертные откровения. Недаром самурай перед тем как сделать харакири пишет предсмертное хокку. От человека, уходящего из жизни, ждут главные и откровенные слова. Правители боятся этих слов. Завещания и письма уничтожаются. Но как поймать тот момент истины – момент последнего слова и последнего вздоха. Погрязшие в крови вожди караулили у постели умирающего Горького. Никто кроме них не должен был услышать пролетарского гения. Слов его мы не узнаем.

Зато все слова Пушкина зафиксированы. И то, что он просил: выше, к книгам... и про морошку, и то, что просил простить его секунданта и друга Данзаса... И все же самые последние его слова это констатация: кончена жизнь. Последний диагноз поставил себе и Чехов. Он сказал: я умираю. Но так как это было в Германии, то по-немецки: ich sterbe... Наш земляк великий философ Иммануил Кант произнес одно, но веское слово: достаточно. Он, рожденный хилым и болезненным, сумел прожить восемьдесят лет, для того времени срок большой. Мой литературный наставник Сергей Снегов, человек огромной силы воли, тоже сам определил свой срок. В восемьдесят четыре года он отказался от операции, которая могла его спасти. В час смерти остановились его часы, во время похорон разразилась гроза, был февраль и снежные вихри и гром и молнии – все это было необычно. Природа восставала против его ухода. Смерть не должна быть такой яростной. Смерть – это наше примирение с Богом. Но мы не хотим это осознавать. «Да ты не бойся», - последние слова Надежды Мандельштам, обпращенные к своей сиделке. Схожие слова произнесла жена моего друга. Она сказала своей дочери: «Не огорчайся, не надо печалиться...» Как видите, женщины даже в последние свои мгновения заботятся о ближних. Они более терпеливые и более человечные. К ним чаще всего и обращены последние слова их мужей. Так Юрий Куранов попросил жену подержать его руку. С такой же просьбой покинул мир мой отец. Они умерли своей смертью. Те же, кто погибал под пулями и в газовых камерах выкрикивали слова отчаяния. Или бросали слова проклятия своим палачам. Или взывали к Богу, искали у него спасения. Но были и те, кого не страшила смерть. Говорят, что знаменитая танцовщица Мата Харри, приговоренная за шпионаж к расстрелу, послала целящимся в неё солдатам воздушный поцелуй и крикнула: «Я готова, мальчики». Наверное, она помнила слова Марка Аврелия: «Однажды смерть улыбнется всем нам. Единственное, что мы можем сделать – улыбнуться ей в ответ!»

Наталья ГОРБАЧЁВА

ПО-ЯПОНСКИ И ПО-РУССКИ

Гавриил Кендзабурович Мифуно бывает в Калининградской области нечасто. Его тянет сюда, как магнитом, но – очень дорога дорога. В Калининграде ждёт его визита скромная материнская могилка. В Краснознаменске живёт любимая женщина Ирина, а близ усталой деревеньки Берёзовка – ... любимая женщина Татьяна. В честь этой, для него драгоценной, троицы и ездит русский японец из Уссурийска в наши славные пределы.

Родители встретились на КВЖД: поповна Ольга, порвавшая с бежавшими от Советов и осевшими в Шанхае родителями и ставшая учётчицей на «стройке века», и ужаленный коммунистическими идеалами инженер из Японии. Жили в комфортабельном бараке на китайской стороне, пока в тридцать восьмом не решили, что нужно подарить двухлетнему сыну счастливое детство в счастливой стране. Едва семья пересекла советскую границу, родители были арестованы. Отца, ценного специалиста, освободили осенью сорок первого. Разыскав в ближайшем детдоме запаршивевшего и затравленного сына (под лопаткой – родимое пятно – красная клякса, величиной с грецкий орех), инженер Кендзабуро Мифуно отправился на Урал – строить советские танки. «Сактированная» мать присоединилась к ним два года спустя – беззубая старуха в маразме и с недержанием мочи. Её Христа ради привезли какие-то НКВДшники.

Уже женившись на отсидевшей малый срок японистке Вере Ивановне, японец по-прежнему ухаживал за первой женой, как за малым дитём: менял пелёнки, кормил с ложечки. А по вечерам, тут же, в десятиметровой общежитской, аммиаком пропахшей, комнатухе читал жене №2 по памяти Басё. А Вера Ивановна на скорую руку переводила:

Я возьму в ладони, матушка, Растоплю слезой горючею Тёплый снег твоих волос.

Или:

Тихо на душе. Лишь стоны чаек Белеют страшно.

А когда доходила очередь до хулигана Бакэна, хохотали до слёз, взросленький уже Гавриил (названный, кстати, в честь «отставного» деда-священника) не отставал:

Больно, больно! Горе мне! Но уж до чего смешно! Даже в час твоей кончины, папа, воздух портил я!

Или:

Что хозяин не доплатит днём красивому наймиту, то с лихвой (уснёт хозяин), госпожа отдаст натурой.

Когда мятежная поповна отдала атеистическую душу своему русскому Богу, Кендзабуро Мифуно похоронил её по православному обряду. Нашёл даже в доме инвалидов древнего старика, бывшего монаха, чтобы тихонечко отпел на дому. Гавриил Кендзабурович любил отца страстно, слушал бесконечную самурайскую повесть, пытался неуклюжим металлическим пёрышком нарисовать на обороте материной фотографии (другой бумаги было не найти) священный иероглиф, означающий «Сыновняя любовь делает непобедимым меч воина».

Через год после войны за отцом пришли вновь. Ещё не рассвело, он только явился после ночной смены и чистил картофелину, сваренную в мундире. Собирался завтракать. Как раз накануне он, затачивая кухонные ножи, объяснял въедливой Вере Ивановне, чем харакири отличается от сэппуку. Да, в принципе, ничем. И отточенный кухонный нож при случае ничем не отличается от самурайского меча, что и доказал особистам самурай Кендзабуро Мифуно, вспоров перед ними свой поджарый японский живот. Жена была на работе, сын – в садике.

Сразу после похорон на специальном собрании Вере Ивановне предложили отречься от покойного мужа-иностранца, так «не по-нашему» увильнувшего от справедливого наказания и вообще «проявившего позорную слабость». Дали на раздумья сутки. Мачеха, на собрании не проронившая ни слова, едва вернувшись домой, мгновенно собрала манатки, схватила пасынка подмышку и на каком-то плохо запомнившемся (холод и тьма) поезде, не дожидаясь рассвета, уехала вон. На другой конец страны. В Калининград её не пустили из-за судимости по 58-й. А в белорусской нищей деревушке Сковорода горе мыкать позволили. Оттуда, сразу после смерти отца народов, уже с семнадцатилетним пасынком, Вера прорвалась-таки, в новую советскую область, где, так ей казалось, «до кремлёвской власти и уральских прыткачей далеко». И до самой смерти японистка без жилья, но с пропиской у «хозяев», служила «в няньках», а на самом деле - выгребала грязь за многочисленным семейством майора-танкиста. Жили мать и сын в трёхметровом чулане. Впрочем, работодатели и сами не жировали: семеро ютились в двух комнатёнках и прислугу взяли, поскольку пятеро детишек, а родители вечно на службе...

Гавриил поработал с год на вагонке, уехал в Ленинград, закончил мореходку. К матери (она, поклонница не только, напомним, Басё, но и хохотушки Бакэна, подписывала письма «Твоя япона мать») приезжал часто – из каждого рейса. Тогда и завелись любимые женщины. Сначала – Ирина, потом – Татьяна. Роман неугомонного японца «на два фронта» не помешал всем участникам треугольника (дамы давно знакомы и претензий друг к другу уже не имеют) обзавестись семьями и вырастить детей, а затем и внуков. Только женщины делали это в прибалтийских пределах, а Гавриила Кендзабуровича морские волны отнесли таки от наших берегов в дальние дали. Впрочем, будь Вера Ивановна жива, никогда бы сын её не покинул: «Она – моя любимая мать. И не только потому, что первая мама почти не запомнилась здоровой. Просто мать научила меня: живи, сынок, живи, переживи всю сволочь, чтоб им в гробу перевернуться». В ней не было фатализма и смирения, но терпения и мудрости – ого-го!».

Он наизусть читает из «Мириада листьев», по-японски и по-русски, он, кажется, знает о Японии всё. Побывал в Токио, поклонился Фудзи, два месяца провёл в буддийском монастыре под Хиросимой, где научился таки, писать заветный, в детстве ещё запавший в сердце, иероглиф. Нашёл дальнюю-дальнюю родственницу по отцу. Пожилая Садако-сан предлагала ему свой кров – до самой смерти. Она была очень симпатичная, давно вдовела, и её дети отнеслись к чужеземному соплеменнику, пятиюродному то ли деду, то ли дядьке удивительно тепло. Но: «Как же я брошу своих женщин? И живых, и умерших? А отца? Из Японии уж точно не наездишься». Под окнами уссурийской квартиры посадил сакуру, и она цветёт в назначенный срок, словно окутанная мимолётным сумасшедшим облаком счастья. Вишня-сан.

А в эксклав – приезжает, невзирая на немалые уже лета, и дороговизну путешествий, и их нелёгкость. Прах родителей, а, значит, и приёмной матери не должен оставаться без присмотра. Это не по-японски. Да и не по-русски.

Везёт всякий раз на кладбище любимое матерью Верой крохотное деревцебонсай. Знает, что сопрут тотчас, но везёт всё равно.

Я возьму в ладони, матушка, Растоплю слезой горючею Тёплый снег твоих волос.

Отец уже полгода как учился в московской академии. «Генералом будет», – предполагал Серёжа и старался не скучать. Но – как было не скучать? Даже вылаз-

ДЕНЬ ПРИЕЗДА, ДЕНЬ ОТЪЕЗДА - ОДИН ДЕНЬ

ки на берег Оби, прежде совсем распрекрасные, стали... не такие. Мама, конечно, старается, только она не умеет плыть, как большой кит, то и дело пряча лицо в воду и фыркая, и при этом чтобы Серёжа сидел на плечах. А папину шею можно было обхватить мокрыми руками, и визжать от страха и счастья, продвигаясь к ужасному острову-плавунцу. Когда этот остров совсем приближался. Серёжа затаивал дыхание, жмурился, однако ни разу не сдержался, чтобы не заорать: «Папа! Поворачивай»! – «Боисся, малшик? А ты не боись!» – водяным голосом фыркал папа-кит, поворачивая к берегу, где у костра приплясывала от тревоги мама. «Ах, - говорила она, туго сквозняком завёрнутая в платье, отводя ветреные волосы от лица, – ах, мальчики, я же просила вас, зачем вы меня пугаете?».

– Что за семья такая у боевого офицера? Бояки одни, – сокрушался папа, быстренько растирал Серёжу непричёсанным полотенцем, надевал на него свой колючий свитер (туда можно было впихнуть ещё десять или даже двадцать Серёж), обнимал маму и тянул ноздрями обморочный шашлычный дух. Потом начиналась «обжираловка». Мама называла это – пикник, но папина версия Серёже нравилась больше. Из хулиганского слова прямо слюнки текли. И, наконец, осоловевший Серёжа ехал на папином тёплом плече домой. Левая папина рука придерживала сына, правая – обнимала маму. Папина, сизая от бритья, щека уже начинала колоться, даже корябалась. Серёжа прилаживался, прятал лицо. И – засыпал. Конечно, просыпаясь на следующее утро, глупо было надеяться, что над кухонной раковиной, умываясь, склонится папа, в белой майке, спортивных штанах, в шлёпанцах. Нет, конечно, но Серёжа надеялся. Всякий раз, выдравшись из жаркого

одеяльного грота, он шлёпал на кухню, а там только вкусно хлопотала мама: блинчики, чаёк. Потому что офицеры встают в самую рань, когда ещё утро больше похоже на ночь. Они надевают форму, ваксой-плаксой пахнущие блестящие сапоги, затягиваются суровыми ремнями и идут охранять нашу советскую Родину. Чтобы мальчики Серёжи могли спать себе, и в ус не дуть, чтобы у мам пеклись блины.

Когда папа поступил и уехал, было ещё лето. А осенью нагрянул первый класс. О, как Серёжа его ждал! Тетрадка, собственная, в линеечку, ручка с наконечником, как копьё. Новый, блестящий, чёрный портфель. «На каникулах, – сказала мама, когда уже отмечали с тётей Таней Новый год, – поедем в Москву, в санатории будем отдыхать». «Завтра?!» – Серёжа чуть не свалился со стула. «Балда, – сказала мама, – за эти каникулы только-только доехать, а когда же отдыхать? Нет, летом, после школы».

У-у, эта школа! Что там такого важного, чтобы важнее папы? Как дожить до лета – c печалью в сердце и даже в горле? С печальной мамой...

Но! Торжественная линейка, посвящённая окончанию учёбы! Суета чего-то. А – не запомнилось. Потом – долгий поезд талдычил: «Е-дем, е-дем, е-дем». «К папе, к папе», – добавлял Серёжа, то засыпая, то просыпаясь, и даже – играя с мамой в дурачка.

Ах, какой красивый был папа на перроне! Он увидел их, когда поезд ещё и не думал останавливаться. И побежал, размахивая тюльпанами и чем-то ещё, впоследствии оказавшимся футбольным мячом в белой сетке. Ловил их со ступенек, сначала Серёжу, потом – маму. Кружил прямо в толпе, оторвав от земли и уткнувшись в них обоих лицом. Потом – была очень большая и красивая столовая под названием ресторан. Что-то там ели, а папа всё бросал вилку, и клал свою ладонь – на мамину, или – гладил Серёжу по волосам, и смеялся. Совсем ему некогда было есть. Отправились к какой-то бабушке Лидии Арнольдовне («Интересно, как её с таким именем в школу приняли, – подумал ещё Серёжа, – или, когда она была маленькая, школ ещё не было»?).

– Спи, сынок, – говорил папа, – завтра пойдём в мавзолей, посмотришь на Красную площадь, погуляем по городу. Спи.

Несколько раз Серёжа просыпался ночью, боялся пропустить обещанную прогулку. Из мамино-папиной комнаты в поддверную щель выползал жиденький электрический свет. Когда проснулся совсем, испугался: папа был уже в форме. Мама – странная какая-то, не нарядная, непривычно сутулилась, обхватив плечи. Вошла Лидия Арнольдовна, почему-то ставшая совсем-совсем старухой, и сказала: «Пора вам, Сергей Андреич, машина пришла». Папа долго и тихо говорил маме прямо в лицо, целовал в самые слёзы, а она всё плакала, молчамолча. Потом папа сказал Серёже: «Серёжка, ты теперь остаёшься за старшего, маму береги», крепко, больно, протяжно прижал, и, даже застонав словно, вышел, совсем быстро.

- А Красная площадь? закричал Серёжа, не понимая.
- Что ты, мальчик, война ведь, ответила Арнольдовна и побрела к себе.

Серёжа кинулся к окну, где стояла мама, и они смотрели, как, садясь в чёрную легковушку, папа всё оглядывается, оглядывается, оглядывается. Он вскоре погиб под Москвой.

Беги, Том, беги!

«Не ходите, дети, в Африку гулять!» - дурным голоском бурчала Том, весели-

БРАТЬЯ НАВЕК

лась тихонько. Дурь какая. Африка – это что! В Африку – это тьфу.

Том, не беги! Но негритёнок Том медленно не умела. Потому что ноги (на щи-колотках – по цветному браслету) у неё были вихревые. И, если не нестись, откинув голову, руки мешали, тонкие, накачанные. Нубиец Том, вернее – нубиянка. Нубийка?

Чего попёрлись в этот парк? Зачем так летела сюда Том? Суров никогда не любил все эти полигоны культуры и отдыха, отчего-то вечно убогие, с многим пивом, малой радостью, очередью «на лошадок», усталыми от натужной весёлости мамашками, дуреющими от тоски семейных вылазок папашками, обёртками от мороженого и чипсов. Днём-то делать нечего, а уж к вечеру... Если бы хозяйка не приехала от родни раньше, чем обещала, домой бы к нему пошли. А так – в парк, хоть поцеловаться.

Полуживая лавка под фонарём, у фонаря – катаракта и глаукома. Том растворилась в темноте, только – глаза и зубы. У нубийки – это конёк, даже если нубийка – родом из Одессы, и на самом деле просто смуглая кудрявая хохлушка Тамара, приехавшая со своим смешным «гэ» от тёплого моря к морю прохладному. Учиться и встретить молчаливого бомбилу Сурова. Заморочить ему голову, развести любовь-морковь. Готовиться к сбору урожая (в виде свадьбы).

Их было сначала двое, уродов. Неожиданностью взяли. Потом, когда Сурова уже уложили и месили ногами (Том на коленях, держась за живот, согнувшись, пыталась вздохнуть, упираясь лбом в скамью), появился третий. На окраине сознания (тогда думал – на окраине жизни) Суров разглядел: высокий, фактурный гад, лица не видно, только левая бровь пересекаема (проплешинка) толстым белым шрамом. Успел удивиться: «Неужели?»

- Бабу забираю, - сказал Шрам, - а вы по-быстрому давайте.

Суров получил десерт – носком ботинка в солнечное сплетение, по башке, и, как говорится, наступила тьма.

Менты и кенты

...В больницу таскался и таскался мент. Хирург Зураб, Сурова кое-как починивший, как и все молодые хирурги, больше похожий на братка, чем на эскулапа, в конце концов орал блюстителю: «Да плевать мне, откуда ты! Внутренние органы! Удивил, блин, лепилу внутренними органами! Нельзя к Сурову, это тебе реанимация, а не обезьянник, понял ты меня?»

Милиционер, рослый капитан лет сорока, с невнятной восточинкой на тёмной морде (позже выяснилось – уроженец Уссурийска), ухмыльчиво и опасно миролюбиво цедил: «Ни фига себе, Айболит. Видать потомственного интеллигента в первом поколении. Слышь, людь в белом халате, ты же пойми…» На дерганья больного отвечал: «Ваше дело выздоравливать. А наше – искать. Ищем». Что Том нашли поруганную, порезанную, мёртвую – недалеко от «места культуры и отдыха» – в кустиках через дорогу, и что выброшена под кустики была она ещё живою, сказал Сурову перед самой выпиской. Суров, серый, как дождь, только кивнул: «Понятно». Чё ж не понять?

Зураб, подопечного своего выписывая, не скрыл, что отбитые почки – совсем плохи, и вообще-то готовиться в долгожители Сурову не стоит. Суров заинтересовался конкретно, и Зураб прикинул: «Я думаю, пара-тройка лет у тебя есть. Не

больше, Серёжа, я думаю, извини». «И на том спасибо», – Серёжа пожал смуглую руку, ушёл. Никакую инвалидность оформлять не стал. В конце концов, это лошади нужна селезёнка, чтобы ею ёкать. А Суров и без ёканья мог обойтись. И с отбитыми почками. Времени немного, конечно, но и делов-то осталось – всего ничего, уложимся.

Перво-наперво матери позвонил, в Казань. Ох, не ожидала, ох, обрадовалась. «Сынок, сынок, сынок». Насилу уяснил: Шавкат уж год как помер. Очень маялся, дак по Сеньке и шапка, заслужил, паразит, прости Господи. А Раф? Да кто ж его, бандита, знает? Он ведь отца избил в кровь, да и пропал, гадёныш. После этого Шавкат и занемог.

Рус и Татарин

За каким чёртом мать за Шавката пошла – Суров никогда понять не мог. Ну, деньжистый, конечно, маляр-штукатур, пролетарий всех стран. Так ведь и они с матерью не на воде с хлебом сидели... Шавкат к ним с сыном перешёл, с Рафом. Так у Сурова появился брат – ровесник, хоть и не близнец. Раф, Рафа – Ключ. Каждое утро было так: «Привет, татарин!» – Суров продирал глаза и глядел на братову кровать. «Привет, рус!» – отвечал Рафа. Дальше следовало скандирование: «Рус и татарин – братья навек!» И лёгкий бесконтактный спарринг, так, прыганье одно по комнате, в трусах и босиком. Сдружились – водой не разлить. Когда родители решили разбежаться (Шавкат пил и бил), пригрозили, что оба уйдут из дома, наймутся в бандиты. С Шавкатом поговорили по-мужски, притих.

«Ключ» - это не ключ, это погоняло

Ключ – потому, что когда прямо на улице Восстания (шли с маленьким племяшом Андрюшкой – в театр, не куда-нибудь), подскочили какие-то четверо с единственной целью – смять, замесить, растоптать, Рафа вытащил из кармана медный, большеголовый, бородатый ключ, украденный у бабы Алсу. Овальная башка антикварной отмычки легла в подростковую ладонь как влитая. И пустая железяка врезалась «бородой» в хари врагов, словно штопор в масло. Враг понёс тяжёлые потери. Отбились. Правда, не до театра было уже, плакал испуганный племяш, у левши Рафы с обеих сторон посинела и тяжело опухала отбитая левая кисть, на ладони горела вмятина от «оружия». Сам Суров вытирал юшку полой не подлежащего восстановлению пиджака.

Верный друг, брат, враг Рафа Ключ.

Суров знать не знал, как взыщут брата за победу поверженные отморозки, тяпляповская сволочь. Знать бы, соломки подстелить...

Они очень хотели служить вместе, но не получилось. Суров отбарабанил три года на Балтийском флоте, Раф изредка писал из Узбекистана.

Когда встретились в родной Казани, Суров обалдел: из коренастого нескладного ушастика Раф превратился в высокого и плечистого мужика. Высокий и плечистый мужик засмеялся, щуря и без того узкие глаза, и обронил непонятную фразу: «От Марь Иванны, знаешь, как поначалу в рост идёшь»? Подумалось: амуры, что ли какие? Позже прояснело: марихуана. Рафа хорошо подсел и уже давно попал на деньги к тяп-ляповским. А разбираться стали, кто-то припомнил: так это же тот недомерок с ключом, только подрос малёха. Оказалось, о недомерке и ключе чуть не легенды в

группировке ходили, и люди недомерка искали, покалечил он кое-кого. Нашли через пять с лишним лет. Может быть, Ключу ещё и повезло. Марсель Набиуллин, хозяин, предложил: «Или на счётчик тебя, или с нами будешь работать. Меня Марсом зови, тебя будем Ключом погонять».

Каринка

Суров, ясное дело, был не в курсе, как неожиданно закрутилась братова карьера. Он готовился в университет. Из учебников только хвост торчал. А Рафа пришёл однажды с Каринкой, представил как невесту. Мать ахала, Шавкат требовал обмыть, Суров смотрел и завидовал Татарину, как никогда прежде и потом. Как никогда и никому. Тили-тили тесто жених и невеста, подали заявление. Суров выбросил свои учебники и стал собираться в Калининград, там остались друзья по службе, звали в моря.

В фирменном поезде «Татарстан» Суров выкупил купе в СВ: хотелось одиночества. Вагон тронулся, Суров смотрел из окна на зарёванную мать, на кирного Шавката, улыбающегося Рафу, только успел подумать: «Каринка-то где»? В купе ворвалась Каринка, бросилась на грудь и зарыдала. «Индийское кино», – подумал Суров, и в полном обалдении уставился на медленно плывущий перрон. Рафа спокойно смотрел, покачиваясь на носках. Каринка поехала с Суровым. «Я тебя люблю, а что Рафа? Попробуй отбейся, он же тяп-ляповский, что ты. А ты меня любишь?» «Я? Люблю. Рафа – тяп-ляповский? С ума сошла?» «А ты не знал?!» «Я? Не знал...»

Каринка пропала, когда до свадьбы осталось три дня. Сразу после сочетания Суров собирался в рейс. Пришёл в снятую квартиру с собрания команды. Из распахнутого хозяйского шифоньера голо глядели вешалки, женские шмотки исчезли вместе с самой женщиной. Ни записки, ничего. Только позже обнаружил меловую надпись на почтовом ящике: «Ал. 17, ряд 5». Прошёл было мимо, подумал: «Почерк как у Рафки». И застыл: как у Рафки?

Приехал на кладбище (почему-то знал, что искать надо на старом). Нашёл: «Ал. 17, ряд 5». Свежая могилка утопала в цветах и венках, на траурных ленточках – золотые буковки: «Дорогой Карине от друзей», «Дорогой Карине от Татарина». Суров ушёл в рейс и отсутствовал полгода. Голову сломал, как найти любимого брата. Мать, или того глупее, Шавката вмешивать не хотелось. В первой же загранице купил горбатый фольксваген, подался в таксёры. Стал деньгу копить.

Опять Том

Потом, двух лет не прошло, его, угрюмого «извозчика», взяла за жабры хохлушка, негритёнок Том. Суров раскололся: так, мол, и так, была Карина, остался Татарин. Том развела клерикальную чушь: «Не убий, не мсти, зло началось с тебя». Суров сам не заметил, как отпустило. Каринку было жаль, но «разрешение» не убивать Рафу – как разрешение жить. «И детей заведём, Суров, чтобы тебе дурь в башку не лезла, да?» «Заведём».

На могилу второй своей невесты Суров пришёл (его проводил мент) без всякой уже клерикальной фигни в подсознании. Два венка, ими принесённые, класть было некуда. А на ленточках венков, укрывших холмик, золотились буковки: «Дорогой Тамаре от друзей», «Тамаре от Татарина».

Рус и милиция

Суров пил с капитаном и рассказывал, всё как есть.

«И чё ты хочешь? – говорил милиционер-уссуриец. – И чё ты докажешь? Были тяп-ляпки, я не отрицаю, залетали на огонёк. Мы думали, с автомобилями что-то замутить хотят, а тут вона. Ну да Татарин – это домашнее прозвище, ни о чём не говорит, мало ли что на ленточках написано... А Рафа твой на Шрама похож, тот больной на всю голову, наркоман, чё ты хочешь?»

- Рафа и есть Шрам, я сразу догадался, терпеливо пояснял Суров, после той драки с ключом ему бровь три раза шили. Сбривали, с одной бровью ходил. Ты одно мне только скажи: снялись они из Калининграда или здесь ещё пасутся?
 - Убрались к себе. Но я ничего тебе не говорил.

Пригодился и хирург, похожий на братка. Он отправил в Казань, как просил Суров, справку о суровской смерти. Суров подумал-подумал, мать жалко не было. Если разобраться, всё из-за неё. Нашла за кого идти, за дебильного Шавката, и братца сыну родному нашла. Раф, Рафа Ключ, Татарин, Шрам.

Поиски и находки

Приехав в Казань, снял комнату на улице Баумана (Бродвей юности), ходил, надвинув кепку чуть не до подбородка, расспрашивал то бомжей, то беспризорников. И однажды одноглазый Рамка зашептал, обдавая ацетоном: «Мне тётка сказала, она в «Адском жаре» убирает, париться завтра тяп-ляпки будут с девками. И Шрам будет».

В «Адский жар» Суров припёрся к обеду. Выкупил сауну до семи. Не дожидаясь окончания своего сеанса, пробрался в соседнем номере в кладовку с простынями. Понял: то, что надо, накрытый стол, забитый пойлом холодильник. Знал «простынный» закуток ещё с доармейских времён. Тогда бани были просто «Бани», а в закутке посетители прятали принесённую водку – раздавить втихаря после парилки. Они с братом любили попариться. Иногда брали с собой Шавката.

Раздевшись, Суров закутался в простыню, сидел долго, сначала мёрз, потом стало жарко, видно, дверь из парилки открыли. Несколько раз к нему заглядывали. Брали бельишко, но чулан был буквой «зю», не видали. Понимал, что сходит с ума: сквозь бандитское ржание и взвизги тёлок ему слышались голоса мёртвых. Впрочем, что удивительного? По чердаку-то сколько раз стучали от всей души в тяжёлом детстве.

Народ разбредался попарно – в комнатухи с лежанками, как в термах принято. Когда услышал храп, вышел. Удачно получилось, Шрам спал в кресле, свесив голову, только шрам и было видно. И удавка, Суров тихо зашёл сзади, пришлась ему впору. Шрам задрыгал ластами, захрипел, вытянулся, обмяк. Суров смотрел, как мелко дрожит кожа на затылке брата, как покрывается бурой краснотой. Волосы Шрама были совсем короткие, никак не мог ухватиться, в морду поглядеть напоследок.

– Молодец, Рус, – сказал знакомый голос. Суров дёрнулся, поднял глаза и застонал от удушья. Рафа, в простыне, словно патриций в белой тоге. Раф, вновь ставший коренастым и тяжёлым, но высокий и широкоплечий, смотрел спокойно, покачиваясь на носках. Левую бровь перечёркивали две белые тонкие полоски. - Только я думал, ты меня валить станешь, чё ты к Шраму-то привязался? Он же только приказ выполнял. А приказ сам знаешь чей.

«Я думал, он – это ты», – хотел сказать Суров. Хотел сказать: «Здоров ты стал, брат. Соскочил, видать, с иглы»? И не получилось сказать. Из двери за братовой

спиной вышла, пошатываясь, Карина. Не глядя и не видя, сказала: «Ключ, а Томка опять с Рамкой не хочет. Говорит, одноглазый и маленький, помойкой, говорит, пахнет, толку с него. Дал бы ты ей укольчик, Ключ? Колбасит её»... Посмотрела на Сурова, не удивилась: «А сказали, убили тебя, Серёжа. Мы не верили, а потом матери твоей – телеграмма от врача. Не от врача, значит? Том все глаза проревела. У нас с ней субботник сегодня, нас за этим и держат, а ты что, тоже с ними»? Она махнула рукой и ушла, прикрыв дверь. Суров винтом свалился под ноги брату. «Яры, Рус, – отступая, сказал Татарин, – поваляйся». И добавил: «Зря ты брата на бабу променял, неправильно. Ведь Рус и Татарин – братья навек, хоть мента спроси, хоть лепилу».

Юозас ШИКШНЯЛИС



ПЕРЕКРЁСТОК

(Новелла из цикла «Путешествия с классиком»)

Дружище Яронимас, которого я в насмешку называл классиком, предложил встретиться на перекрёстке, ещё с вечера позвонив по телефону. Противоречить я не осмелился, хоть и желал встретиться не на в голом поле лежащем перекрёстке, но возле городской кафешки, где, попивая кофе, надеялся обсудить маршрут пути, поскольку классик, едущий впереди, ни с того ни с сего сворачивал в сторону, останавливаясь почти возле каждого камня или старого дерева, отыскивая в них, говоря его словами, сакральность. Я же, напротив, не был настроен искать то, чего не терял и, безусловно доверяясь описаниям туристических маршрутов, не думал обнаружить неописанных чудес. Так было почти каждую поездку. Море напрасно потерянного времени на дёргания, метания – и надежд на чудеса, которые, как известно, произошли до нас. Яронимас был настоящим классиком, хоть и хмурился от такого прозвища. Врождённая скромность с желанием её подчеркнуть. Не без приключений объехав большую часть Литвы, потолкавшись по болотцам, взбираясь на городища, обследовав городки с ритуальными камнями, на которых будто бы приносили в жертву людей, последней дорогой того лета мы запланировали пообсмотреться среди соседей-поляков, поклониться епископу Баранаускасу, пусть и немому, вытесанному из украинского гранита. Дату поездки Яронимас всё откладывал, списывая на немощность. Я потешался над ним, а он молча проглатывал глупые шутки о мужском климаксе или что-нибудь более идиотское.

Всё было бы хорошо, если б я не проспал сигнал будильника; затем – безумная гонка, нарушающая все правила движения и неподвижности, и печальное осознание, что день, начавшийся без чашки кофе, может закончиться неважно. Почему надо было встречаться у перекрёстка на широтах полей, спрашивал себя уже в который раз. Ответ Яронимаса был мне известен: это место почти идеально, метров на десяток отстоит от них и наших домов. Я в это не углублялся, не стал мерять шагами расстояния, поверил, однако был ещё бесконечно несчастен и потому, что должен был подчиниться воле другого. А мимо проносились чужие жизни: рядом с едва держащимся домом, неловко залатанным, с ввалившейся крышей, вокруг кривой яблони с обломанными ветками крутилась одетая в лохмотья старушка; подворье дома, сияющего пластмассовыми окнами и досочками, уставлено посаженными в решётках, корытах или бочках цветами, будто приспособленными к пустым, насквозь высмотренным, потерявшим все надежды окнам, вырубленным по новым принципам навороченной архитектуры и разрушаемых или разрушающихся домов. Чужие жизни мерцают и сменяются словно в калейдоскопе, лишь успевай смотреть. Самое интересное, что мгновение, когда они попадают в поле твоего зрения, ничего не значит – ни им, ни тебе. Едешь – и проезжаешь, а они – были и остаются. Кто знает, может люди, жизнь которых замечаешь, проносясь

мимо них со скоростью в несколько десятков, а то и более сотни километров в час, успевают почувствовать любопытный, а иногда – равнодушный взгляд? По правде говоря, мне всё равно, а им – и того более. Живущим у обочины дороги проносящиеся мимо должны быть безинтересны, поскольку их орбиты вряд ли когда пересекутся: одни – исчезают вдали, другие – остаются в придорожной пыли.

Жена, столь же несчастная без чашки утреннего кофе, напряжённо смотрит на дорогу. Впрочем, она примирилась с неудобствами, и иногда внезапно восклицает: ах, какая красивая птичка (башня, дом, дорога, облако и ещё сотня других вещей)! Лениво поворачивая голову в ту сторону частенько не видишь ничего необычного, поскольку эти красоты уже неоднократно были видимы и оценены. Но по большей части её внимание поглощено дорогой, а я пасу глаза по окрестностям. Мне нравится наблюдать за чужими жизнями, даже теперь, когда в висках стучит пневмомолоток, челюсти, поскрипывая, невольно широко раскрывают рот для зевка, глаза слезятся, а в мыслях – ругательства: не мог с вечера подумать о кофе. Но кто мог предположить, что классик, будто сознательно скрывая место встречи до последнего момента, назначит его в чистом полюшке, а не там, где обычно – где дымится кофе, пенится пиво и неспешны речи местных пьянчужек. А под конец разговора, даже не слушая несмелого противоречия, словно между прочим ещё сморозил: ведь не боишься, что на перекрёстке встретишь нечистого...

Отвратительно чувствовал себя ещё и потому, что боюсь перекрёстков. Говорят, что на них встречаются миры: сей и потусторонний. Не спешу верить. Может, встречаются, а может и нет, но мне на перекрёстках приходилось встречаться с этим, реальным миром и его жителями не при лучших обстоятельствах. Однажды я заблудился, так некий солидно одетый человечек уверенно показал «нужное» направление – и мы проехали с полсотни километров в противоположную сторону. Бывало, что на перекрёстке поджидал кто-нибудь уставший, которого надо было подбросить домой, которого якобы ограбили попутчики и оставили на произвол судьбы; но, доехав лишь до ближайшего леска, несчастный внезапно перевоплощался в Тадаса Блинду* и, угрожая оружием, отнимал последние грошики. Надо ли говорить, что всякий раз в течение полугодия после случившегося мы время от времени сцеплялись с женой: в ком из нас возникла жалость к уставшему бедняжке?! На перекрёстках можно стать жертвой безумного или подвыпившего водителя, поскольку это опаснейшие места на земле, в которых водители теряют бдительность, ориентацию и, при случае – здравый рассудок. Забыл добавить, что назначенное классиком место встречи – перекрёсток – именовалось Бермудами и славилось всякими историями. Например: некий человечек по прозвищу Мацукас говорил, что как-то туманным утром встретил на перекрёстке четвёрку чёрных катафалков, за лобовыми стёклами которых были вставлены фото усопших в чёрных рамочках, перевязанные чёрными лентами. Как надлежит встретившему похоронную процессию, человечек сдёрнул кепку и, опустив очи долу, принялся бубнить «Вечную память». Катафалки, а это были длинные и сверкающие заграничные машины, не двигались с места, будто поджидая, когда Мацукас закончит молитву. Тот беспокойно поднял взгляд – и увидел, что все четыре машины везут одного и того же усопшего, то есть за лобовым стеклом находится фотография одного человека. Ещё мало чудес: ведь это была фотография соседа Мацукаса Дагиса, которому он около часа назад пожелал доброго утра!.. Вернувшись, нашёл соседа уже обмытого. Инфаркт. Хочешь верь, хочешь – не

верь... Много кто этому не верил, поскольку обычно в видениях Мацукаса были белые кони, а здесь – чёрные машины. Во всей истории, правда, было два неоспоримых факта: Дагис действительно помер, а Мацукас – бросил пить. Правда, ненадолго.

В неудачный день и час голова загружена неудачными мыслями. И не только ими. Обстоятельства от них также не отстают. И вот теперь, когда до места встречи осталось несколько километров, нас начинает преследовать огромный как гора грузовик с российскими номерами. Он приблизился на высокой скорости и, мигая всеми фарами, предлагает нам убраться с дороги. Кто знает, что осталось бы от нас да автомобиля, если б он надумал пойти на таран... Блинчик с начинкой. Жена, вцепившись в руль, не намерена сдаваться. Аргумент неоспорим: еду на максимально допустимой скорости и у него нет права... у него есть масса, величина, а ума - нет, кричу едва не в пене. Признаюсь: в критических ситуациях начинаю царапаться, но не ногтями, а словами. Только от этого не менее больно. Призрак не отстаёт ни на шаг; видит Бог, если б перед нами возникла непредвиденная и надо было резко тормозить, масса в двадцать тонн без задержки подмяла бы под себя нашу Агилу. Всё закончилось как и началось - неожиданно грозный преследователь не вынырнул из-за подвернувшегося поворота. Может остановился, может врезался в дерево, нам - всё едино, поскольку цель - впереди. Возвращаясь назад, сможем остановиться и посмотреть, почему грузовик остался за поворотом.

Цель – то есть Бермудский перекрёсток – неудержимо приближался, осталось несколько километров, но, словно по заказу, поднялся туман. Я люблю туман вечерами, когда наперегонки с сумерками он медленно пожирает сперва высокие деревья, после – кустарники, пока всю долину заполняет таинственно-серая завеса, поделившая пространство с тьмой. В такое время чудеса, перед восходом солнца, туман уже должен растворить, теперь лишь он поднимается. Сначала в низинах, местами его лоскуты уже достигают дороги, носятся, размётываются свистящими мимо автомобилями, но неудержимо свиваются в паутину, густеют. Жена снижает скорость, поскольку впереди обзор – не более полусотни метров, а дорога словно трасса ралли – поворот за поворотом, за которыми – ещё повороты. Беспокойно взираю в зеркальце заднего вида, не увижу ли с безумной скоростью вынырнувшего из тумана двадцатитонного чудища. Главное – не проскочить несчастный перекрёсток, так как моя навигация подпитывается предчувствием, шепчет, что мы приближаемся к месту встречи.

Туман не рассеивается, когда мы выныриваем в чистое поле. Откуда он взялся? Почему именно теперь, когда так незадался день, что должен был стать праздником? Поскольку встречи, особенно выезды с Яронимасом, всегда праздник. Не только потому, что лестно побыть в тени известного деятеля, искупаться в лучах его славы, порисоваться перед знакомыми, у которых текут слюни от зависти... Особенный человек, каким является классик, в отличие от простых живущих, распространяет вокруг себя сильное поле, которое светит и очищает, поднимает и погружает. Проще говоря, каждая встреча с классиком сродни хорошей бане, не такой, которая смывает лишь земную грязь. Побыв с ним, видишь и понимаешь массу мелочей, о бытии которых раньше даже не догадывался, или не придавал им значения, без которых жить можно, только жизнь такая походит на бессмысленную трату времени в чистом поле. Очарование классика не в проповедях, которыми он сыплет будто конфетти, увы! Не помню ни одного дидактического совета, но сам факт бытия... Кажись, так и хочется повторять его движения, краткие, но глубокие мысли, даже

ломаную походку, мягко и осторожно передвигая ноги. Словом, классик был очарователен во всём, не забывая о его отвратительных чертах характера и привычках постоянно бубнить, менять планы и нарушить плавное течение дня.

Остановились на обочине, в добром метре от асфальта, включили необходимый свет, чтобы в подобном тумане мог увидеть и слепой водитель. Некоторое время царил абсолютный покой, не говоря о шелесте тумана. Да, туман издаёт звуки, надо лишь хорошенько вслушаться. За это знание я должен быть благодарен классику и никому другому. То была одна из упомянутых мелочей, на которые он мне указывал. Как может шелестеть туман – осталось загадкой из дешёвого фильма ужасов с его чудищами. Впрочем, не люблю ни дорогих, ни дешёвых фильмов ужасов, если когда и смотрю, так только созданные по Кингу, поскольку тот не пересаливает с глупыми и наивными пугалками. А туман воистину шелестит, не пугающе, не ужасающе, а скорее уютно. Теперь, опустив стекло, слушал этот шелест, пока тишина не взорвалась рёвом. Чудище-грузовик, оставшийся за резким поворотом, развеял туман, рассёк как молоток воду - и замер перед нами. Поднимаю голову вверх - и вижу прилипшее к стеклу лицо. Кажется, что это не человек, а лишь бумажный портрет к стеклу приклеен. Иногда дальнобойщики пишут имена, на фотографии за стеклом я видел только на катафалках. Лицо побелевшее, глаза лезут из орбит. Не понимаю – это лицо водителя или пассажира, а чудище время от времени рычит зверским голосом. Говорю не как водитель, так как последний сказал бы: дави на газ. Лошади в подобной ситуации бьют копытом землю. Не ясно, чего ждёт водитель чудища, так как укутанный густым туманом перекрёсток пуст. Взвыв, будто перед смертью, чудище рвётся на перекрёсток, но слышится пронизывающий до костей выдох тормозов: в перпендикулярном направлении на всей скорости проносится длинный как паровоз грузовик, усыпанный лампочками, светлячками сияющими в тумане. Чудище, ещё некоторое время вздыхая, несётся вослед.

Туман шелестит, откинув голову на сиденье пофыркивает жена. Часы на её руке отмеряют время, которому всё равно, чего ждать: триумфа или эшафота, мгновения лжи или истины, рождения или смерти. Время к человеку равнодушно, даже наоборот: если очень ждёшь, оно замедляется и ползёт, будто уставший с окоченевшими конечностями, а если хочешь отодвинуть неприятный момент подальше, время свистит со скоростью экспресса. Оно никогда не замирает: хоть проси, хоть умоляй, хоть проклинай. Вот и теперь: движется, скользит, заговорщицки шепча, минутная стрелка, ведь классик опаздывает ровно на четверть часа. Вновь мысленно ругаюсь, ведь не похороны или свадьба, какого чёрта надо было лететь с выпученными глазами. Для меня спешка – нож у глотки. Жена дремлет, словно добрую часть пути пытается лишь связать чары неожиданно прерванного сна. Заботы, кажись, её не волнуют. На перекрёстке почти ничего не происходит: разрывая завесу тумана выныривает автомобиль, на мгновение замирает, будто желая увериться, что впереди ничто его не поджидает, затем летит вперёд. Прицеливаясь, выбирает неверное направление, поскольку туман облегает не только землю, но и мозги коекаких людей. Возможно, преувеличиваю. Может, виноват не туман, а возможность выбора не того направления. Многим водителям не хватает неживых, с облупленной краской, пусть и отражающих свет дорожных знаков, ему нужен живой голос – снаружи или извне, который подтвердит или опровергнет необходимое направление. Здоровое недоверие дорожным знакам не одному помогло продлить или

сократить путь. Но ведь это нормально, оживился бы классик, у которого своё видение и предвидение. Иногда удивляюсь, почему букву «а» он читает как «б». Издеваешься? Ничуть, вздыхает он. Возможно, такое видение и делает его классиком, так как ни один из моих знакомых читая букву «а» как «а» ещё не стал классиком и даже не думает таковым становиться. Может и хотел бы, только нет никаких данных. Правду говорю. А сам? Всё другие да другие, а сам-то что? Надо бы скромно промолчать, но язык продаёт, потому и говорю: бывают случаи, когда первые буквы алфавита меняются местами. Только это не значит, что я слепо подражаю Яронимасу. Наоборот: это происходит против воли, осознаю это лишь сказав или сделав. Классик также не обвиняет меня в плагиате. Даже удовлетворённо потирает руки. Словно по-человечески радуясь, что не ему одному довелось поскользнуться на ровном месте. Замена букв местами – всего лишь вершина айсберга. Классик отличается от нормальных людей тысячью и одной чертой, которые не описаны в учебниках. О них никому неизвестно, а было бы известно, классик ходил бы со звездой во лбу. А в том было бы нарушение прав человека. Редкий классик любит выделяться из толпы, поскольку многие полагают, что толпа выделяет их сама по себе, оценивая их заслуги... Наивное мышление, так как толпа, наоборот, старается классика затереть. Будто ненужные сорняки, прорастают, пока не испоганят другие культуры. Агрономия не по назначению. Лоскуты мыслей подражают туману.

Двадцать минут. Даже вздрогнул, так как туман через открытое окно, стекло которого опустил до конца, вслушиваясь в заговорщиский шелест, щемит сердце, лезет через приоткрытый рот жены, она причмокивает, словно проглотив нечто вкусное и утирает ладонью губы. Наблюдаю за всем словно в замедленном фильме и думаю, что сегодня не могло много случиться: во-первых, согодня не может начаться война, сегодня человек не может высадиться на Марсе, сегодня в мире не умрёт ни единое живое существо, а солнце взойдёт ровно через сорок минут и активность его не будет превышать норму. Понимаю, что моё мнение не повлияет на скорость вращения Земли вокруг оси, не остановит приливов и отливов, даже сотен готовых к извержению вулканов и тысяч, а может, и больше, безумцев с заряженым оружием. Мне не хватает лишь одного: дождаться классика в голубой «Тойоте», которой тот гордился, так как до того имел «Жигули», затем – «Рено», и которые доставляли ему массу хлопот. Первой постоянно не хватало запчастей, а у французской машинки был врождённый дефект двигателя, как говорил сам классик. «Тойота» ездила несколько лет - и ни разу не приходилось ремонтировать, хвастался он. Хорошая машина должна служить всю жизнь, говорил я, но классик поглядывал несколько выпученными и, возможно, поэтому проницательными глазами - и у меня пропадало желание подтверждать банальную истину. Не каждому дано постоянно разбрасывать перлы мудрости – возможно, потому, что их полюбили свиньи.

Жена, наконец, перестала сопеть, медленно сориентировалась во времени и пространстве и стала дёргать струны нервов, которые и без её усилий были натянуты. Я заметил: у женщин есть уникальная способность задавать вопросы, которых никто никогда и не вздумает задать. Говорю о самих по себе ясных вещах, как, например: придёт ли рассвет, взойдёт ли солнце, за средой будет ли четверг? Справляться о том было бы глупо, но женщина ухитряется на это и с невинной миной спрашивает: кто знает, почему за средой должен быть четверг, а не наоборот? Или: ты не слышал может, Сейм уже обсуждает вопрос о дополнительном дне недели? Моя-то так далеко

не забрела, потому и пилит: почему не спросил, на каком автомобиле они прибудут? Надо было спросить, намерены ли они опоздать? Мог бы поинтересоваться, этой ли дорогой они прибудут? И, наконец: надо было дать мне трубку, договорилась бы конкретнее. Способность женщин договариваться – это уникальная возможность разрушить ситуацию. Если договаривающийся мужчина в состоянии забыть детали (из-за которых женщины после дёргают нервы) так последние всё скатывают в тяжело распутываемый клубок. А тогда чё хошь делай... Потому претензии, сомнения и обвинения удачно отражаю крепкой стеной тишины, поскольку знаю по опыту, что значит первая искорка. Лишь раскрой рот. Лавины не остановишь! Тихонько открываю дверцу – и выползаю в шелестящий туман, который проглатывает последние слова моей госпожи, о том, кажется, что в будущем обо всём будет договариваться она, поскольку доверить это мне – заведомая глупость.

У ожидания есть грань терпения. Её трудно очертить, нигде не сказано когда, кто и сколько может опаздывать. Когда, кого и сколько можно терпеливо ждать. Раз за разом – всё по-новому. Сегодня грань терпения в ожидании мы уже перешагнули. Не потому, что в автомобиле кипит, пузырится, безостановочно поучает, обличает и указывает жена. Даже не из-за часов, убежавших на добрые полчаса от назначенного времени. Всё вместе – и чувство, которое охватывает вместе с холодно-мокроватой накидкой тумана. Придорожные деревья и кустарники, обретшие в тумане контуры привидений, даже множество отмечающих перекрёсток дорожных знаков на все случаи жизни, утеряли в тумане свою форму и смысл. Туман лезет в глаза, в рот, шелестит в ушах, но не заглушает гудения автомобиля, который, пусть и медленно, но приближается к перекрёстку. Покрутив головой словно локатором вскоре понимаю, что автомобиль приближается именно с той стороны, откуда должен прибыть классик. Сделав ещё несколько шагов, с радостью замираю у обочины, что ожидание закончилось и мы сможем, в конце-концов, завершить лето как и подобает. Гудение, заглушаемое шелестом тумана, приближалось. И тогда случилось то, что ни в тот момент, ни до сих пор не могу понять: из лоскутов тумана сперва показался передок автомобиля классика, а в кармане зазвенел мобильный; клянусь, это была его «Тойота», хоть госномера рассмотреть не успел – поскольку стал выкапывать телефон, который после нескольких сигналов умолк. Машина медленно проплыла мимо, в прямом смысле этого слова, так как едущий автомобиль сцепляется колёсами с асфальтом, этот же не касался колёсами земли, во всяком случае мне так показалось. Мало того: в кабине «Тойоты» не было ни живой души! Распинайте, обвиняйте в Страсбургском суде, но клянусь: проехавший мимо меня пустой автомобиль классика повернул в направлении пограничной заставы! Я прыгнул в свою машину и распорядился жене следовать за «Тойотой».

- Какая ещё «Тойота»? - спросила жена. - Приснилось? Никто не проезжал. Н-да-а-а-а... То ли равнодушно произнесённые ею слова, то ли шелест тумана несколько охладили меня. Вытащив мобильный телефон, увидел пропущенный номер. Это был номер классика. Попробовал связаться. Увы. Трубку никто не брал, а минутой позже механический голос оператора сообщил, что данного номера не существует. До сих пор пытаюсь связаться, увы, лишь несколько сигналов – и голос оператора...

Алла ТАТАРИКОВА-КАРПЕНКО



ЛЕТО – СТРАСТЬ МОЯ

Своим вторжением мы бездумно разрушали мыльные пузыри утра, наматывали его мерцающую паутину на свое бесстыжее вуайёрство, подробно разглядывая алмазные шарики, прежде чем раздавить их вероломной ступнёй. Мы разбивали стекло тишины над озером смехом, вскриками и топотом босых пяток по утрамбованному уже испарившимся ночным дождем береговому песку. Изначально нас было человек семь на даче предков одного из парней. Потом все разъехались, оставив нас вдвоём и наедине с внезапно родившимся взаимным непреодолимым притяжением.

Воздух на июньском чердаке рыжел, вздыхал и накалялся, усиливая и напрягая запах пыли, позапрошлогодних высушенных и забытых трав, чистого горячего белья на ленивых провисах верёвок. С приходом ежедневных гроз, пересохший было чердак постепенно увлажнился, набух, отяжелел, но скоро утомился всё прибывающим предгрозовым паром, стал задыхаться и ждать всякий раз освобождения в ливне. Вместе с чердаком мы пересыхали, потом влажнели и задыхались, и ждали разрядки, и радовались её приходу в дожде, под пьяные песни грома, валившегося на крышу с дурной молодой силой. Мы хоронились в сотрясаемой летней стихией утробе чердака, живя с ним одной жизнью, сворачиваясь парным эмбрионом в его чреве, в его теплой и влажной, нежной, будто материнской, утробе. Мы питались его энергией, порождаемой беснованием молний и красотой запущенного, буйствующего вкруг нас с ним, старого сада. Мы были счастливы своей плотной соединённостью, неразрывностью тел и желаний, мы, конечно же, чувствовали себя сиамскими близнецами. И были ими. Мы содрогались в пароксизмах, бились в конвульсиях, млели и таяли, и замирали на время короткого глубокого сна. Мы просыпались в испуге, что потеряли время и снова ненасытно трудились. Чердак вынашивал нашу любовь, зачав нас от расточительно сияющего лета, а мы, не умея ценить своего счастья, транжирили его, предаваясь буйным играм ещё не родившихся особей. Мы не понимали, что надо быть разумнее, не осознавали необходимости умерять пыл, мы плыли по бурному, порожистому течению страсти, не замечая усталости, прямо к водопаду, срывающемуся отвесно. Мы неминуемо должны были удариться о жёсткую реальность перенасыщения. Утробные воды чердака, - реки нашей физиологии, - прорвались, и чердак опростался, освободился от теперь уже выношенного плода – пары измученных, пресыщенных друг другом, озлобленных созданий. Нашей повивальной бабкой была тихая послегрозовая ночь, в садовых зарослях пела ночная птица, июньское небо было не слишком тёмным, в облачке мутнела луна, а на чистом небесном пространстве крупной солью просыпались звёзды.

Мы были настолько юны, что не поняли сколь опасно так рано познать смысл и значение слова «пресыщение». Но мы чувствовали его в полной мере, оба и одина-

ково. Теперь мы ненавидели наше сиамство со всей мощью детского максимализма, оно раздражало меня и её, как раздражает, наверное, абсолютное знание одного из сиамских близнецов всякого желания, всякой боли, нетерпения или нужды – другого. Я знал всё, что чувствует она. Она понимала всё, что происходило в моей голове и в моём теле. Наши чувства, мысли, и наш страх были абсолютно идентичны, будто и я и она стали существами одного, некоего общего, пола. Мы не хотели признаться друг другу и себе в том, что исчерпали свою страсть, свои физические и душевные ресурсы, и больше не нужны друг другу.

Покуда чердак был нашим хранителем, мы проводили в нём много жаркого, кипящего и потом растекавшегося таящей пеной времени. Конечно, мы покидали своё пристанище, чтобы поесть горячего, помыться, переодеться, написать записку родителям или бросить им фразу о том, что времени на разговоры нет. Правда, пока хватало питья и закусок, прихваченных в соседнем магазинчике, мы не оставляли нашего тайного жилища даже по малой нужде. Мы писали в припасенные посудины: я нацеливаясь в бутылку с широким горлом из-под воды, она – в трёхлитровую банку из-под бабушкиных консерваций. До применения пузатой стеклотары в качестве «ночной вазы», она была вместилищем душистой сладости и тягучести. Сверкающим, как содержимое банки, ранним утром мы руками выловили и, почти не жуя, проглотили нежно проскальзывавшие в пищевод компотные абрикосы, а потом слизывали языками с подбородков и пальцев друг друга липкую вязкость сиропа. Решение не спускаться лишний раз в сад было принято когда пошли дожди, и скользить под рушащимися с крыши потоками по отвесной лестнице в залитую водой траву стало небезопасно. Моя забота о ней выразилась в моём предложении воспользоваться опустошённой посудой, но нас никогда не возбуждало подглядывание за интимным занятием партнера, а тем более открытые действия. Мы по очереди уходили в дальнюю часть чердака, за балки и сваленный хлам – старое, пышущее густой пылью, обитое драным гобеленом кресло, две огромные столешницы, стая оборванцев-абажуров, тазы, и вёдра, и кувшин. Мы не хотели пользоваться этими вёдрами и кувшином по причине того, что они принадлежали не нам, да и выносить их, спускаясь с открытыми ёмкостями полными мочи по шаткой лестнице, было бы неудобно.

Теперь же нам пришлось вернуться наверх, посветить себе фонариком, закрутить крышки каждый на своем «горшке» и, осторожно и опасливо двигаясь, спустить груз на землю. Мы проделывали это раньше много раз, смеясь и забавляясь решением, кто в какую часть сада пойдет выливать, не желая делать это в забытом деревянном клозете, тщательно ополаскивали потом свои «ночные вазы» дождевой водой, скопившейся в открытой большой пластиковой бочке ярко-синего цвета. Так же смеясь, мы тащили обратно блестящие на солнце прозрачные свои сосуды, зная, что в долгие ливни они нам еще пригодятся.

Теперь мы стеснялись необходимости проделать эту работу, брезговали, молча, неуклюже двигались, мешая друг другу.

Мы вообще стали мешать друг другу.

В один из таких дней, невольно ища отвлекающее от ситуации занятие, мы обнаружили в чердачных залежах многочисленные предметы, не сразу нами угаданные. Сначала сероватая груда состарившегося здесь чемодана, вскрытая нами в сухом забытом нутре, испугала нас. Мы приникли глазами к тому, что показалось

нам то ли обувью больших кукол, то ли их цельновыпиленными ногами, стопами ног. Лишь минуту спустя, наше зрение вычленило из загадочных объектов вполне определенную реальность - деревянные обувные колодки. Они были изготовлены из специально предназначенного для резьбы дерева, возможно, липы, мягкого, легко режущегося, так как линии их лились и изгибались по форме чьих-то красивых, породистых женских и мужских ног, тонко повторяя их формы: высокий подъём, узкие ступни и пальцы... Вычурно и благородно выглядели эти, долгие годы прятавшие свою красоту в затхлости и тайне, изделия. Произведения сапожного ремесла были, видимо, очень старыми, даже старинными, изящными и точными. Они темнели загадкой, притягивали и будоражили воображение. Неожиданное их явление вызвало в нас восхищение и внезапное желание наряжать, ублажать, прислуживать этому вороху утаённой роскоши. Казалось, мы готовы были тот час же заняться никогда прежде не пробованным шитьём аутентичной обуви. У нас были друзья, всерьёз подверженные реконструкторским увлечениям, и среди них специалисты по сапожному делу. Можно было подарить обширную нашу находку, неоценимую нашу коллекцию кому-то из них, но прежде необходимо было привести пары плотно запыленных, закопченных временем, шершавых теперь, а ранее, видимо, гладко отполированных деревянных стоп в должное, привлекательное состояние. Несмотря на то, что колодки были грязны, их хотелось трогать, держать в руках, поглаживать, рассматривать - любоваться. Мы вернули находку в кожаный иссохший чемодан с незнакомыми для нас замысловатыми накладными замочками почти чёрного цвета в мелкие, проступающие сквозь темноту медные пятнышки. Мы выложили их обратно пухлыми рядами на когда-то блестящую шёлковую подкладку с витиеватым рисунком и опустили крышку, не сумев прикрыть её плотно. Не желая нарушать затаенность момента, мы не тронули тот порядок возвращения предметов на место, который сам себя продиктовал и так, недоприкрытым, поволокли чемодан к чердачному выходу.

Чихая от пыли и посмеиваясь, попеременно придерживая крышку, мы двинулись вниз по лестнице со своей драгоценной ношей. Нам приходилось поворачивать её то одним боком, то другим, дабы не выронить, не упустить содержимое. Мы старались быть осторожными по отношению к ноше и, неожиданно для самих себя – друг к другу, больше заботясь об удобстве другого, чем о своём. Мы замирали в неудобных позах, дожидаясь, когда другой сделает свой неловкий шаг, постепенно сокращая шаткий, неверный путь по лестнице, приближаясь к доброй мягкости травы, к твёрдой устойчивости почвы. Мы благополучно совлекли переполненный, дышащий пылью чемодан на землю, в четыре руки подхватили, - так было удобнее, - и донесли его до садовой ёмкости с водой, желая аккуратно промыть и потом высушить на солнце объекты нашей невероятной находки. Каждый из нас взял в руки по колодке, чувствуя объединяющую торжественность момента, испытывая благодарность своему открытию за тепло и взаимоучастие, которые мы было утратили. Мы радовались восстановленному доброжелательству, мы испытывали возродившуюся симпатию друг к другу. Мы забыли усталость своих отношений, мы праздновали возвращение.

Глаза глядели в глаза, руки с зажатыми в них чудесными деревяшками медленно погрузились в воду, тёплую и плотную. Трепетавшие ожиданием пальцы с нежностью удерживали свои волшебные трофеи в тёмной и ласковой глубине. Ве-

домые властью рук, они двинулись внутри водной плотности как полузатонувшие древние кораблики, подвластные божественной воле. Суденышки встретились, руки соприкоснулись, скользнули, разъединились, вернулись. Корабли взметнулись в брызнувший битым стеклом предвечернего солнца воздух. Дрза! Пространство качнулось, боги сомкнули руки с кораблями за шеями друг друга, боги приникли, притиснулись, влипли друг в друга. Богам было радостно и страшно. Этим жестом они просили взаимного прощения.

Мне показалось, первым ощутил гибель я. В моих пальцах, удерживавших кораблик, что-то сместилось, растаяло, сбилась структура, исказилось ощущение. Мы разомкнули руки одновременно, чтобы убедиться зрением в том, что уже дало понять осязание. В наших руках не было корабликов, не было колодок, не было предмета. Лишь обильная мокрая коричневая пыль, мелкая сырая труха, прах, самоуничтоженность. Их нельзя было мочить? Но, это же дерево, оно не должно бояться влаги! С грязными коричневыми руками, мы кинулись к чемодану. Достаточно было чуть жёстче надавить на очередную деревяшку, и она, сухо всхлипнув и испуская сладкий старинный запах, рассыпалась, таяла. Разрушение происходило мгновенно. И разрушать хотелось ещё и ещё. Мы зло нависли над добычей и немедленно обратили её в прах. Короткое жёсткое время тёркой зашуршало в узком пространстве между нами. Упорство вандалов подчинило себе момент. Облако серо-коричневой мути стояло над нами, как дым от пожара, в котором догорает вместе с мебелью, одеждой, письмами и документами – прошлая жизнь, а наши пальцы всё давили и давили изъеденное жучком дерево, покуда нам не пришлось остановиться перед последней маленькой светлой колодкой изящной формы. Мы замерли и похолодели, вцепившись в неё глазами. Казалось, время не тронуло ее сверху, так четко сохранился цвет отполированной чьими-то мастеровитыми руками древесины. Была надежда, что и внутри её присутствует жизнь, полнота и твёрдость, что время жучком не проникло в её здоровую сердцевину, не нарушило течение затаённых соков, не изъело, не изуродовало. Она лежала правильно и твёрдо, требуя присутствием своего совершенства права на преклонение. И – жизнь. Эта последняя красота, единственная сохранённость, не была нарушена и нами. Не сговариваясь, мы отодвинулись прочь, отдалились на мгновение от уцелевшего чуда, любуясь и прощаясь с тем, к чему решили не притрагиваться. Мы прикрыли крышку чемодана, и мне удалось защелкнуть замки. Вернее, они защелкнулись почти сами при первом моём прикосновении легко и мягко, как новые, как-то беззвучно. Я смыл остатки древесного праха, погрузив руки глубоко в тяжелую черноту воды. Она подождала, когда я извлеку умытые руки из темноты и быстрыми резкими движениями возмутила жидкое колыхание мрачной медузы, заполнявшей ёмкость. Оставалось двинуться по увлажненной вечерней заботой траве в обратный тёмный путь. Я повлек уродливый тайник через лиловую и душную густоту наступившей ночи. Душистая травяная тьма почти не сопротивлялась нелепым формам моей ноши: чемодан теперь раздражал своей лёгкостью, вмещающей в себя единственный, неизвестным чудом спасенный от времени и судьбы, затаившийся одинокий предмет. Я поднял искривленное временем, покореженное, но надежное хранилище и вернул на старое место, в пыльные залежи чердака. Его громоздкая теснота поглотила и скрыла последнюю грусть, свет печали, за которой – ничто.

Мы сделали вид, что нам хочется перемен, что нам надоел наш покровитель, наш созидатель, и договорились посетить другие чердаки, прихватив свои, скрученные трубой паралоновые матрасы и пледы. Прозрачные пузатые ёмкости мы оставили в разных частях покидаемого сада под деревьями.

Мы забирались в чужие объёмы, чужие запахи, вдыхали чужую пыль и становились всё более чужими друг другу. Мы опускались в темноту и тепло нового места, чтобы сразу заснуть. Как по команде. Одновременно.

Когда мы просыпались, приходилось дружно притворно смеяться над тем, как нас смаривает, замертво «ломает», как больше этого допускать нельзя, ибо нам «есть чем заняться». И теперь это звучало пошло, было приторно и вязко, как тот абрикосовый сироп, который когда-то казался вкусным.

В очередной раз мы заснули рядом и, кажется, ещё сопротивляясь воронке, стремительно затягивающей меня в сон, я успел подумать, что проснусь один.

Так и случилось.

Чердачное окно-выход было завешано садом, живописным и рыхлым его полотном, потерявшим очертания к ночи и теперь, в этот ранний утренний час, постепенно обретающим их.

Я продвинулся в проём, к лёгкому ветру, в сад, набирающий оттенки под робкими лучами, наклонился: у подножия кое-как сколоченной лестницы лежало её тихое недвижное тело. Я спустился.

Она ударилась виском о совсем небольшой камешек: поторопилась спрыгнуть с перекладины. Я промок. Слёзы мои были обильны и мучительны. Теперь сад громыхал, оглушал густым хором птиц, цикад и лягушек. Мухи маниакально стремились вклиниться в хор, мельтеша и диссонируя с общим звуком неблагородным своим жужжанием. Весь этот надсадный шум, уродующий мои нервы, не подтверждал кипения жизни, напротив, он доказывал полновесное присутствие смерти, подчеркивая необходимость тишины, смиренного молчания и всеобщей остановки. Больные лёгкие ветра – органные трубы, замысловатая архитектура которых вздыбилась теперь неверным ритмом дыхания, сбивчивым и не удерживающим смысла движения, – хрипели. Эти исковерканные металлы и воздух, пытающийся в них жить – всё, что осталось от былого здорового бытия, от могучих порывов и нежных дуновений.

Я наклонился над её телом, лёг рядом. Медленно запрокинулось зеркало неба надо мной и отразило меня, скорчившегося подле безжизненно собравшегося сгустка холода и отчуждения – моей любимой. Я приник к ней и превратился в неё. Меня больше не было. Только мёртвое моё бывшее тело с кровавым пятном на виске лежало у моих стройных женских ног.

Моё бывшее тело нашли много позже. К тому времени я уже несколько раз приходил к моим отцу и матери, – родителям того, кем я был раньше и пытался объяснить, что я не погиб, но просто стал ею. Я хотел предварить своими объяснениями обнаружение тела и никому не говорил, где оно. Я смотрел в глаза моей матери и видел тоску по утраченному мне, не способную переродиться в понимание, что я жив, в радость, что я всего лишь видоизменился. Мне никак не удавалось проникнуть трансцендентной высотой логики в сознание женщины, которая родила меня, моё внутреннее наполнение, но не имела никакого отношения к

внешней моей нынешней явленности. Она не умела верить в правду моего перерождения, и считала меня девушкой своего погибшего сына, от горя двинувшейся умом. Она обнимала меня и плакала горько, и я – вместе с ней, испытывая неизбывную печаль, проливаясь горем потери...кого? Кто стал моей потерей? Она, моя любовь? Но ведь я и есть – она. Ныне я - тот, кто любил её, но и та, кого я любил. Каким-то непостижимым образом во мне вмещались мы оба. Теперь я – носитель и владелец всей нашей любви, этого не имеющего конца и начала шара, сияющего нераздельным, двуполым огнём, огнём предвечной природной тайны. Мужское тело, ненужная и пустая часть нас двоих, сброшенной змеиной шкуркой, опростанным тараканьим контейнером, покинутой моллюском раковиной, тлела под деревянными ногами полусгнившей чердачной лестницы, втоптавшей в прах неслыханной мощью скользкой своей ненадёжности, хлипкости и шаткости, добрую простоту нашего утраченного бытия.

Через время я почувствовал желание вернуться в ушедшее, недалёкое, но навсегда утраченное смутное время обретения и потери любви, предаваясь сладострастному самомучению, мазохистскому расковыриванию совсем ещё не затянувшейся раны. Сколько надрывной боли, невыносимо острой печали несли мои новые посещения дачного посёлка, медленно вплывающего в безлюдный, светлый июль. Я стал бередить свою память, возвращаясь к садам и домам, на которые мы так мало обращали внимания, влюблённые в чердаки, прятавшие нашу страсть от глаз и ушей, так пугавших нас своим возможным внезапным приездом, но так и не явившихся к лету хозяев. Отчего-то люди перестали заниматься своими огородами и даже интересоваться даримым без труда и заботы урожаем яблок и груш, одичавшей малины и смородины. К тому времени слепла на солнце осыпная смородина, пунцово светящаяся красная и пузырящаяся прозрачная белая. Плотно набитые листвой кусты облепляли жирные фиолетовые грозди чёрной. Куда подевались пенсионерки с ведёрками, полными летней радостной бесплатностью, в обеих руках? Лишь в некоторых садах с домиками поплоше суетливо возились какие-то тени. Дома, крепко стоящие и демонстрирующие изрядный достаток хозяев, были по-прежнему пусты и ограждены сытой самоуверенностью. Они гордо держали свои чердаки в красивой ухоженности благодаря своей сравнительной новизне и качественной дороговизне.

Я двигался вдоль основной улицы, шевеля её одинокую, редко поднимаемую ногами или шинами пыль, сворачивал в травяные заросли проулочков, останавливался и плакал. Я не желал утешения. Терзания, в их безграничности и силе были мне сладки, я отдавал им себя самозабвенно, я упивался своим абсолютным горем, его неиссякаемостью.

– Сударыня, о чём так горько? Будет вам! В юности нет неисправимого – жизнь впереди. Всё ещё может быть изменено: что не нужно – забыто, что необходимо – найдено.

Старик был сух, сед, глазаст и – добр.

Дом для него перестроил сын. Несколько ближе к городу, чем доживали старые дачи, укрепился компактный коттедж на основе купленного старого, полуистлевшего, утонувшего и сгинувшего в дебрях яблоневого сада, с добавлением вишневых, сливовых и иных дерев, среди которых красовались и алыча, и облепиха, и особая груша, и нежное ореховое дерево. Изысканные добавки планомерно осуществлял старик, в чём мне пришлось позднее убедиться на деле.

– Нет, сударыня, конечно, не своими руками строил, – финансировал сын. Он банкир. Модно и выгодно. Никогда не думал, что мой сын будет ростовщиком крупного калибра. А что такое банкирское дело? Именно, ростовщичество. Весь мир давно этим промышляет, теперь и мы... Я попросил оставить, как было: один этаж и мансарду. Мне и этого много. Ну, вот, теперь вы в нижнем этаже. Старый дом несколько лет простоял неотапливаемым, хозяева поделить никак не могли, сгнили балки в подполе, осели стропила. Сын предлагал заново отстроить, а я думаю, зачем рушить? Фундамент и подпол, остов, да много чего оставили. Теперь удобно: двухконтурный газовый котел: отопление, горячая вода, сухость, чистота. В старом-то доме углем топили. Да. В ХХІ-ом веке угольный котелок. Россия, сударыня...

Так утвердилась моя гендерная принадлежность. Я – сударыня. Саша. Александр-а. Родителям, её, а теперь – моим, я сказала, что живу у подруги по универу. Занятые каждый своим новым романом, они восприняли это, казалось, с радостью.

- И не разводятся?
- Никогда они не разведутся. Им так удобно. Они в этом одинаковые: всё им новые впечатления подавай. Никому обещать, никого обнадеживать не надо: извините, семья. Между собой в бесконечной игре будто ничего не происходит.
 - Может, они любят друг друга?
 - Я бы не сказала. Своеобразные отношения.
- Приязнь бывает разной, порой необъяснимой, путаной. Любовь многолика, деточка.

Мнилось уже, что так было всегда. Всегда: я – красивая девушка. Всегда – Старик, две его кошки и пёс. Всегда – его сад, запущенный, вязкий, полный цветов, крупных и ароматных, вычурных. Всегда – своеобразный и таинственный дом под старой черепицей – портрет своего хозяина.

Дом проживал свою самостоятельную, но крепко связанную с хозяйским характером жизнь, планомерно и безвозвратно погружаясь в беспорядок. Вянущие в вазах и корзинах цветы, источая гнилостные ароматы, заполоняли собой снизу, с полу, на котором располагались в изобилии и сверху - со столов и полок. Одежда, вытекая из переполненных шифоньеров и шкафов-купе, расползалась и множилась по креслам и табуретам, спинкам диванов и диванчиков, яркие ее краски слабели, блекли и замирали в гаснущем воздухе. Дальними тёмными углами коридор заваливался в кошачьи горшки и толпы пушистой от пыли обуви под лестницей. Кухонная утварь: некогда блестящие кастрюли и ковшики, джезвы, сковороды, сотейники и супницы, ножи разнообразных форм и размеров, крышки, пробки, столовое серебро и мельхиор, молочники, масленки, ведёрки и баночки, тёрки, приспособления для чистки рыбы и овощей, механические соковыжималки и кофемольные мельницы тускнели и мутнели, но плодились и копировались. Тарелки супные, столовые и десертные, селёдочницы, блюда для рыбы, жаркого, тортов и пирогов, салатники большие, средние и малые, блюдца и блюдечки, розетки для джемов и варенья, кофейный и чайный фарфор и фаянс, пивные кружки, рюмки, фужеры, креманки, бокалы, стаканы и стопки оккупировали кухню, а также буфеты и серванты в комнатах. Они имели свойство биться бесконечно, они дробились в неверном свете дня, проникавшем сквозь окна, забранные садом, и восстанавливались, воз-

никали заново в ещё большем хаотическом изобилии. Бутылки и бутылочки синего и красного стекла, металлические вазы, набитые бледными высушенными цветами, керамика, вазы пустые, корзины заваленные бусами, ожерельями и браслетами, настольные лампы под тёмными абажурами и молочными стеклянными шарами вместо них, коробки, шкатулки, сундучки, с прорывающимся из них содержимым, перья, стеклянные безделушки, раковины всех форм и размеров, - всё наступало, наплывало, погружало в себя. Книги и картины своим мощным количеством завершали необратимость ситуации, а может быть с них, царственных, и следует вести отсчёт, но они окончательно перекрывали возможность вернуть пространству свободу. Списки этих вещей были бы бесконечны, но в них не было бы упомянуто ни единого случайного предмета. Любая явленность, каждая незначительность, бусина, кисточка, пуговица, соринка, - обретали здесь истинное право на размещённость и укоренение. Никакая малая безделица не желала покидать найденного пристанища, становиться подарком для кого-то и, тем более, быть выброшенной. Об утилизации здесь не могло быть и речи, хозяйского помысла, намека. Новое возникало планомерно, план этот подчинялся закону необъяснимости. Старое селилось тут навечно и имело тенденцию к многократному самовоспроизводству в отражениях, звуках и запахах. Помимо запаха гибнущих букетов здесь двоились в зеркалах мутные шлейфы духов, пряностей и благовоний, порой кошачьего аммиака, воспоминания о высушенных травах, горьком, крепком чае, нераннем утреннем кофе, летом – ягод, яблок и груш. По дому, наталкиваясь на угловатость и остроту предметов и ощущений, то и дело проползали бесчисленные ручейки памяти, во всякой мягкости оседали истории, прошлое, норовя проникнуть невидимыми щелями в подпол, стремилось занять последние свободные метры, ничего не оставляя настоящему. Но сиюминутное, нынешнее, прославляло сей день своей абсолютной силой, владетельным многообразием и единовластием бытия.

- Здесь жила женщина?
- Жена. Теперь я один. Да вот вы, сударыня.
- Красивая?
- Да. И молодая.
- Ушла? Бросила? И вот так оставила свои наряды и украшения?!
- Бросила. Ушла. Туда, откуда не возвращаются. Вот и у вас, чувствую, потеря. Но у меня поздняя, а у вас ранняя. Много ещё времени на заживление ран. А моя зажить уже не успеет.

Ночная темень сада глядела в окна с двух сторон дома, томилась, задумывалась, пытаясь закрепить в себе тайну ушедшего дня. Она не хотела, но должна была позабыть всё к утру, опростав свою память для будущего цветного рванья событий и сцен. Ночь загустевала и бредила завтрашними вспышками добра и негодований, в сонном оцепенении почти не слыша цикадного сверчения и лая лениво перебрёхивающихся вдалеке собак. Звуки обмякали, отступая от окон вглубь садовой ватности, тонули в её мягком уютном теле. Жизнь сада, ограждённая от ненужного мира таинством сна, протекала сама по себе. Физически она обособилась замкнутыми воротами и калитками, равнодушная к блудливой улице, целующейся с собственной пылью. Безразличен ей становился в эту пору и дом, дремавший постариковски, некрепко.

Дом упирался черепичным боком в высокий сильный дуб, удобно примащи-

вался и уплывал в сны, ровные и длинные как река, которую он никогда не видел. Дому и саду хотелось спать долго, победно пересекая ночь в медленной лодке, плывущей против течения событий. Им было сладко булькать и дребезжать, наполняя мистическим храпом мрак и покой и верить в их бесконечность и абсолютную власть.

Сад и дом самозабвенно плели единый кокон двойного сна и мерно раскачивались в его путаном плотном кружеве посреди невнятного движения грёз.

Утро терзало солнечную тетрадь, разбрасывая зеркальные страницы по изумлённому такой расточительности, клочками отражённому, множащемуся в утренних небесных зеркалах саду. То тут, то там веселились ягодные и цветочные лоскуты, неразберихой и мешаниной рисунка разрастаясь и выплясывая.

Дневное время слепло от жары, шевелилось пересушенным до одервенения старушечьим соседским бельём. Веревочные натяжения резали, кромсали плоскость дня. К обеду белый день испепелялся и почти исчезал, рассыпался в дрожании жара; позже проявлялся снова сияющими раскалёнными листами, шумно шарахался на ветру, складывался вдвое, вчетверо, ввосьмеро... Вечер где-то рядом блудил и терялся, прятался долго, но нехотя всё же показывал лицо, поднимал золотистые глаза. Вечер осчастливливал своим появлением, нагло бередил, вносил томное беспокойство, ему навстречу распахивались ароматы и предчувствия. Закат пьяной киноварью расползался вдоль горизонта. Лучше бы он сразу свалился в наплывающий июльский вечер, но он ещё шатался, неустойчиво балансировал между явью и небытием, вот-вот готовый уронить грузное своё тело за линию дня, чтобы помрачиться долгим и тяжким сном до трезвого рассвета.

Так шли дни. Мне было интересно со Стариком и не напряжно. За завтраком или вечерним чаем он говорил немного и насыщенно, порой внезапно уходил в себя и нёс это своё отчуждение в кабинет, в мансарду, привычно и резво топая по ступенькам круто ввёрнутой в верхний этаж лестницы. Я чувствовала его заботу, внешне незаметную, но внятную. Я полюбила обеих кошек и пса, с аппетитом поглощала замысловатую, многотравную стряпню Старика и книги его обширной библиотеки. Я ничего не желала менять. Я вжилась, вживилась в эту жизнь, в этот дом, в этот сад.

В своей дальней глубине сад впадал в вольнодумство, терял ориентиры дозволенного и позволял засорять себя сплетению колких дебрей облепихи над черным, еле двигающимся ручьем, который мог отыскать только чёрный тибетский мастифф в надежде обрести выход из огражденных облепиховыми зарослями владений сада. Он прошуршивал низом, шевеля запущенные травы, погружал широкие лапы в гнилое дно ручья и брёл вдоль него вниз по еле заметному течению, наслаждаясь его вязкостью и тухловатой запашистостью.

Лето ластилось, льстило, ласкалось...

Лето млело, парилось, истекало соком переспевающих ягод, плавилось, плелось устало и остывало, наконец, под послеобеденным дождем, покрывая мурашками кожу оконных стёкол, к вечеру подрагивало желейно, красносмороденно, потом медленно засыпало. Лето липло, цеплялось и приставало, наглело жарой. Бесстыжие домогательства носили неоднозначный характер и в проявлениях своих, порой нежных и осторожных, порой коварных и неожиданных, – были изобретательны. Лето блудило: льнуло нежной дорожной пылью к ногам, проникая

между пальцами и пузырясь под шагами ничего не подозревающих, босых ног. Оно обволакивало тёплыми одеялами тумана и баюкало, утешало остывающими вечерами, перед тем как расчистить ночное небо от облаков и подглядеть за землёй множеством внимательных глаз из черноты, уже отраженной круглым зеркалом луны. Внезапно лето отворачивалось, пряталось в похолодании и ветре: изменяло.

Наконец, лето тяжело легло ливнями на город и его окрестности. Оно обрушивалось затяжными дождями, но, вопреки постоянству избыточной влаги, малина в зарослях крапивы уверенно созревала, пухла и наливалась. Крапива колосилась, тянулась выше малинника и подстерегала. Неутомимый вьюнок тянул змеиную свою работу, тесно связывал сочные стебли крапивы с облепленными ягодой прутьями, крепко путаясь замысловатым светло-зелёным кружевом, выстраивая непроходимые заграждения. Внизу кисли и желтели недостатком света размочаленные травы, цепляясь за мягкие кочечки разрыхлённой кротами почвы.

Солнце всё же внезапно прорывалось, являло себя полно и расточительно, палило, подсушивало: временно властвовало, судило пёстрые заслоны и щадило ягоды, даря им яркость и силу. Тогда я погружала ноги в высокие голенища кирзовых сапог Старика, вструивая в серые крокодильи жерла вместе с икрами раструбы брюк, и волокла тяжёлые мужские обутки за собой, в сторону пруда, по воде, всхлипывающей под густым и ярким травяным покровом. Лягушки весомо шмякались в мутноватую жижу пруда, рассеченную мельканием взрослеющих мальков и незрелых подростков карася. Бледные бабочки грели сероватую пыльцу крыльев, мечась и диктуя геометрический хаос налитой соком листве. Малина сопротивлялась сбору, часто ссыпалась мимо рук в темноту спутанности там, внизу, притворно таила желание, чтобы её собрали, засыпали сахаром и кипятили на огне, потом спрятали в банках под крышками, продлевая ей жизнь до зимы, простуд и повышенной температуры. Ягоды размазывались сияющим соком по пальцам, липли к ногтям, истекали к запястьям, не умея ловко падать в корзинку, подвешенную на мою шею безобидной петлей шершавой веревки. Они сияли и проливались совсем кислой кровью невероятной яркости, картинно укладываясь в корзинку. Смывалась малинная краска легко, неудачно мимикрируя меняла свой цвет на фиолетовый, чернильными каплями цепляясь за белый фаянс раковины. Руки ещё долго хранили крапивное пощипывание, но запах малины под толстыми слоем сахара, оставленной в медном тазу пускать сок до следующего утра, компенсировал все неудобства. Следующим днем кипящий таз зацветал неприличной, подвижной розой сладчайшей пенки, расточающей томные горячие ароматы, которую следовало снимать, трепетно щадя возникновение новых пенящихся ранок в бесстыдно булькающей малиновой субстанции.

Казалось, с малинных россыпей и варенья прошло неслыханно долгое время, вместившее в себя стремительное сверкание утр и вечеров. И вот уже местную молодую картошку на рынке сменили персики и нектарины, сочащиеся избыточной роскошной влагой, вот уже запузырился виноград по прилавкам и скисли сливы в садах, вот уже обломилась перегруженная урожаем крупная ветка старой яблони под окном Старика, вот разбухли огурцы, загорчили ярче флоксы и обрели цвет рябины, но всё ещё жарки ночи! Всё ещё длится, тайной каретой, запряжённой спрятанным моим, утаённым счастьем, – движется по августу лето!

Несмотря на всё, происшедшее в июне, и благодаря нутряному, глубинному

спокойствию, – мудростью моего покровителя, который умело и неназойливо подталкивал меня к решению насущных задач, к середине лета я подтянула все хвосты в универе, сдала экзамены и благополучно передвинулась на следующий курс своей, с детства вымечтанной биологии. В августе у меня было уже довольно времени и на героические, но безуспешные попытки навести в доме общепринятый, человеческий порядок, на копошение в саду рядом с осуществляющим пересадку цветов Стариком, и на жадное поглощение ряда значительных и бесконечных в своем множестве книг, заполнявших дом.

То ли неординарная атмосфера нынешнего бытия, то ли образные ряды сновиденной литературы, то ли моя личная видоизменённость, которую я ощущала теперь как норму, осознавая в то же время, сколь далека я ныне от привычного, отдалили меня от однокурсников, бывших школьных подруг и приятелей.

Во мне бредили смутные ожидания, неопределимые в своей антиплотности ощущения, невнятные тени чувств. Я не обсуждала этого со Стариком, не умея артикулировать новые отношения с миром, идентифицировать влечения, даже сравнить с чем-либо знаемым.

– Завтра выгоню из гаража машину, надо же хоть иногда садиться за руль, к старому другу, художнику, наведаться пора. Хотите со мной, сударыня, здесь не далеко, километров пятнадцать. У него хутор. Места – волшебные. Можно грибов пособирать. Он звонил сегодня. В который раз зовёт. Говорит, белые уже пошли. И художник он настоящий.

Возвращались затемно. В багажнике покачивались корзины, полные длинноногих бежевых красавцев подберёзовиков – только жарь! Перед моими, то и дело смежающимися глазами мельтешили, ликовали, закручивались в подвижные спирали потоки красок с картин мастера. Старик сосредоточенно вёл машину по мокрой трассе. Дождь кратко усилился и прекратился.

- Не стоит сейчас засыпать. Понаблюдайте, какая магия.

Перед лобовым стеклом мелькнуло, просияло светлое движение, почти неуловимое глазу. Через время явилось вновь, но многократно усиленное и повторенное. Вспенилось, порвалось, размельчилось вдоль моего окна. Собралось, загустело, вновь разошлось в стороны. Туман мягким бесформенным телом забарахтался над трассой, расширился, обволакивая собой пространство над низинами, оврагами, наполненными невидимыми в темноте травами и цветами. Туман прижался влажным пузом к земле и её цветам, приник теснее, обхватил, мерно и нежно двинулся по ней. Молоко помутнело, набухло и уплотнилось. Дымной завесой скрыв таинство, повременив и остывая, ласковый насильник удовлетворенно отплыл, растворил свою осязаемость в прозрачном воздухе. Его какое-то время нет. Фары озаряют блестящую черноту трассы. Всё видно. Кажется, автомобиль покинул белый омут. Но беспокойные перья вновь промелькивают перед лобовым стеклом, всё увеличиваясь и сгущаясь, клубы ускоренно роятся и наконец, масса окончательно формируется вкруг машины, движущейся теперь внутри живого и, кажется, агрессивного облака, не пробиваемого дальним светом. Ближний хоть как-то обеспечивает возможность двигаться на ориентир встречных фар.

...Свет раннего утра холодным серебром сочился сквозь щели между шторами, стараясь заполучить пространство комнаты. Когда шторы одна за другой отдёргиваются, серебро светлеет и поспешно завладевает всем объёмом, однобоко

освещая предметы несозревшим сиянием недавно рождённого пасмурного дня.

Туман уже заполнил сад до краев, занял собой, усевшись в каждую прорезь меж травами и ветвями, полностью погрузив даже самые высокие деревья в свои тяжёлые мутные пары. Он вплотную подошёл к дому и остановился у моих окон. Он не смотрел на меня, застывшую за стеклом, не пытался шевельнуться. Он замер на время. Не шевелилась и я. Когда я почувствовала, что он готов двинуться вдоль стены дальше, мимо, мимо меня, мимо того, что должно было произойти, я почувствовала резкий прилив страха. Холодно оборвалось и упало прозрачное нечто от горла к животу, обожгло ледяно: не случится! Я рванула ручку рамы, распахиваясь, освобождая ему путь. Отступила на шаг вглубь гостиной.

Туман двинулся в проём. Это не было его решением или желанием. Он просто не мог не двигаться в открытое. Он не торопился и не медлил. Темп его течения был ровен и несуетлив. Он вплывал, постепенно и неуклонно завладевая моим жилищем, и выгнать или хотя бы остановить его было теперь невозможно. Я не сопротивлялась, я хотела, чтобы он занял мой форт, укрепил позиции и принялся за меня. Я сдалась ему с чувством безмерного страха и необходимости.

Я должна. Я хочу.

Туман затянул густой пеленой картины на стенах: вот погрузился в блеклую муть бакстовский эскиз, вот скрылась сдержанная улыбка женского портрета кого-то из филоновских учеников... С бледным безразличием он разливался и плыл, постепенно сокращая свободное пространство вкруг меня.

Я прочувствовала, как он проник в мою кожу, во всю сразу, спешно и неуклонно, не оставляя мне поля для самоопределения или иного личностного чувствования. Он овладел каждой моей клеткой, молекулой и пространством между ними, моими глубинными, утаёнными от меня самой помыслами. В краткий миг он заполучил все мои объёмы, материальные и эфемерные. Меня не стало, он стал мной. Блаженное небытие, растворение, высшие вибрации, звон блистающей пустоты, запредельный восторг расторжения всех связей и начал!..

Туман ушёл. Душно, мрачно подбиралась гроза, скупая на воздух, хоть и ветреная. Ветру тоже не хватало дыханья, он пылил и пыхтел, неопрятно заигрывая с лопухами. Огромные листья перезрелого растения за левым окном неуклюже, бесстыже шевелились навстречу, но ветер бессильно ложился в песок, лишь чуть двинувшийся под его никчёмным вздохом.



Карине АСЕНОВА

ВЕРТОЛЁТЧИК

Памяти Сергея

Предыстория

Мы познакомились с Ним незадолго до того, как его не стало. Обычный мужчина, с обычной судьбой человека, которому чуть за пятьдесят – тогда ему исполнилось, кажется, ровно – с завидной репутацией холостяка с квартирой. Улыбчивый и все понимающий, предпочитающий женскую кампанию, с удовольствием слушающий женский гомон и малоговорящий. Про таких говорят – «дамский угодник». Её девчачья компания могла почти не замечать его, откровенно позировать перед камерой, зная, что любование и восторг, что бы ни получилось, обеспечен. Он всегда, что называется «при деле» – то кран починит, то коврик поправит, то совет даст к месту – нужный такой совет, из жизни.

Скромняга и друг, которому многое доверялось, оказался человеком, за плечами которого было немало.

В свои пятьдесят, он уже почти двадцать лет был Героем афганской войны, механиком боевой единицы вертолета, который не раз участвовал в тяжелых боевых операциях. Удалью и особым геройством, граничащим с безрассудством, не отличался. Потому и выжил. А еще потому, что знал, что ждут его дома. Удалось ему туда попасть дважды по почти понятной причине – военный-контрактник. Надо было как-то кормить свою семью в далеком городе в Ставропольском крае, который славился лишь своей знаменитой сгущенкой, потом строить дом, потом просто выживать в 90-ые. Для него, офицера-вертолетчика это были непростые годы постоянной нудной работы, которая сводилась к рыночным угрюмым будням многих – купил-продал.

Но все осталось в том почти ненавистном городе вместе со стареющей женой и повзрослевшими, но так и не ставшими близкими и родными детьми. Его туда почти не тянуло, а здесь, в родном Калининграде, прошло детство и юность, сам воздух был насыщен романтикой и обещаниями, или ожиданиями чего-то необыкновенного. И она, романтика, пришла к Нему.

Дама сердца

Энергичная и знающая себе цену «Дама Сердца», конечно ж, была замужней женщиной, хозяйкой большого гостеприимного дома и всё понимающими домочадцами. Ее умение «держать спинку» и паузу в нужных моментах, говорило о принадлежности к бизнес-элите в своем кругу, где надо быть всегда на высоте. Её точёная фигурка, отшлифованная в упорных занятиях йогой и упражнениями с шестом в модном салоне, всегда останавливала восхищенные взгляды не только мужчин. На море, среди отдыхающей праздной публики, она выделалась долгими пробежками и акробатическими па.

В череде ее будней, переговоров и встреч он давно уже исполнял роль друга семьи и нештатного охранника, который, держась немного в стороне, не сводил пристального взгляда с той, для которой он мог сделать всё. И даже больше. А когда они оставались одни и он привычно поздно вез её домой, то ждал этой многообещающей ласки – пожатия тонкой руки в холодной лайковой перчатке, когда пальцы слегка сжимают твою руку на руле. И он замирал, почти теряя дар речи. Так иногда часами сидя у порога, ждет своей ласки собака, неотступно следящая за привычным жестом хозяйской руки, доверчиво и с полной покорностью подставляющая свою голову для поглаживания.

Много работающая и мало отдыхающая, «везущая на себе всю семью», Она ждала воскресений, чтобы отдаться своей страсти – нет, не к Нему, но к танцам и дискотекам. Почти девчонка-подросток, не по годам в коротких юбчонках и огромной жаждой «не упустить» ничего, она весело и непринужденно допоздна кружилась в танце.

Природа

Помнится, в наш первый день знакомства Он не произвел на меня почти никакого впечатления, разве что своей щепетильной аккуратностью в том, как он был одет, а главное, как тщательно и по-особому завязывал двойной бантик шнурками кроссовок – такой вот был у него особенный шик. И только тогда, когда мы оказались в непростых походных условиях в течение семи дней, мы оценили его. Машина, на первый взгляд, мало – привлекательная для тех, кто привык оценивать иные достоинства, легендарный Volksvagen T2, «домнаколесах», был оборудован хозяином в таких тонкостях походной и повседневной жизни, что легче было бы назвать, чего в ней не было. Это и подъемная кровать с самонагревающимся матрасом, раздвижные столы и стулья, сейф для хранения оружия и других «НЗ», ключ от которого имел только сам хозяин. Но более всего нас поражало то, с какой заботой доставал из-под сиденья домашние тапочки и прикроватный коврик. Он мог создать в глуши Балтийского побережья уют и комфорт, долго и с удовольствием, растягивая на только что срубленных слегах гамак, в котором так любила засыпать Она, оставаясь в тиши и убаюкиваясь волнами моря.

Мечта

Мало кто из нас может сказать, что во второй половине жизни сохранил в себе какие-либо неосуществленные мечты, которые или свершились или просто исчезли в череде будней. Впервые Он обратил на себя внимание тем, что мог пронзительно чего-то желать. В свои пятьдесят он мечтал иметь такую машину, которая была бы последним словом техники и обязательно пригодной для долгих путешествий по Европе. Долгими часами в интернете он искал модель с полным приводом, с особым устройством фар, с откидными сидениями и еще массой необходимых для него и ее условий отдыха. Ведь она так много работает и фактически содержит и большой дом, и большую семью. Она должна отдыхать. Ради этой цели была продана квартира родителей, и, несмотря, на уговоры друзей-риелторов и просто обладающих здравым смыслом людей о покупке «квартирки» хотя бы «однушки», которые горячо обсуждали эту тему,он приводил много доводов, говоря, что остаток жизни он хочет путешествовать, что

квартира ни к чему, если можно быть все время в дороге. Благо, теперь для этого появились и деньги.

Он купил самую последнюю модель, в которой успел проехать чуть больше ста километров по городу.

Новый год

Есть такая зона турбулентности, попадая в которую вертолет становится неуправляем и лопасти, разбиваясь о машину, кромсают ее искорёженное тело, сокрушая и дробя железную броню. Его жизнь оказалась именно в такой зоне. Наступил високосный год - последний в его жизни. Хотя никто не знал, что он будет для него последним. Всё то же веселье и щедрость праздничного стола, юмор поздравлений и мишура подарков, в суете которых никто, кажется, и не заметил сгорбленной позы полулежащего на диване. Просто усталость, просто слегка мутит от съеденного чего-то.

На завтра все как обычно отправились к берегу моря в заранее снятые на выходные номера, подышать, побегать и обновить Его фотоаппарат, который был куплен специально к празднику – Её подарок, страшно дорогой и с наворотами, как он любил.

Полупустые коридоры Дома отдыха, доступность всех процедур и приемных, массажных, бассейна. Да, и вот еще одна услуга – можно за полцены пройти УЗИ внутренних органов, так врач сказал, увидев большую и состоятельную компанию. Конечно, в полутемной комнате с зашторенным окном, были видны только замысловатые очертания на тусклом экране. Никто и не заметил смятения врача, который только что осмотрел, как казалось, с особым пристрастием и тщательностью Его. И, тихо, отведя в сторону ее мужа, вынес приговор – рак, кажется, уже в последней стадии, срочно на обследование и лечение.

Потом все как-то закрутилось – врачи, комиссии, доказательства льгот участника Афганской войны, билеты на поезд в Обнинский центр онкологии. Ее удивительные связи и способность открыть любую дверь, доказать, убедить, обольстить и потребовать оказались и здесь кстати – в неделю были собраны и деньги и документы.

К концу недели всё было готово к отъезду, И Он пришел к нам домой вроде по делу, проститься. Его как всегда ухоженный вид никак не выдавал смертельно больного, та же улыбчивость ну и чуть большая, чем обычно, разговорчивость, как бы желание опередить и самому задать тему, чтобы напоследок оставить неприятные вопросы об отъезде. Он всем говорил одну и ту же фразу из военного лексикона «Я солдат, нас учили не бояться смерти, я приму ее когда судьбе будет угодно и в любом виде». Рассказал, как покупал билет на поезд, в котором как всегда не оказалось нижних полок, и тогда ему пришлось показать и удостоверение афганца, и направление на лечение, да и теперь, уже в качестве сопровождающего, его друг тоже имел, как оказалось, инвалидность.

Обнинск

Сначала мы переписывались с Ним каждый день, уверяя друг друга в необходимости всё стойко вынести. Ему предложили поучаствовать в американской программе лечения онкологии, где применение препаратов на взрослых должно

было помочь науке и не столько вылечить, сколько позволить протестировать эту программу. Его застраховали на большую сумму в случае, если препараты окажут губительное воздействие на организм. Стадия его состояния позволяла надеяться на лучшее. Фото и видео из больницы, друзья, родственники. Только почему-то Он резко перестал общаться именно с Ней. Выбросив телефон, поменяв сим-карту, и настоятельно всем запретил приезжать. Подробности стремительного разрыва мы так и не узнали.

Свадьба

Почему Она решила устроить пышные празднества по случаю 25-летия супружеской жизни и тем самым объявить всем о возвращении в лоно семьи, осталось для многих загадкой. Все тот же белый костюм Жениха и новое платье Невесты, свадебная фата из чемодана, трогательные признания и речи подружек. И только в конце стола, куда взгляд ее почти не проникал, сидел Он, как всегда с фотоаппаратом, чтобы уловить и запечатлеть ее грацию и улыбку, ее так знакомый прогиб спины в танце, ее стройную на высоком каблучке ногу, ловко подброшенную в па. Его впалые глаза уже почти не реагировали на свет, и взгляд был обращен уже больше в себя, как будто он прислушивается к чему-то. Через несколько дней ему стало резко хуже, он умер, держа в руках другую руку, и в бреду почти никого уже не узнавал.

Похороны

Когда мы зашли в зал прощания, церемония уже началась. Она стояла рядом у изголовья с большим букетом алых роз. Узкая юбочка очерчивала, как казалось, нарочитую стройность и подтянутость, пышная специально уложенная прическа была покрыта черной вуалью, которая скрывала мимику лица и слезы. В этой стороне стояли и друзья, и малознакомые ему люди, которых она пригласила попрощаться. С другой стороны гроба почти незаметно для входящих сидели родственники, которые прилетели только утром. Его жена и дети, брат и сестра казались вроде как не очень к месту среди этой пышной церемонии прощания. Их боль утраты почти не была слышна в залпах прощального салюта почетного караула, в крике ворон, которые в испуге залпа кинулись в стороны от насиженных кладбищенских мест. И только когда гроб почти опустили в могилу, кто-то обессилено обмяк на холм земли, уже не чувствуя под собой ног от горя расставания с любимым. «Жена» - пронеслось в рядах. Только теперь можно было разглядеть ту, которая недосыпала и ждала долгими вечерами Своего Вертолетчика. Придя в себя, она тяжело оперлась на руку сына, и все твердила, что «двадцать пять лет вместе тоже срок».

Некоторые мистические совпадения

Не убий. Не укради. Не возжелай.

К сожалению, наше поколение выросло в эпоху Безбожия, когда законы, прописанные в Заповедях, не являлись БЕЗУСЛОВНЫМИ запретами. Его роль «друга семьи» была определена самим Главой этой семьи, который в то время страдал тем же диагнозом – рак лимфы. Проходя длительное обследование и тяжелое лечение, именно он предложил супруге «не рушить семью» и решить интимные вопросы,

что называется, не выходя из дома. Так появился в этом доме и наш герой. И все закрутилось как нельзя кстати – у мужа и жены и до того были свои приоритеты в выборе зон отдыха, у него – рыбалка, у нее – танцы. А тут еще и интересы нового члена семьи, в качестве исстрадавшегося по женскому обществу в долгих военных походах друга, были как нельзя кстати. И женская компания подруг приняла его ... В то памятное морозное утро Нового високосного года, обследование было затеяно Ей, конечно же, ради мужа, чтобы деликатно выяснить о здоровье мужа – и – о, чудо! – он оказался совершенно здоров.

Как знать – открой Он тогда не ту дверь, останься с семьей, не мечтая о более романтической жизни, Он был бы жив и сейчас. За все приходится платить.

Эпилог

Мы по-прежнему бываем в этом доме и проводим праздники и некоторые выходные в этой же кампании, где вроде никто уже и не вспоминает Вертолетчика. Лишь только его старая машина – Дом на колесах – стоит во дворе дома, перемигиваясь загадочным красным светом со звездой, что в созвездии Андромеды (и здесь он оказался в женской компании), и все ждет, когда уверенная рука пилота вставит ключ в гнездо зажигания.



Clandestinus

После несколько раз перечитанной книги Римантаса Черняускаса «Густасы» у меня возникло справедливое подозрение: все ли истории о жителях Гембине автор включил в сборник? Неужели он ничего не скрыл от читателей? Мои подозрения оправдались: я нашёл в оригинале ещё несколько историй о Густасах, по каким-то причинам не попавшим на страницы книги. Подозреваю, что Римантас либо забыл о них, либо умышленно предпочёл умолчать об их существовании. Я, как переводчик его историй на русский язык, желаю исправить это недоразумение и всю ответственность за дальнейшее принимаю на себя; к тому же полный архив «Густасов» в оригинале имеется в моём рабочем столе. Итак,

ГУСТАС, КОТОРЫЙ РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ИМЯ,

был весьма заметным мужчиной городка – высокого роста, широкоплечий красавец, он всегда одевался по моде. Неженатый, несмотря на свои сорок два года, поэтому многим женщинам Гембине его чёрные очи не давали спокойно спать по ночам. Он знал об этом, однако мысль о том, что ему чего-то не хватает до полного совершенства, ни на миг не покидала его.

– И чего он с жиру бесится? – судачили меж собой Густасы. – Бог наделил его здоровьем, ростом, дал косую сажень в плечах, лицо штандартенфюрера из «Семнадцати мгновений весны», а тому всё мало! Мог бы жениться на какой-нибудь начальнице из столицы, а он с ума сходит!

Однажды, вскочив с постели ночью, Густас внезапно осознал, чего ему так не хватает – приличного имени. И с того дня заболел он серьёзной болезнью – ежедневно стал менять имена и просил горожан, чтобы они обращались к нему каждый день по-новому, покуда он на каком-нибудь из имён не остановится. Густасы смотрели на него, как на врага народа, но тому всё было нипочём.

- Сегодня я буду Густасом-Карлом, сообщал он первому ему попавшемуся на улице Густасу-мыслителю.
 - Как Маркс?
 - Как император Карл Великий, король франков!
 - Смени имя! Тебя не поймут, глубокомысленно посоветовал ему собеседник. Тот понял свою ошибку. И стал Густасом-Александром.

Его высмеяли – никому и в голову не пришло, что он взял имя в честь Александра Македонского. Все посчитали его дальним родственником изверга Борджиа. Горожане умирали со смеху, а Густас, который решил поменять имя, страдал. Даже вдова грустного Густаса была не в состоянии его утешить.

Подобным же провалом заканчивались все его попытки стать тёзкой кого-нибудь из великих; он пытался быть Густасом-Миндаугасом, Густасом-Сигизмундом,

Густасом-Хосе-Мигуэлем и даже Густасом-Михаилом. И совсем уж боком вышло ему желание назваться Густасом-Адольфом: население Гембине, никогда не слыхавшее о благородном саксонском святом из седьмого века от Рождества Христова, собралось перед домом новоявленного фюрера с целью подпортить тому внешность. Всё было насмарку – Густасы не воспринимали его. Тогда он стал Густасом-Августом.

- Это уже лучше, сказал ему Густас Черняускас. Ты ищешь в верном направлении.
 - Я просто хочу быть лучшим из Густасов, вздыхал бедняга.
- У тебя получается. Раньше ты был просто Густасом, а теперь августейший, а может, и наиавгустейший Густас!

Густас, который решил поменять имя, несколько успокоился. После недельной свистопляски он почувствовал себя до невозможного уставшим. Дома он выспался, но утром за ним пришли двое человек в штатском и сунули в породистое лицо несостоявшегося штандартенфюрера свои удостоверения служителей Бюро Похоронных услуг.

- Собирайся!

В скором времени Густас предстал перед начальником упомянутой структуры. Тот нервно барабанил пальцами по столу и смотрел на приведённого в кабинет взглядом питона, гипнотизирующего свою жертву.

- Что за балаган ты устроил, скотина? любезно произнёс начальник. Чего будоражишь население? Ты, что особенный Густас, и законы пишутся не для тебя?
 - Да ведь я хотел только имя,.. начал было Густас.
- Какое, к чёрту, имя! взорвался начальник. Под именем Густаса ты уже внесён в списки Бюро и умрёшь ты Густасом! Что за самоуправство менять имя, не проинформировав об этом работников Бюро! Нам, что ежедневно заводить на тебя новое похоронное дело? Отвечай, паршивец!
 - Я уже нашёл себе имя... пробубнил Густас под нос.

Начальник раскрыл большую книгу на столе и взял авторучку:

– Ну, и как же тебя записать, уголовник? И помни: ещё одна попытка сменить имя...

Густас был настолько перепуган, что даже позабыл имя легендарного римского императора. Вместо этого он чуть слышно прошептал:

- Гус-тас...
- То-то же! погрозил ему пальцем начальник и захлопнул объёмистый гроссбух. А теперь пшёл вон отсюда!!!

Густас вышел на улицу и радостно вдохнул воздух свободы... Ну и пусть – Густас! Бог с ним, с именем – не мы его выбираем, оно нам даётся... Стоило ему осознать этот простой факт, как болезнь покинула его.

PS

Говорят, после этого Густас уехал из Гембине. Говорят, что осел он в столице и женился на какой-то начальнице. Также поговаривают, что Густас Черняускас до сих пор водит с ним дружбу.



Алексей ПОПОВ

ДЬЯВОЛ И МИСС СТЭНДСТОУН

Сценка из колониальной жизни

Долгий летний день клонился к концу. Солнце приближалось к горизонту, ещё немного – и наступит непроглядная южная тьма. Мисс Кэтрин Стэндстоун в этот час сидела в старинном кресле, в котором недавно полюбила проводить вечера. Его высокая спинка давала ощущение надежности, которое неожиданно стало требоваться в последние пару недель.

– Мадам, к вам посетитель! – тоненько пискнула горничная, и отступила обратно в проём двери, из которого только что высунула свой носик, дабы сообщить ей это известие.

Горничная была молоденькая, из филиппинок, которые были нынче на рынке труда весьма дешевы, но приходилось мириться за это с отсутствием верно привитых манер и тяготением её к французскому обращению – вот уже три месяца эта девица находилась тут в услужении, но никак не могла научиться обращаться к госпоже «мисс». Мисс Кэтрин Стэндстоун встала из своего кресла, и шагнула навстречу незнакомцу, который в этот момент перешагнул порог её комнаты.

Тот был высок, смугл – возможно, просто от загара. Лицо его обрамляла тонкая тёмная бородка, над которой выступал тонкий нос с горбинкой – несколько длинный, но вполне строгих очертаний. Губы его были тонкими, но не казались при этом злыми, щёки – слегка запавшими, хотя незнакомец вовсе не выглядел измождённым. Глаза – чуть навыкате – смотрели спокойно и немного иронично. В первый момент мисс Стэндстоун показалось, что они голубого цвета, но спустя секунду, скользнув взглядом по фигуре визитера и вновь посмотрев в лицо ему, она заметила, что те скорее карие. Эта несуразность привлекла её внимание, и женщина несколько секунд вглядывалась в лицо, прежде чем поняла, что постоянно по какой-то причине бросает короткие взгляды в сторону, и потому не может сосредоточиться на разглядывании его, черты же, хотя по отдельности и кажутся неизменными, всякий раз образуют нечто неуловимо иное, и отведя наконец взор, она поймала себя на том, что не может с уверенностью восстановить портрет странного гостя в памяти.

Странное чувство тревоги охватило её вдруг, и было оно вызвано вовсе не изменчивостью облика посетителя – нет, это мозг её отметил лишь как странность, возможно имеющую вполне прагматическое объяснение и применение. Но с его появлением в комнате что-то изменилось – на какой-то миг сложнее стало дышать, как бывает в сильную жару, когда из воздуха уходит кислород, но в то же время жарко не было, напротив – словно легкий холод проскользнул вслед за незнакомцем в прикрывающиеся створки высоких дверей комнаты.

Пауза, возникшая при появлении гостя на пороге, стала уже достаточно заметной, и грозила перерасти вскоре в неловкое молчание. Но мисс Стэндстоун потребовалось сделать над собою значительное усилие, чтобы обратиться к незнакомцу – это простое действие вызвало у неё затруднение, потому как горло словно перехватило, и пришлось сперва сглотнуть, затем звонко кашлянуть на неожиданно высокой ноте, и только после этого удалось выдавить несколько слов, давшихся опять же с трудом.

- Не уверена, что припоминаю ваше лицо. Какое дело привело вас ко мне? спросила она наконец.
- Я лишь пришел поставить вас в известность относительно исполнения договора, заключённого между нами, мягко улыбнулся тот в ответ.
- Договора? не поняла его мисс Стэндстоун, и принялась лихорадочно перебирать в памяти лица всех, с которыми могла бы она иметь подобные отношения. Простите, но я не могу припомнить, в чем его суть и когда мы виделись с вами... слова всё ещё давались ей с трудом, но странное ощущение в горле тем не менее отпускало.

Женщина подняла руку, и провела пальцами по шее, думая о том, что следует всё-таки ограничить доступ в дом. Она не полагала, что сюда придёт вдруг посторонний человек, а потому и не давала на сей счет никаких распоряжений. Но если уж такое произошло – то следует избегать повторения истории.

- О, это давний договор, рассмеялся гость неожиданно легко и незлобиво, и тревожное предчувствие немного отпустило сердце женщины. Мы с вами заключили его, когда вы были молоды, и лично я не присутствовал при его заключении, поскольку происходило оно на основании публичной оферты.
 - Публичной,.. замялась мисс Стэндстоун.
- Ну да, легко подхватил незнакомец. Вам было тогда семнадцать, возраст, отмечу, вполне дееспособный, и вы гостили у тетушки Джулианы в Глостере. Часто гуляли по саду, любили сидеть в беседке во время грозы... и очень переживали, что жизнь ваша может пройти вовсе не так, как вам хотелось бы.
- Возможно, негромко ответила она, прищурясь, и пытаясь все-таки ухватить взглядом лицо визитера целиком. Но что с того, как я проводила молодость, и какое отношение это может иметь к вашему договору?
- К нашему договору, мягко поправил ее гость. Непосредственное, потому как именно тогда мы его и заключили. Это было в конце мая, на скамейке беседки, стоявшей в том самом саду, он говорил с небольшими паузами, словно пытаясь припомнить детали, но в то же время паузы были нарочиты, и становилось понятно, что он скорее предлагает присоединиться к некой, затеянной им игре, вместе с ним включиться в это припоминание, во время грозы, когда вы особенно остро ощутили вдруг желание не упустить из своих рук власть над судьбой.
- В конце мая? рассеяно и как-то механически переспросила его женщина. Но, извините, это было почти полвека назад. Вам же, на мой взгляд, от силы лет тридцать пять. И я не могу представить себе, как бы могла сговориться с вами о чем-либо до момента вашего появления на свет.
- O! рассмеялся незнакомец. Вы не сговаривались ни с кем. Вы просто объявили, громко и отчетливо, свое желание и свои условия для его выполнения. «Ах, если был бы в этом мире дьявол, и если бы скупал он души, то я легко отдала бы

ему свою, лишь бы прожить эту жизнь так, как я того захочу и увидеть исполнение моих желаний!» Ведь именно так и было? – улыбнулся он неожиданно мягко и даже слегка сочувственно. – Поверьте, за точность формулировки ручаюсь. Я же говорю – это была стандартная публичная оферта. А нам уже три сотни лет как позволено принимать их к исполнению. Что же касается возраста... – по лицу его вдруг рассыпалась сетка морщин, волосы удлинились и побелели, бороду словно присыпало мукою, а сам посетитель стал немного ниже и полнее, слегка скосившись при этом на один бок, - равно как и дня моего появления на свет, то сомнения на этот счет вы можете отбросить.

- Так вы хотите сказать, что являетесь самим дьяволом? Сатаной? Люцифером? нервно рассмеялась мисс Стэндстоун, и принялась теребить край воротника своими длинными пальцами. Действие это, совершенно невротическое по природе, вовсе не вязалось с напускной бравадой, которую она вдруг решила продемонстрировать. Ну что же. Я даже польщена.
- Пустое, мисс, гость сделал неопределенное движение ладонью, словно отметая что-то из сказанного ею. Сатана и Люцифер вовсе не одно и то же, и полагаю, что любая попытка спутать их вовсе не прибавит вам популярности.
- Даже так? чисто механически переспросила она его, используя эти слова как ширму, за которой могла взять небольшую паузу для того, чтобы спешно обдумать свалившееся на нее известие и выстроить хоть какую-то линию защиты. За последние пару десятков лет она преуспела в выстраивании защит, и не сомневалась, что сможет найти какой-то выход даже из этой непростой ситуации. Но ведь ни одно из желаний моих так и не было исполнено, возмутилась наконец женщина, скрещивая руки на груди. Линия защиты, которую она увидела, была не столь уж трудна, если удастся выдержать ее до конца.
- Ну что вы, как можно, укоризненно покачал головою гость. Давайте проверим вместе... можете ли вы припомнить то, чего вы желали, но не получили?
 - Да легко! рассмеялась она. Возьмем, к примеру, любовь...
- А что любовь? удивленно вздёрнул бровь визитер. Вспомните хотя бы поручика Д.!
- Этот? поморщилась Кэтрин. Неудачник, отказавшийся от борьбы за меня и окончивший дни свои в безвестной глуши?
- Ну... я бы, пожалуй, указал вам на некоторую неточность формулировок... «неудачник» не вполне верное определение для человека, который до встречи с вами вполне преуспевал во всех видах своей деятельности. «Отказ от борьбы», смею вас заверить, тоже ошибочное определение. Вы же сами потребовали, чтобы он более не приближался к вам... так чего можно было ещё ожидать? Позволю себе напомнить точную вашу формулировку, принятую нашими специалистами к исполнению: «Ах, как хотела бы я, чтобы нашлась хоть одна живая душа, способная полюбить меня безоглядно и навсегда! И пусть человек этот ставит везде мои интересы превыше своих, и любой мой каприз ценит выше, чем самую важную свою нужду!» ну, немного патетично на мой взгляд, но тут скорее не ваша вина, а всего лишь влияние колледжа, в который определила вас в далеком детстве матушка... итак, продолжу: «Пусть это будет действительно возвышенная и благородная душа, способная к самому искреннему переживанию и сочувствию, и пусть человек этот будет любить меня так, чтобы любовь его ни в коей мере не причинила

мне неудобств»... Тут, поверьте, совпадение было совершенным. Даже наши специалисты, проверяющие точность исполнения договора – ну, знаете, внутренние ревизии и всё такое – были поражены, когда знакомились с вашим делом. Могу заверить вас, и спустя двадцать лет, умирая от белой горячки, он не переставал повторять с надеждой ваше имя... правда, никто из персонала той богадельни, в стенах которой это происходило, понятия не имел, что оно означает для бедняги.

- Но я не была с ним счастлива!
- Ax, бросьте... не вы ли говорили о том странном и небывалом чувстве, что охватывает вас в его присутствии?
 - Я плохо помню это...
- Ну, не беда... главное что у нас все отмечено. И быть с ним вы просто не рискнули, решив, что это будет для вас слишком серьезным и обременительным шагом, тогда как немного пострадав от этой потери вы сохраните свободу воли и действий на всю оставшуюся жизнь. Хотели? неожиданно нахмурил он брови.
 - Да, негромко выдохнула она.
- Сохранили? резко спросил он, и тут же махнул рукою, показывая, что ему вовсе не нужен озвученный ответ.
- Но ведь не будете же вы утверждать, что этот человек был лучше советника Т.! возмутилась дама.
- Ах, советник... поморщился визитер, оставьте! Этот лицемер и негодяй восемь раз пытался предложить свою душу нашему ведомству. Пришлось отправлять в конце концов к нему представителя во плоти, объяснять, что мы не приобретаем товар, предназначенный на утилизацию. И подумайте только он в тот же день отправился к местному падре, чтобы предложить тому выкупить его душу у темных сил... дескать, это поможет поднять авторитет церкви.
 - Ну, хорошо... но я ведь была так молода...
- Ну, что ж поделать. Мы не можем нести ответственность за преждевременную поставку товара или предоставление услуги, если срок не был оговорен в договоре. Поймите: мы ведь не пытаемся оспаривать условия, на которых работаем. Это среди людей подобное возможно, а мы обязаны полностью идти навстречу клиенту. Таково главное условие, на котором мы можем продлять свою лицензию на работу. Понимаете, у нас тоже свои ограничения...
- Это какие? растерянно пробормотала мисс Стэндстоун, пытаясь унять дрожь в руках.
- Ну, главное из них, как я уже говорил предоставление услуг на условиях клиента. Мы даже не можем предлагать обслуживания. Имеем право работать только для тех, кто обратился к нам самостоятельно и добровольно. Да и для них можем делать лишь то, что они сами попросят. Скажет человек, чего он желает и как мы выполняем. Конечно, многие ленятся формулировать запросы точно, и нашим специалистам приходится ломать голову над тем, как исполнить их заказы наиболее быстро и экономно мы ведь тоже корпорация в своем роде, и не можем нести излишние накладные расходы. Но могу вас заверить к нашим специалистам претензий нет вот уже 263 года. По крайней мере со стороны проверяющих органов.
- Но я ведь хотела и богатства... пусть не все время, но хотя бы иногда иметь то, что я хочу...

– А разве не было у вас периодов, когда вам казалось, что средств, имеющихся у вас, вполне достаточно?

- Ну, я же не совсем этого хотела! Я хотела бы того, чтобы мне хватало денег на любые прихоти, а не того, чтобы мои желания оказались столь скудны в какой-то момент, что мне покажется, будто имеющихся средств вполне достаточно...
- И это говорит человек с юридическим образованием, вздохнул гость, и поморщился. Как горько слышать такое. «Иметь все, что хочу» может ли быть более точная формулировка? И разве где-то оговаривалось, что вторая сторона несет ответственность за недостаток у вас желаний?
- Но я ведь хотела так многого... И вовсе не того, что получила, если даже верить вашим словам. Я хотела получить известность... хотела, чтобы обо мне знали люди! Неужели вы хотите сказать, что та серия дурацких скандальных статей двадцать лет назад это и было исполнение моего желания?
- А разве не так? Ведь люди о вас узнали... поверьте, сотруднику отдела воплощения пришлось изрядно поработать, чтобы найти, как вообще привлечь к вам внимание.
- Но я хотела, чтобы писали о моих лучших чертах... об уме, обаянии, наконец... ведь сколько людей признавали их у меня!
- А разве в одном из самых удачных, кстати, на мой взгляд репортажей, вас не назвали «очаровательной бестией с дьявольски изощренным мозгом»? Или вы желаете намекнуть мне, что подобное сравнение с одним из ведущих лиц, так сказать, нашей корпорации не является для вас лестным? Хватит ныть! тон его вдруг изменился, став неожиданно резким и холодным. Вы получили все. Абсолютно все. Да, вы получили это так, как могли получить. Займись вы вместо ваших афер благотворительной деятельностью и вас бы прославляли с этой стороны. Но раз уж вы сами избрали себе стезю, то к чему столь лицемерно ее стыдиться? Заслуженная слава? У вас она была. Поклонники? Были. Не наша проблема, что ни один из них вас не устраивал. Богатство? Было. Вы же не оговаривали срок его годности. «Хочу быть богатой!» Хотела? Была!

Мисс Стэндстоун испуганно притихла. Она хотела бы вставить слово, объяснить, что все ее желания неуловимым образом вдруг извратились, оставаясь в изложении этого странного господина вроде бы и тем же самым, чего хотела она, хотя на самом деле в осуществлении своем и близко ничем подобным не являлись.

- Но в конце концов поймите же, взмолилась она, заламывая руки. Я простая женщина. И единственное, чего хотела я на самом деле это простого человеческого счастья. Просто счастья, понимаете? Я не знала, каким оно может быть, я пыталась представить его, как умела, на основании того что видела вокруг и о чем слышала от окружавших меня людей. Понимаете? Ведь это так просто... да, я хотела жить и радоваться, и не печалиться ни о чем, и не стыдиться своего успеха...
- Э-э-э... нет! укоризненно покачал перед нею пальцем гость. Вовсе не так. Вам ведь, кстати, никогда стыдно не было. Да и «простого счастья» вы на самом-то деле никогда не хотели. Мишуры желали изрядно. Описывали вполне пригодно для принятия заказа. Оплату предложили добровольно и без сомнений. Это зафиксировано, кстати, не только нашими специалистами, о которых я здесь столько говорил, но и представителями контролирующей организации, он ткнул пальцем в потолок, явно целясь куда-то выше, нежели в лепнину украшавшую его. Да и

потом, видите ли... – вздохнул гость, -- те, кто действительно хочет получить настоящее, простое, заслуженное человеческое счастье, и жить с ним так, чтобы не испытывать неловкости перед самим собой, к нам просто не обращаются... И ими занимается совсем другая структура.

Женщина отступила на шаг к окну и обхватила руками свои плечи. Она была задумчива.

- И что же теперь? Вы намереваетесь забрать мою душу, поскольку считаете исполненным свой договор? наконец спросила она.
- Ну что вы, вздохнул гость, не стоит так драматизировать. Я ведь сказал вам, что лишь заглянул известить о его исполнении. Проще говоря, наступил тот момент, когда душа ваша вашими же стараниями окончательно перешла под нашу, так сказать, юрисдикцию. И мы считаем договор исполненным обеими сторонами честно и без нарушений.

Он развернулся, и направился к двери. Мисс Стэндстоун провожала его безучастным взглядом, но в глубине ее разума не прекращалась при этом работа. Ведь если все услышанное ею этим вечером – впрочем, нужно еще обдумать это не раз – является правдой, то существует не только Тьма, но и Свет. И значит, еще не поздно обратиться к нему, и изменить свою жизнь, отдав остаток дней на то, чтобы спасти то, чем так безрассудно распорядилась она в молодости. Многое придется пересмотреть, многое – увидеть в новом свете, но теперь она понимает, что все эти усилия будут не пустыми, более того: они-то как раз и есть, оказывается, то, на что следует положить все оставшееся время.

Гость остановился на пороге, приоткрыв створку двери, и обернулся к ней.

– Вы знаете, – сказал он задумчиво, – не запирайте сегодня двери спальной. Когда поутру вас не дождутся к завтраку, и после – не смогут достучаться, то в панике могут надумать ломать дверь самым грубым образом. – Он нежно погладил кончиками пальцев резные панели наличников. – А настоящая работа по хорошему дереву так редко встречается в наше время...

Наталья АНТОНОВА



СВЯТАЯ РАДИОАКТИВНАЯ АДА

Осторожно, здесь медитируют

А мир был наполнен несуразицей: людьми, машинами, пыльными растениями, что-то где-то по чему-то било, создавался такой звук, словно где-то что-то по чему-то било отбойным молотком. Звон, звук, кряк. В газетах сплошь голосили новости, которые не были новостью и две тысячи лет назад. Заголовки кричали: «Человек без головы задумался о вечном», «Скоро ли конец тьмы?», «Как долго ждать второго пришествия и не стоит ли наконец властям взять дело в свои руки?» и так далее, и тому подобное ещё на пятнадцати страницах.

Ей повезло: она родилась задолго до всей этой суеты, лет так за сорок семь, родилась легко, без боли. Переход в этот мир показался ей радостным и светлым, будто здесь её ждало только хорошее, только радость и свет. Это первое впечатление она сохранила на всю жизнь, это первое впечатление наполнило её жизнь особым смыслом, который был недоступен тем, с кем она встречалась на жизненном пути, тем, с кем она в конце концов расставалась. Было лето. С росшего здесь, казалось, с начала времён яблоневого дерева то и дело падало оземь созревшее яблоко, и этот звук способен был пробудить сознание целого сонма пребывающих в сладостном оцепенении самого горького из заблуждений. Но не пробуждал. Казалось, просто упало на землю еще одно яблоко. Скоро осень.

Было ещё одно, то, что запало ей в душу от рождения: дул сильный ветер, сильный и ласковый одновременно, про такие ветра знают лишь те, кто родился у моря.

А мир был полон опасностей, таких зачастую окончательно смертельных: люди, машины, сама мать-природа — всё это таило в себе ужас и страх, стоило только задуматься. Она же знала, что ничто не может ей повредить, — такой уж она родилась, не в рубашке, конечно, скорее, в цветастом платьице. Её лицо было розовым, чистым, доверчивым, словно мордочка дельфина. Её тело так мало занимало места на этой Земле, что не способно было причинить неудобство окружающим её вещам и людям.

Когда становилось холодно, она понимала, что наконец-то пришла зима, с вечнозелеными елками, искрящимися и сверкающими праздничными шарами, женскими недомоганиями и мужскими упованиями на то, что вскоре всё придет в норму.

Весною прямо из-под земли появлялись подснежники.

Лето было для того, чтобы ни о чем не думать.

Осень всегда приходилась на пятницу.

Зимою так много было свежести, что не хватало весны.

Потом она повзрослела, захотела ребенка — вышла замуж, расхотела быть замужем — стала воспитывать ребенка одна. Сын, учи английский — женишься на

принцессе — станешь принцем. И он прилежно учил, и в награду достались ему пол-острова и самая прекрасная принцесса в придачу.

Одиночество совсем не страшно, если хочется думать о своём, если хочется есть то, что любишь, спать, где пожелаешь, бродить, куда ноги несут, петь старую забытую моряцкую песню в пол хриплого голоса и ничего никому не объяснять. Если хочется от начала и до конца оставаться собой — одиночество совсем не страшно.

Дело было так: у американцев была атомная бомба, у русских тоже была атомная бомба. Американцы славились своей деловитостью, русские ленились быть деловыми и поэтому славились своей ленью. Кто из них первым сбросил ту бомбу, кто вообще сбросил её на нас — я не знаю. Просто стало вдруг очевидно, что наступил-таки Конец Света, о котором так долго говорили.

Но она не читала газет и поэтому не смогла бы вразумительно ответить на вопрос, почему вдруг стало так холодно, почему растения приоделись к весне-летуосени, затем дали плоды, созревшие за неделю, скинули всю листву и через немного погодя преобразили всю землю яркими цветами прямо в зиму, в русскую зиму, спешно люди в нарядах цвета хаки обошли дома и предупредили: кто не уберется отсюда к весне — может оставаться здесь навсегда.

Именно поэтому она осталась.

Потому что вокруг росли деревья, которые она так любила.

И ещё цвели цветы.

Потому что звери, пусть и одетые в шерсть по самые носы, желали тепла и ласки.

Потому что все остальные люди ушли.

И она осталась наконец-то одна.

В тишине.

Напротив одной пустой стены стояла вторая, в углу — стол, подпирающий третью стену, в которой вырублено было большое окно со ставнями, а четвертая стена держалась лишь на честном слове и на трех остальных, деревянных.

Утром вставала, зажигала свечи и ложилась спать. Просыпалась — ужинала. Встречала рассвет вместе с крохотными радужными птицами и огромными, но тем не менее прекрасными бабочками, распевающими гимны на санскрите и идиш тонкими нежными голосами. Ложилась спать. На завтрак ела вареники с малиной и кунжутом. Шла кормить медведей. Возвращалась с корзиной, полной мохнатых лесных грибов-подосиновиков. Вязала из них шарфы да варежки для тех живых существ, кто ещё не успел обрасти тёплой оранжевой шерстью к холодному русскому лету. Дни жизни её были насыщены только тем, что происходило каждый раз от случая к случаю, жизнь её была осмыслена и прекрасна.

Она и не знала, что светится. Ей самой её шарообразное свечение казалось естественным и необходимым, и поэтому обыкновенным. Подумайте сами, как бы она смогла читать хорошую книгу с картинками, варить себе кофе с корицей, гвоздикой, шалфеем и чабрецом, освещать путь к дому своему, деревянному и покосившемуся, тем заблудшим, что потеряли бы свой путь, если бы она не научилась однажды светиться лёгким таким то золотисто-медовым светом, то нежно-голубым, словно мерцание светляка. Как же в конце концов кормить медведей в абсолютной темноте и невежестве, если ты не светишься достаточно для того, чтобы тебя не съели!

Цветы в ту пору своей жизни она любила особенно. Их лепестки были так прохладны и так ярки, что ей хотелось прикоснуться к ним щекой, ощутить прохладу и уснуть надолго, на весь тихий час, так, будто ты всего лишь крошечная девочка, которая засыпает на маминой ладошке вся.

Бывало, ей снились сны, например, про давние часы пик: будто едешь в переполненном автобусе, уже стемнело, старичок рядом читает «Приключения Шерлока Холмса», заглядываешь через его плечо и попадаешь в самую разгадку детективной истории, и ему, и тебе хорошо, прочие люди лишь ждут часа оказаться дома, там, где их по-настоящему любят и ждут, возможно.

Несколько раз в неделю, словно по зову сердца, к дому её собирались звери, птицы и прочая живность. Они рассаживались в кружок у порога и ждали, и, упаси господь, если кто-нибудь из них кого-нибудь из них ненароком слопал бы в те часы. Есть ближнего своего было табу в её мире. Некоторое время спустя выходила она, умытая, причесанная и взволнованная, садилась на ступеньки. Они ждали. История была всегда одна и та же, история про человека, который как-то изменил мир. Она с минуту смотрела на пришедших пристально и нежно, словно обнимала взглядом каждого, и чуть хрипловатым голосом начинала свой рассказ:

«Часов этак в пять утра, в полутемном на взгляд пессимиста, в полусветлом на мой непредвзятый взгляд хлеву, когда черно-белые коровы томно жевали золотистое на просвет сено, овцы блеяли о своем, а люди поговаривали о том, что быть бездетным не так уж страшно – страшно так и не родить Мессию. Родился малыш, совершенно обыкновенный в том, что был он совсем голенький и нежный, хоть и писали много веков спустя, используя чернила и ксерокс, что родился-де он в рубашке. Нам ли не знать, какая это неправда. Сам же новорожденный, чуть только забрезжил свет, подумал не без иронии, что проще пройти сквозь игольное ушко, чем через родовые пути родительницы, подумал и позабыл на время. Многие считали знаком, что раскрасневшийся, пухленький ребёнок появился на свет, раскинув ручки, словно по наскоро срубленному деревянному кресту, как говорят до сих пор в народе, родился Христом. Его завернули в белоснежную пелёнку, будто штоллен, и он, окинув вполне смышленым взглядом папаню, почему-то всё время отводившего взгляд, маманю, исполненную счастья изнутри и снаружи, как все матери всех времен и народов, позабывшую враз, что мечтала она о голубоглазой и золотоволосой девочке, и всех окружавших дитя, по случаю оказавшихся тут (какое удачное стечение обстоятельств), сделал несколько шагов и громко выдохнул в пустеющее пространство: ХУМ (или ОМ А ХУМ) – теперь уже, когда минула память многих поколений, источники путаются в догадках. С неба в тот же миг хлынул настоящий цветочный ливень: и нежные бутоны, и едва раскрывшиеся цветки, и полновесные соцветия падали и падали на землю, пока не покрыли её нежнейшим ковром дивной расцветки.

Через два года он сидел тихонько, затаившись, в самой серединке лотоса под рождественской елью, украшенной имбирными пряниками и золочеными орехами, серебряными полумесяцами и целыми созвездиями, вдыхал смолистый запах и запах сотен красных свечей и сандаловых благовоний. Он молился ещё совсем подетски о том, чтобы все были счастливы, как он, подразумевая под счастьем всё то, что его окружало: цвета, формы, голос мамы и весь её облик, окруженный медовым сиянием. Оказаться в самом центре этой сияющей пустоты и было счастье. Ему ещё по малости его не рассказали, что мама умерла на девятый день после его рождества.

И всё, что она успела сделать для него, это спеть ему колыбельную тихо-затихающим голосом, покачивая его в слабеющих руках, и вложить в него всю любовь, что была в ней, на долгие годы и даже столетия вперед, так чтобы хватило и многим тысячам других живых, рождающихся в муках, живущих в страдании, впадающих время от времени в панику, зачем все это, и тем не менее надеющихся на лучшее, пусть единственное по-настоящему лучшее - чтобы лучше было другим.

Отец его и был другим: суровым, не способным признать своё право на нежность, на способность не только давать, но и принимать любовь, живущий в своем мире, где он после смерти жены остался совсем один. Когда картинка за картинкой проходят перед глазами то яркие от сиюминутности, то потускневшие от долгого времени образы и темы прошлого, магический фонарь выхватывает из этой череды тот самый жаркий июльский день. Отец впервые взял сына с собой копать червей: занятии само по себе способное привести страждущего к просветлению, если делать это, разумеется, всем своим существом наслаждаясь тем, что делаешь, не думать о причинах и последствиях, не вникать в суть происходящего, копать от души, слыша вполуха тоже впервые настоящие взрослые чертыхания, потому что все червяки, как назло, где-то в другом месте, такой солнечный день, такой мудрый, один только понимающий, что и зачем надо делает в окружении беспричинно счастливой компании червяков и мальчишек отец. Отец, заменивший ему Отца.

Случались с ним и дни так себе. В небольшой, залитой полуденным светом кухне, в которой солнечные лучи беспрепятственно проходили сквозь стекло зелёно-сине-красных бутылей с маслом и уксусом, в полных семь лет он сидел за столом и болтал ногами, болтал о том о сём самозабвенно, как ребенок, а затем попытался слизнуть клубничное варенье с острого ножа, которым отец пользовался, лишь когда требовалось заострить стрелы для ловли рыб и птиц к ужину, и получил такой нагоняй, что лучше бы он обрезал тогда свой древний, звучащий теперь лишь в священных текстах, язык и никогда бы не стал Буддой, обозначившим правильный путь для всех вместе взятых рыб, птиц, людей и будд.

Если бы вы знали, какими пустыми ему казались разговоры людей, насколько больше смысла он находил в нежном пенье птиц по весне, в диких воплях мартовских котов, в безумном и едва слышном трепетание листьев осины на осеннем ветру, в шуме льющейся попусту из крана холодной и горячей воды - во всём том, что проходит мимо ушей обычного человека, но крепко связывает его с реальностью. Ему всегда казалось — такими были его ощущения — что слух важнее зрения, потому что глаза просто закрыть на то, что происходит прямо здесь и сейчас, банально хлоп и закрыл, а уши так быстро закрыть обычно не удается, и именно через них проходит-втекает в ум бесконечная сумятица этой жизни, тревожащая душу потом многие-многие лета, когда уже и не помнишь причину тревоги, а только являешься следствием ее.

Помнится, однажды он в первый и в последний раз влюбился. Будто только что сошедшая с древней иконы, девочка была золотоволосой с небесного цвета глазами, и звали ее, как маму, божественно. Они шли, держась за руки, и тепло их рук было их общим теплом. Впереди их ждали лишь заросшие полынью, гвоздикой, иван-чаем восхитительно пахнущие, бескрайние поля, в которых паслись свободные от всех человечьих условностей лошади, аисты, лисы, в которых и они затерялись — попробуй теперь найди.

Минуя источники, стоит сказать, что куда важней ему всегда казалось малень-

кое сиюминутное дело, приносящее пусть крохотную, но радость своим ли, чужим, теперь не важно, чем великое дело, такое огромное, что спустя и тысячу лет плодов его не заметил бы только слепой глупец, дело, которому он мог бы посвятить целую жизнь, лишенную радостей и горестей, лишенную жизни. Каждый раз пробуждаясь, он видел, как, словно белые одинокие, чьей-то воле подвластные, облака мимо проходила его собственная жизнь в эпизодах, одним кадром его смерть, надо ли было тревожится о том, что не было подвластно ему? Приносить радость случайным людям и зверям, от которых ни выгоды, ни пользы — это и было счастье, так он думал.

Оставленный отцом на кухне без присмотра помешивать большой деревянной ложкой варенье из черной смородины, красной смородины, белой смородины, голубики, клубники, малины он находил, что все цвета смешиваются в единый вкус под воздействием одной только ложечки меда и двух перчиков чили, добавленных во все это варево, пока никто не видит, лучше, конечно, две ложечки меда, так опаснее. Будучи ребенком, он видел то, что никогда уже не увидит будучи взрослым (даже тем самым взрослым) — безрассудство абсолютной бессмысленности делать то, что первым приходит в голову. Пахло божественно.

Та рыба плавала в затхлой банке, открывала рот, закрывала рот, иногда её кормили, и тот, кто подавал ей пищу, казался ей богом, тот же, кто забывал мыть банку, не менял ей воду в срок, такой милой, розовой, блестящей, казался ей демоном, чёртом, претом, да будет ему пусто в аду, в такой же точно нечистой банке, такому же точно необыкновенно симпатичному. К слову сказать, то был один и тот же мальчик.

На ночь он всегда молился. Не помня ни одной молитвы наизусть, в силу лишь ему одному присущей особенности он каждый раз выдумывал свою молитву заново, используя одни и те же слова — под каждым словом он готов был подписаться, но сон приходил раньше.

Какая разница, что

Ведь имеет смысл лишь то, как мы идем к своей смерти: ползком, перебежками, перелетая от цветка к цветку, от тела к телу

Непостоянство тревожит нас

Пусть одно счастье сменяет другое, словно волны одна за другой накатывают на берег, и столь же неизменно

Доброта в глазах смотрящего

Мятное дерево росло у дороги, и в солнечный день прохладно было лежать в его тени, думалось легко, свободно, радостно. Он чувствовал свое шестнадцатилетнее тело, словно был животным, молодым, свободным, готовым сорваться в любой момент и бежать, нестись, как ветер.

«Ешь рыбу медленно, — говаривал отец, — подавишься косточкой — отправишься к праотцам». Это неизбежное путешествие представлялось ему в детстве так: сначала полдня до заката катишь на велосипеде, подпрыгивая на каждой второй колдобине, неустанно крутя педали, потом местный автобус везет тебя в непроглядную тьму, и ты съедаешь бутерброд со сливочным сыром и базиликом, и ты запиваешь всё лимонной шипучкой, и ты уже спишь на плече неизвестного тебе соседа, когда приходит утро, кроткий серебристо-серый ослик везет тебя неспешно вперед, и можно, наконец, насладиться всеми возможными видами и планами.

Когда он подрос, то частенько ловил себя на мысли, и от этого мысль как-то скукоживалась, становилась скушной и неинтересной, прежде всего себе самой скушной и неинтересной. Ловля мыслей была так занимательна, что он предпочитал этой забаве все прочие занятия, ведь никаких иных подручных средств для этого не требовалось, только я. Отделять мысль одну от другой было словно низать бисер: красная бусинка, жёлтая, прозрачная совсем и совсем непрозрачная; отличать их по качеству было куда сложнее, но и с этим он справился со временем и пространством. Сорок дней в пустыне разрешили однажды все его сомнения разом, но пока он был ещё ребенком, играющим тем, что под руками и тем, что в руках, никто не мог остановить его игру, даже если бы он решил вдруг заведомого мертвеца приводить в чувство или сидеть до просветления на самом солнцепёке под спонтанно расцветшими розовыми розами и лиловыми лилиями, ромашками и гибискусами, и еще теми цветами, которым названия нет, потому что слишком долго давать название совершенству, под деревом бодхи сорок дней кряду.

Мужчины его времени были похожи на мужчин всех других времен (здесь следовало бы привлечь теорию относительности, но она ещё не была изобретена).

Женщины его времени представляли собой сплошную кровоточащую рану: они то рождались, то рожали, потом наступала смерть. Мало какой из них было дано превозмочь собственное тело, преодолеть слова, опустошить ум настолько, чтобы перестать быть женщиной, стать Буддой, или Христом, или Моисеем, и в самом конце, переступив невидимую черту, стать наконец ни тем, ни другим, ни этим. Родиться уже переступившей черту было редкой удачей, доступной немногим, родиться дочерью дхармы Палден Лхамо и оказаться выше любого мужчины — это было чудо.

Друзья. Были ли у него друзья? Они были повсюду. Враги. Были ли у него враги? Над его головой облака неспешно проплывали по своим делам. Именно из-за облаков небо казалось близким и доступным. Только протяни руку.

Он видел свет. Даже закрыв глаза, даже заткнув уши, даже зажав нос руками, даже нейтрализовав все рецепторы вкуса, тепла и боли он продолжал видеть свет. И слышать музыку. И чувствовать запах. Определять на вкус тепло и боль.

В детстве же его по-настоящему волновало одно лишь море. Когда он погружался белесым телом в тёплую и солёную влажную синь, он становился абсолютно счастливым. Отец возил его по воскресеньям к Мёртвому морю. Они разводили на пляже костер, жарили водоросли и креветок, пели походные (духовно-походные) песни, которые отец помнил с детства, когда его отец привозил его к Мёртвому морю искупаться и позагорать. Мальчишкой он знал, что если нырнуть в мёртвое море, а вынырнуть из живого — тогда, как в русской народной сказке, будешь вечно молодым, или же вечно ни живым ни мертвым будешь.

Точно так же, как море, его привлекали лишь горы, и если море было всегда одно и то же, то горы менялись день ото дня, никогда не были теми же самыми горами, горы всегда были немного не-горами, немного равнинами или впадинами. Пронзительным осенним днем он смотрел на одну из них особо возвышающуюся, просто Кайлас какой-то, а не гора, и понимал с одуряющей ясностью, что, какой же это к чёрту Кайлас — стоит только отвернуться. Он понимал и то, что ощущаемое им теперь так отчетливо, так внезапно, поймут лишь немногие и лишь много лет спустя.

Спустя много лет, когда золотые космы его стали редеть, а связь с космосом ос-

лабевать день ото дня всё больше, он решил вдруг, что нет другого пути, как отдать себя на растерзание людям, и ушел от них навсегда к зверям, птицам, деревьям и бесконечно нежным в своем первозданном кружении ярко-красным, тёмно-синим цветам».

Так заканчивался её рассказ. И звери потихоньку расходились, задумчиво покачиваясь из стороны в сторону, и птицы взлетали и исчезали, словно бы растворяясь в синеющем воздухе. Конечно, о ней ходили всевозможные невероятные истории среди людей, живущих за полосой отчуждения, за двойным колючим забором, за рвом, наполненным ледяной водой, которую бороздили без устали привычные ко всему многоголовые разноцветные крокодилы. Дивные случаи из её жизни, давно ставшей легендой, передавались из уст в уста, и то, что было правдой, и то, чего никогда не было. Звали ее поначалу Святая из Калининграда, чуть позже — Святая из Ада, однако в народе прижилось имя, по которому и до сих пор ей молятся от всякого излучения, внезапных бомбардировок, атомных станций и прочих не различимых обычным глазом бед — Святая радиоактивная Ада, спаси и сохрани нас!

30 января — 2 декабря 2012 года

ПРИМЕЧАНИЯ:

Бодхи-дерево — древо Просветления, под которым индийский отшельник Гаутама обрел высшее состояние сознания, сверхзнания и другие отличительные свойства Будды, Просветлённого. Это дерево принадлежит к виду древовидных фикусов (Ficus religiosa), растущих ныне в большинстве буддийских монастырей.

Будда (буквально: проснувшийся, прозревший, Просветленный, Познавший запредельный свет): 1) в буддизме высшее состояние духовного совершенствования; 2) имя древнеиндийского мудреца Шакьямуни после обретения им особого духовного опыта.

Гора Кайлас (Кайлаш) — находится на юге Тибетского нагорья. Верующие четырех религий — буддисты, индуисты, джайны и последователи религии бон — считают эту необычную гору «осью мира», «сердцем земли». К ней совершаются паломничества с целью совершения коры — ритуального обхода.

Дхарма (опора, закон, добродетель, долг, религиозное учение) — в буддизме это закон Вселенной, открытый Буддой и его Учение, как вторая драгоценность буддийской триады (Будда, Дхарма, Сангха), а также каждый отдельный текст Слова Будды; кроме того это Абсолют, истинная реальность, мельчайшая частица потока сознания, качество, объект сознания и т.д.

Медитация в буддизме — обобщающее условное название, данное европейскими учеными основным духовным практикам, ведущим к достижению главных целей буддизма: освобождению от череды рождений, нирване, состоянию архата или Будды, Любви, Состраданию, невозмутимости и т.д. Медитация предусматривает несколько последовательных стадий углубленного самопознания и проникновения в сущность мироздания.

ОМ А ХУМ (мантра) — сокровенное речение преимущественно санскритских словои звукосочетаний, особое и постоянное произнесение и воспроизведение в памяти которых стало обязательным компонентом практик медитации.

Палден Лхамо — основная защитница в тибетском буддизме и единственное женское божество среди группы Восьми Защитников Дхармы. Она особенно влиятельна в школе Гелугпа, для последователей которой Лхамо является особой защитницей Лхасы и Далай Ламы.

 ${f Canckput}$ — древний литературный язык Индии со сложной синтетической грамматикой. Возраст ранних памятников доходит до 3,5 тысяч лет.





Валерий ГОЛУБЕВ

ОБУГЛЕННЫЕ ГОЛОСА

Я братьев меньших называл на Вы, Дыханья наши совпадали в боли, А потому – в лесу ли, в чистом полеНе слышал о себе глухой молвы. Не ставил на доверчивой тропе Капканов хитроумных или петель, За мною не тянулся чёрный пепел, Чтоб меньший брат в огне оторопел. И если позовут на Страшный суд Его в свидетели – у нас не будет стычки. Горит земля...И голоса в лесу Обуглились в предсмертной перекличке. 2010, лето

Ударил в колокол глагола
Предвестник лета – первый гром.
И «царь земли» - надменный гном В ответ набычился комоло.
Угрюмый глаз ярился слепо...
Когда бы не был бос и гол,
Остановил бы «царь» глагол:
Обезъязычил бы он небо!

Памяти «Калининградского комсомольца» 60-х годов

Не ты ли, моя газета, Висишь на гвозде в клозете?!

...Ей в жизнь уже не соваться, Мерцать при мышином свете, Да с задницами целоваться В обществен ном туалете! «Радетель запоров, поносов, Приладил газету, жлоб!»

И, смрад призирая носом, Я вынес её из-под жоп! Газета моя... Родная!.. Стояла в открытом ряду ты – Не просто слова роняла: Отстаивала редуты! Не нам по ночам терзаться, Горели в огне, одержимы, И даже в пять строчек абзаца, Читатель, тебе не должны мы.

1991

Обжечься об угли, Об угли-слова, Но надо об угол Их выбить сперва. Об угол барака, Об угол избы... Чтоб вышел из мрака Глагол без узды.

Привет, привет, сосед! Погас и мой костёр.

...Был немощен и сед, Но на язык остёр. Спрошу тебя в упор, Пока не тронут тленом: Не пьяница? Не вор? Не бит женой поленом? Хорош, небось, хорош, Ведь жизнь прожить - не поле... Ещё спрошу: не бомж? Не гостем был на воле? Ну что ж, почту за честь Лежать с тобою рядом. Не это ли и есть Итог – за жизнь награда?! Погост - наш мавзолей: В могиле коммунальной Тот, общий, червь не злей Червя из персональной.

С народом веселей! А потому – без страха Разделим «мавзолей», Перемешавшись прахом.

* * *

На земле, человек, всё растёт не по-твоему, Будет жатва – бурьяном засеял её сатана! Поклониться бы им – хлеборобу ли, воину – Да застила поле глухая эта стена.

МОЛИТВА НА РОДИНЕ

1. Моя родная сторона Словечка не обронит... Но слышно было, как одна Кричала в поле борона: С ума, с ума сойдёт она -Непаханое боронит! Помолюсь я: « Боже, На родимой стороне Пусть меня корёжит, Как берёсту на огне; Сын ли я, прохожий, Жар ли бьёт, озноб?.. Пусть мороз по коже, Пусть глаза на лоб; Чтоб ни рифм, ни прозы... Господи, прости, Только б стыли слёзы, Жгла земля в горсти».

КЁНИГСБЕРГСКАЯ МОСТОВАЯ

Пока газеты пером водят, Защищая мостовую, Гранитную, вековую, Надёжную по-прусски, Её казахи* переводят, Глаз прищурив узкий, С немецкого на русский!

^{*}Гастарбайтеры.

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ НОЧЬЮ, В ШАЛАШЕ

Ушёл от слов – В хоре замолк! Душа на засов, Язык – на замок.

Живу, чуть дыша, В тоске, в лихе. Висеть бы мне на лыке Под сводом шалаша – Вдруг к полночи душа Высветлилась в лике...

> Гром победы, раздавайся! Г.Р. Державин

Светлые побеги, Ярь весны. Гробы победы Жмут, тесны... «Под пулями побегал, – Сказал солдат, – Ни клятв, ни обета – Под пулей не солгать».

Приметочки, зацепочки... Стихи - поближе, вряд -Как воробьи на веточке, Нахохлившись, сидят. Им не пастись на грядочке, Их кошечка не съест, Сидят стихи в тетрадочке В линеечку - насест. Задиринки, зарубинки... И жизнь вся – на виду! Не наизусть зазубрены, Но вспомнить есть кому! ... А эти – премированы, Да не взмахнуть крылом: Их лбы пронумерованы, Помечены тавром.

Пресытилась утробушка, Жиреют как коты... Ослепнут! И воробушки Им сядут на хвосты.

ДЕНЬ В ЦВЕТУ

Вся ярь земли – весне в заслуту, Отяжелев, сады присели. Ликует день. На всю округу Звенят цветные карусели.

Поэту кризис не грозит,
Не платит он за газ, за воду...
Его сырьё – родной язык,
А потому – дымить заводу.
Слова- лини, слова- язи,
Да окуньки, да пескаришки...
Читатель, как ты не язви,
Но не прожить тебе без книжки –
Опять прожорливый ершишка
Тебя подёргал за язык!

В НЕМОТЕ

Стою, как будто в одичанье, В бессильной ярости молчанья. А свет весенний вперехлёст... Сама природа изначальна В открытом Слове – в полный рост! Но как услышать те слова, Когда ты глух до неприличья И, как полночная сова, На крик сорвался, в безъязычье?..

ЗАДИРИНКИ НА ПОЛЯХ РУКОПИСИ

Шляпа моя из фетра, Горит на столе свеча... Пишу, соревнуясь с Фетом, Покамест у нас ничья!

ПАРАЛЛЕЛИ ______ декабрь 2012

*

С рожденья музу почитаем, От рифм крылатых почти таем. Стихи чужие не читаем, Свои читаем – не чета им!

*

Слово ударилось оземь, Выросла рифма *озимь*. В тёмных споткнулось сенях, Выросла рифма *синяк*.

*

Я читал жучку стишок На его лесной тропинке. Как послушал – хлоп на спинку! То ли обмер, то ли шок.



Валентина СОЛОВЬЕВА

Я в суете теряю суть. Мелькают дни, мелькают лица... Того, что было, не вернуть, Того, что будет, - не случится.

Пора наполнить закрома: Не ждать даров – просить подачки. Но скоро кончится зима, Очнется мир от зимней спячки.

Растает снег, и точно в срок Из дальних стран вернутся птицы. А всё, накопленное впрок, Мне никогда не пригодится.

Наша жизнь состоит из таких пустяков - Из разбитых тарелок, дырявых носков, Из бездумных речей, из надуманных фраз, Из отложенных дел, из вещей про запас, Из незваных гостей, из случайных звонков, Из соседей, прохожих, зануд, остряков, Из прокисших борщей, из горелых котлет... Из потерянных дней. Из непрожитых лет.

Перышко в чернила окунала, Строчки разбивала по куплетам. Ничего о вечности не знала, Даже и не думала об этом.

Облупились краски на картине, Нет уже ни голоса, ни слуха. Лишь душа в словесной паутине Всё звенит, как пойманная муха.

+ * >

Того, что уже не исправить, Не стоит теперь ворошить. Хотелось себя позабавить, Хотелось друзей насмешить.

Всё кануло в недра колодца, Всё вмерзло в затоптанный снег... Того, что нам даром дается, Ничем не оплатишь вовек

Так хотелось любви... Ты хотела? Изволь. Я не знала тогда, что любовь – это боль. Это пламя под тонкой коростою льда. Это суд без вины. Это казнь без суда. Это страх и беда, что ползут по следам. Это то, что теперь никому не отдам.

ТЕАТР ТЕНЕЙ

Трещали картонные стены, В кулисах запуталась тьма. Актеры сходили со сцены, Суфлёры сходили с ума.

В партере шуршали попкорном, Смеялись в последнем ряду, Когда погибали покорно Герои у всех на виду.

Служитель, готовясь к уборке, Ведро в вестибюле пинал... А я всё сижу на галерке И верю в счастливый финал.

Хотя вся жизнь – игра По правилам не новым, Не оскверню пера Мертворожденным словом.

В словесной мишуре Так много зла и яда... Осталось в словаре Одно лишь слово: надо.

Мне давно прозрачно намекают: Жизнь проходит, время утекает. Вот уже почти что видно дно, Ждать чудес – наивно и смешно.

Я сама так думала не раз, – Оставляла время про запас, Берегла, вела ему учет... А оно по-прежнему течет.

Свобода

Свобода листьев от ветвей. Свобода птиц от небосвода, Свобода от семьи своей, От родины и от народа...

Свобода выбирать самой, Куда брести, не зная брода, Чтобы понять, какой тюрьмой Для нас кончается свобода.

А завсегдатаи тюрьмы Твердят заученные роли: «Мы не рабы. Рабы не мы. Ведь сами здесь, по доброй воле!»



Игорь БЕЛОВ

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Мы убиваем время в кварталах, глухих и диких, там, где кольцо трамвая и неземной рассвет, там, где мятая скатерть цветёт пятнами от клубники и о жизни в розовом свете поёт кларнет.

Шляется по квартирам в моей дорогой провинции музыка, из-за которой во двор забредает дождь. Что же он все плетёт разные небылицы, исцарапанный голос прошлого, мол, прошлого не вернёшь?

Ангел мой, расскажи, почему это так очевидно, что, когда опустеют скверы, перепачканные листвой, лето кончится, и, как следствие, обломается "дольче вита", и в лицо дохнёт перегаром город наш золотой.

Буду с грустью смотреть, шатаясь во время оно по усопшему этому городу, забуревшему от тоски, как на улице на Воздушной своего компаньона бьют ногами в лицо черножопые "челноки".

Вечер кажет кулак сквозь завесу табачного дыма, но разбитые губы шепчут бережно, будто во сне: "Я люблю тебя, жизнь. Я уверен, что это взаимно", и играет пластинка в распахнутом настежь окне.

От сквера, где одни скульптуры, до всяких окружных дорог за мной присматривает хмуро из гипса вылепленный бог.

Он видит — у ее подъезда, с красивым яблоком в руке, я словно вглядываюсь в бездну, в дверном запутавшись замке.

Выходят Гектор с Менелаем, катастрофически бледны, в морозный воздух выдыхая молитву идолу войны.

Пока прекрасная Елена, болея, кашляет в платок, запустим-ка по нашим венам вражды немеренный глоток,

и, окончательно оттаяв, окурки побросав на снег, сцепившись насмерть, скоротаем очередной железный век.

Никто из нас не знает, словом, в какую из земных широт судьба с открытым переломом машину "Скорой" поведет.

И сквозь захлопнутые веки она увидит в январе, что мокнут ржавые доспехи на том неброском пустыре,

где мы, прозрачные, как тени, лежим вповалку, навсегда щекой прижавшись к сновиденьям из окровавленного льда.

Встает рассвет из-под забора, и обжигает луч косой глазное яблоко раздора, вовсю умытое слезой.

МОЕ ЧЁРНОЕ ЗНАМЯ

Столица дотачивает ножи, солнце отчаливает в офф-сайд, радуга в редких лужах лежит, почти закатанная в асфальт.
И, словно удолбанный санитар, в дверях возникает Цветной бульвар.

По горло в его в золотых огнях, мы плывем туда, где гремит Колтрейн, где мама-анархия, лифчик сняв, молча сцеживает портвейн. В этой квартире всю ночь напролет я жду рассвета — за годом год.

Спичка, погаснув, летит в окно. В легких стоит сладковатый дым и не уходит. Портрет Махно

был черно-белым, а стал живым. И я поворачиваюсь к стене: "Нестор Иванович, вы ко мне?"

Он говорит: "Не наступит весна, вы давно просрали свой отчий дом, на карте битой эта страна лежит сплошным нефтяным пятном. А в стакане с виски, как пароход, качается алый кронштадтский лед.

Где твои любимые? Нет как нет, их улыбки скоро навек сотрут со страниц пропахших свинцом газет, а потом с "одноклассников точка ру". Что тебе офисный ваш планктон? Двигай за мной, с'mon.

Вам, хлопцы, с вождями не повезло, у них силиконом накачан пресс. Вот оно где, мировое зло с газовым вентилем наперевес. Стальным коленом нас бьет в живот доставший всех Черноморский флот.

Рви системе глотку, пока ты жив, отвернись навсегда от ее щедрот. Это совесть наша, бутылку открыв, отправляется в сабельный свой поход. Главное, взять без потерь вокзал. Думай, короче. Я все сказал".

И он уходит сквозь гул времен. Судьба совершает нетрезвый жест. Шторы шеренгой черных знамен яростный шепот разносят окрест. И словно в мазут окунают меня черные наволочка и простыня.

От всего на свете позабыт пароль, потому и не по-детски ломает нас, наша персональная головная боль уже несгибаема, как спецназ. И однажды жизнь, что была легка, в кружке пива спрячет удар клинка.

Вот тогда мы увидим — горизонт в огне, джунгли наши каменные сжег напалм, и с бубновым тузом на каждой спине валит конармия в гости к нам:

вот король, вот дама, потом валет, а за ними на полном скаку — конь блед.

И дышать мы будем, во веки веков, позолоченной музыкой их подков.

* * >

Горячий воздух, ордена, букеты, хмельной закат, прожжённый сигаретой, сирень. Уехать к морю в День Победы, ни сна, ни яви не отдать врагу. Плывет паром, и видно близко-близко обветренные лица обелисков, точёный профиль города Балтийска, поддатого меня на берегу.

На берегу, где облако и птицы. Из жизни глупой вырвана страница очередная. Надо было становиться убитым службой прапором, а не пьянчугой в чёрной вылинявшей майке, корабликом из жёваной бумаги. Стать памятью о роковой атаке. Стать кораблём, скучающим на дне.

На всём стоит войны упрямый росчерк, и эта жизнь становится короче. Красавица, а ну, лицо попроще, всё начинаем с чистого листа. Побудь со мной, пока это возможно, пока весна вот так неосторожно слова любви диктует пересохшим от горькой жажды подвига устам.

Да будет — мир всем нам без исключения, беседа в романтическом ключе и на небе невъеб...нное свечение, когда, вздохнув над мутною волной, меня, заснувшего у самого причала, разбудит голосом прохожего случайного судьба моя, такая беспечальная: "Бери шинель, братан, пошли домой".

ДОННА АННА

Снег в октябре — всё равно, что удар ниже пояса. Подмосковье болеет рассветом, и рассеивается туман. Всё, что тебе остаётся — это восемь часов до поезда, сюжет для повести и пластиковый стакан.

В твоём родном городе полгода стояла жара, на вокзале цвела черёмуха и плакал аккордеон, но наступают заморозки, печалится детвора, бесполезный оккупировав стадион.

Твои кавалеры бритоголовые дерутся на площадях, проклиная буржуев и не сочувствуя алкашам, а разговор о политике и прочих серьёзных вещах давно уже пахнет смертью, как афганская анаша.

Анна, ночь на исходе, прошлого больше нет. Ты придёшь на работу, наденешь белый халат сестры милосердия, снова увидишь в окне провонявший лекарствами листопад.

А всё остальное забыто — пережито, точней. Лишь вспоминаются умершие от ран собутыльники мужа, сгинувшего в Чечне, да застреленный бандитами Дон Жуан.

Он тебя уже почти не слышит, наэлектризованный тобой, он садится на паром подгнивший, театрально помахав рукой.

Завтра он вернётся, а сегодня палуба пульсирует под ним, ждут его скамейки-подворотни и большого города огни.

Атмосферный слой бельё полощет, медленно ржавеют корабли, пиво, разливаемое в Польше, всюду хлещет, как из-под земли.

Он круги по городу мотает, дышит на милицию вином, спотыкается, как запятая, добавляет водки, а потом

на проспект, в такой привычный ужас, выходя по битому стеклу,

он ломает руку, поскользнувшись в баре на заблёванном полу,

чуть проспится в трюме, выпьет снова, заскучает, за борт упадёт, в сумасшедший цвет закат багровый перекрасит пассажирский флот.

Это целый мир уходит в море, так беги к причалу — всё равно нет его ни дома, ни в конторе, ни за грязным столиком в пивной.

Только ни к чему вам эта ретушь, лирика, сплошное барахло, потому что с временем прошедшим не в ладах оконное стекло,

за которым, по уши в лазури, как живой — не веришь? посмотри! — твой герой перед подъездом курит и прохожих первых материт.

РОМАНС О ЕЕ ПРИХОДЕ

дождь не вернулся с пляжа чего же тебе еще от четырех затяжек сходит загар со щек

стрёмный как запах дыма с фарами в пол-лица поезд проходит мимо не возвращается

ты надиктуй мне адрес вот он весь твой багаж — беспонтовый каннабис и роковая блажь

чем мы живем — неважно на середину шоссе гильзы летят бумажные и умираем все

кто из нас задохнется если весна придет видишь как сердце бьется словно рыба об лед

ПАРАЛЛЕЛИ ______ декабрь 2012

значит не отвязаться перепродав тайком пепел цивилизации смешанный с табаком

в будущем недалеком открывается дверь в подъезд в левом и правом легком нет свободных мест

Геннадий ЮШКО



ПРЕЛЮДИЯ К МАРШУ «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

Табурет вместе с полом -

волнами,

или это

раскачивалось тело, или сердце, когда-то смелое.

Этажом ниже: крайний подвал, оттуда кровь глотала Нева, оттуда

в реку стекали

бывшие жизни

вместе с фекалиями,

поэтому пол

всегда качался без перерыва хотя б на час. Без перерыва молола машина поэтов и маршалов

неустрашимых,

а если кто

кровью не плакал,

могли,

как почётного... на кол!

Помнишь, музыка в городском парке? Ты тогда в платье... ярком... и я,

молодой комкор... оркестр о том,

как прощались славяне.

Прощались. Да... расстелив

настил

на кости братьев, пировали долго. В красном

платье

князь Олег

во главе веселья -

даже в убитых вливали хмельное зелье, чтобы пели мёртвые рты...

Гремел оркестр. смеялась ты,

глядя на двух басистов, у одного солнце прыгало в усах, когда выдувал своё «эсто», мы танцевали.

Играл оркестр...

...хотел рассказать тебе о ком-то. да!

табурет посреди комнаты, совершенно пустой,

как вакуум,

далеко за стеной

дождь плакал.

Далеко... где-то, может, в Афинах. Это походило на съёмку фильма: Табурет в Питере, Дождь в Греции.

...дали воды.

Не отогреться.

От пустоты

не создали влаги

от пустоты

хорош даже лагерь.

Придумываю: за стеной цветёт акация.

Придумывай что хочешь, хоть полный карцер.

Можешь вспоминать

жизнь

с пелёнок,

греясь под солнцем

палёным.

Здесь «солнце» -

«лампочка Ильича» –

греет так,

что мёрзнет моча.

А дождь не в Греции -

на Литейном,

и он не плакал, а выл, как бейный бас

O

нас.

ДИЛЕММА

постричься?

или купить сигарет?

Постричься надо давно,

а курить - сейчас.

Длинные волосы усекают пространство глаз и – всё видимое –

не в цвет.

Ветер стрижёт с деревьев «рыжьё» и уносит.
Лежу на спине.
Рядом осень.

Деревья похожи на чёрные лапы курицы, пересекающей небо, как лужицу. Мозг самостоятельно кружится.

Жадно курится.

На «рупь» пять «Прим» и остаётся на молоко за вредность от чернухи снов, где в цвете лишь сигаретные колечки. Молоком единым питался Сергей Иванович Калмыков – «Гроссмейстер волнистых линий» – пока дистрофия не вытянула тело в тонкую прямую, стремящуюся в бесконечность.

Жысть!

Чётко рифмуется с криком «держись!»

или с жестью,

если - вместе.

Одно - глагол. Другое - существительное.

Такое без личное. Страдательное.

Порой обременительное.

Одно склоняется, другое ищет ответ на вопрос:

«Что делать?».

Голый лес. Ни одного листика.

Голый череп.

Бывший мозг заполняется мистикой.

иоте идп И

выкурена последняя сигарета.

КРАСНЫЕ КОНИ КАЛМЫКОВА

Я спешу рисовать только пальцы –

корявые сучья -

даже вижу их треск, даже слышу

как кожа тонка.

И ещё:

меня все

рисованью прилежному

учат.

Вечер.

Облака матовый блеск, сам собою – гротеск.

Я купаю коней

В

утонувшем

в палитре закате.

Облака всё черней.

Опасаюсь:

заката

не хватит.

ЗАЧАТИЕ ТИШИНЫ

Любимая, спи. Залив серебрится спиной

белорыбицы, балтийский рассвет, от прохлады

дрожа и кукожась, глядится в чешуйки залива, и в каждой полсолнышка видится, и ветер плывёт над водою,

дыша осторожно.

Но скоро сомкнутся две древних стихии, чтоб в схватке любовной родить тишину, и будут, вздымаясь, кричать их объятья тугие, пока,

налюбившись до дна,

не уснут...

ПЛАСТИЛИНОВОЕ

Сожму в комок

пригоршню строк -

всю жизнь свою

сожму -

и будет

просто бугорок,

ненужный никому.

А захочу и:

разожмусь

на тиражи и томики,

чтоб заманить побольше

муз,

распутных и пристойненьких.

Чтоб стали жён

сортировать

и расставлять друзей,

чтоб

даже детскую кровать

поволокли

в музей

И будут мне кричать «Виват!» – другие пластилины.

А после

стану виноват,

что жил я

слишком длинно.

Что я не умер

молодым

от пули

иль запоя,

и будет

грязь,

и будет дым,

и прочее такое.

Тогда

не лучше ли опять

собрать в один комок

весь пластилин

И

крепко сжать,

чтоб

ни тебя,

ни строк.



Сергей МИХАЙЛОВ

РИФМЫ ВДРУГ

Приходит друг и говорит: неправильно живёшь. И взгляд его горит, как финский нож.

Он водку пьёт одним глотком и чокается встык, и ходит кулачком его кадык,

когда смеётся он во весь прекраснодушный рот. Взрывоопасна смесь его острот

и терний. Полон счастья он, казня не по злобе – с избытком воплощён в самом себе.

Сетчатку жжёт его «житан», и как дарят добром – так правду режет он руки ребром.

А правда в том, что в доме ночь – попробуй доживи до света, если нож уже в крови.

ПРОРОК

– Любовь – это вспышка ненастной ночью в осеннем поле, это, допустим, не тяга, но всё же готовность к боли. Я же не собран и слишком привык к уюту, да и рыхлое сердце не вытянет новой смуты. – Он зашёл по-соседски за каким-то простым продуктом – и вдруг затрещал, как страхов моих репродуктор. То, со мною не сладив, душа призвала к себе пророка, чтобы осень встречать ей было не так одиноко.

Не переступит больше его нога моего порога!

раз уж я как есть вражина недовыдал трудодня ясноокая машина

мне бы всё бы тары-бары а она прижмёт в ночи на меня наставит фары как бинокли на оси

патрулирует меня

ей казённой не до жалоб знает слабые места не отбрешешься пожалуй коли совесть не чиста

совесть верно не копейка луч наставишь – не горит и как малая калека о пощаде говорит

ПОНЕДЕЛЬНИК

То ли это музыка, снег и темнота, То ли, пока не видно, изменили маршрут, Но только я очнулся в чужих местах, И под окна подступала, мельчая, жуть.

Заходили люди, и ни одного лица Мой зрачок как олух не мог поймать, Мерным воркотом звучали их голоса, Но ни слова, что услышал, я не мог понять.

Это была деревня какая-то, или что, Или городская неведомая черта. Водитель тормозил, юлил и дышал в пальто. Чего он крадётся? Дорога чиста.

Снега невидаль, что ли, страшила его. Или темнота, разъедавшая снег, как соль. Долго ехали, бросали свет широко. Вдруг река скользнула накатанной полосой.

Мы – за ней, наводнили гулом поля окрест. И наконец выруливаем к кольцу. А на кольце нас встречает медью живой оркестр, И у флейты слёзы катятся по лицу.

Сергей ПОГОНЯЕВ



Вот забор бетонный, некрашеный. Хоть за ним завод федеральный, Сам забор, не сказать, что страшный, Просто серый забор, нормальный.

Я, мужик, обросший грехами, Ничего не придумал лучше -Украшаю забор стихами, Открываю забору душу.

И беседую с ним о многом, О своем сокровенном даже. Но, конечно, не так как с Богом, Потому что забор подальше.

Предвкушая сей акт и млея, Я домой с нетерпением еду, Чтобы выбрать кисть покрупнее Да начать с забором беседу.

Жизнь устроена так мудро, Основательно и вечно, – После ночи будет утро. После дня случится вечер. Все незыблемо и просто – Ни загадок, ни секретов. У матросов нет вопросов. У поэтов нет ответов.

К чему былое ворошить? Пусть будет мутно и невнятно. Ведь жить сегодня так приятно – Гораздо лучше, чем не жить.

* *

Когда придет к тебе удача, А ты не рвался, не пыхтел, – Не верь себе, удача – сдача С твоих же помыслов и дел.

Когда растут в душе роптанья, Что тяжек крест, – не верь себе. Бог посылает испытанья, Согласно силам и судьбе.

Всё восполнимо, всё терпимо, Во всём есть смысл и Божья нить. Не все на свете объяснимо. Но все имеет место быть.

Мой друг всю жизнь предприниматель, По меркам Гейтца – небольшой. Мой друг романтик и мечтатель С неомраченною душой.

По жизни адскими кругами Ведет его злосчастный рок. Ему весьма везет с деньгами, А в остальном – избави Бог.

Он, как солдат – от битвы к битве, В атаку брошенный солдат. И нет пути его молитве, И нет ему пути назад.

Вы хотите парить в небесах? Завтра в ночь, в половине второго, Вам откроется тайное слово, Если только прогоните страх.

Завтра в ночь... Эта странная весть Пусть вам добрую службу сослужит. Дух парящий с рассудком не дружит – Это вы не забудьте учесть.

Завтра в ночь... Вы услышите гимн Состоящий из краткого слога. Дух, случайно коснувшийся Бога, Несомненно предстанет другим.

Он вспорхнет легкокрылым птенцом. Но уже – светоносный, нетленный, Устремившись навстречу вселенной С запрокинутым внутрь лицом.

Увидеть Бога может кто? Скажу: – Любой из нас. Увидеть Бога должен кто? Скажу, но не сейчас. А кто увидит Господа Вблизи, глаза в глаза? – Ну вы даете, господа, Так я вам и сказал.

РАЗГОВОР С МОЛОДОЙ ПОЭТЕССОЙ

Все мы скучные, деточка, Занятые, усталые. Мир поделен на клеточки – На большие и малые.

Кто большой – тому здорово. Кто поменьше – тем завидно. Мир поделен не поровну, Мир поделен неправедно.

А за правду за гольную Столько кровушки пролито... Мы ведь всем недовольные, Мы собою не поняты.

И людишки мы – слабые, Что творим, то не ведаем. Все стремимся за славою, Да гордимся победами.

Носим символ распятия И бежим от страдания. Миром правят понятия. В мире нет понимания.

Выбирайте же клеточку, Так, чтоб после не каяться – Ставки делайте, деточка. Жизнь уже начинается.

* * :

Большие, неопознанные мысли Туда-сюда снуют в моем мозгу. Я понимаю мысленно: – Немыслимо Остановить мыслительный разгул.

Они скользят туда, потом оттуда, А то вдруг повернут и встанут вспять. Я думаю, порой, что это чудо, Которое не можно опознать.

Я думаю, порой, но очень редко, И очень мало, и неглубоко. Так ветерком качаемая ветка Мечтает долететь до облаков.

За мыслями слежу, за их скольженьем. Хоть вместе с ними в вихре закружись. Мне мысли не важны, важно движенье. Ведь всякое движенье – это жизнь.

А мысли все снуют, бегут и скачут. Пусть их не опознать, я не про то. Я жив еще, а это много значит. Возможно, даже больше, чем ничто.

Игорю Круглову в Год пятидесятилетия нашей дружбы

Спешат года, года летят. Отцов своих мы пережили, Великого не совершили, Но дружбе нашей – пятьдесят.

А жизнь слагалась кое-как. Но Бог не выдал, – и сложилась. Упала, звякнув, Божья милость, Как в кепку нищего – пятак.

И звук рванулся из нужды Через неясность побуждений, Сквозь необдуманность решений, И неосознанность беды.

И вырос звук в закон, в завет, Великий и простой по мысли, Что в жизни – два реальных смысла – Добро и свет, добро и свет.

Покуда жив завет в душе, Идем на свет и света ищем. Знать потому у нас, дружище, Затылки светятся уже.

Кто-то ищет счастья в море, Кто-то пишет на заборе, Кто-то пашет, кто-то пьет, -Всяк по-своему живет.

* * *

Как умеют, так живут – Грешник, праведник и плут – Все пройдут свою дорогу. Жизнь, как жизнь. И слава Богу.

Вечны жизни устои: Хоть пиши, хоть пляши,-Всяко дело – пустое, Если нет в нём души.

* *

Нету истины в споре – Всё тщета да лубок. А стихи на заборе Поедает грибок.

Так печально и грустно Век течёт, как вода. Жить возможно искусно, Но, увы, не всегда.

Где те верные тропки, Без которых нельзя? А поднимем-ка стопки, Дорогие друзья.



Ушли, чтобы вернуться

Время – категория безжалостная, жёсткая – забрало в своё «навсегда», но не оторвало от наших сердец голос стиха Владимира Ивановича Фирсова. Негромкий, доверительный, родной.

«Я не буду учить вас писать стихи, – говорил Владимир Иванович нам, студентам его творческого семинара литинститута. – Учитесь друг у друга. Учитесь у земли». Не знаю, чему научились мы, но поэзия Фирсова – поэзия Земли... Поэзия Родины, со всеми её горестями и радостями, обретениями и утратами, иногда со слезой, притаившейся за сухой графикой слов. Но

никогда, ни в одной строке нет равнодушия.

Однажды Владимир Иванович читал свою поэму «Соловьиная ночь» в доме у Шолохова. Михаил Александрович, дослушав, глубоко затянулся папиросой и выдохнул, обращаясь к своей супруге: «Вот что такое поэзия. А мне пришлось бы целый роман писать».

Московский холодный ноябрь. Мы провожали Владимира Ивановича Фирсова в его *навсегда...* Но стихи с нами. Настоящая, большая Поэзия.

Геннадий Юшко

Владимир Иванович ФИРСОВ (1937–2011)

ПИДЖАК

Жизнь состояла из отрезков. И был в одном из них Пиджак, Что в дни войны в родном Смоленске Мне отдала вдова за так.

На переполненном вокзале Она сидела у огня И неизбывными глазами Глядела с грустью на меня.

Пилотки и платки рябили. Вокруг — узлы и костыли. В старинной песне о рябине Вдруг всколыхнулась боль земли.

Ее под сводами вокзала Носило эхо черных дней...

Я пел Для женщины С глазами Осиротевших матерей.

Когда же я закончил песню, Она вздохнула горячо И тихо так — со всеми вместе — Сказала: «Спой, сынок, ещё...»

Я пел.

Я знал, что души тронет. И верил сам в минуты те, Что вот умру — и похоронят, Да только неизвестно где.

Я пел и видел, Как в печали Слёз не скрывали старики. И лишь глаза вдовы молчали, Как замершие родники.

А после
Я сидел у печки.
И рядышком была она.
И всё шептала мне:
– Сердечный!
Ишь как умаяла война...

И сквозь меня, сквозь даль глядела, Достав залатанный пиджак... – Смотри, сынок. Продать хотела, Да, знать, судьба — отдать за так...

Я, не нуждаясь в уговорах, Надел его без суеты.
- Ну, так и знала, будет впору, Ведь мой такой же был, как ты...

И пусть сегодня дни иные, Пусть годы горя вдалеке, Себя я чувствую И ныне В том самом, вдовьем пиджаке.

И я пою, Как на вокзале, Как в дни беды страны моей, Для этой женщины С глазами осиротевших матерей.

Она во мне признала сына... И в наши дни – Пред ней в долгу – Я без неё Судьбу России Уже представить не могу!

СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ

Детям моим и внукам посвящаю

Опять озвучены осины, Кусты черемух и ручьи. Опять, опять по всей России Поют ночами соловьи.

Они поют не по привычке, Не по нужде в конце концов! Их песня — Это перекличка Домой вернувшихся певцов.

- Я тут! Я тут! Один выводит.
- И я! И я! И я! И я!.. А сколько горестных мелодий В обычной песне соловья!

В ней боль за тех, кто не осилил Дорогу в отчие края... Вот почему всегда в России С тревогой ждали соловья.

Нелёгок путь к ольхе знакомой, К раките старой и к реке... И в сапогах, Что в праздник даже И то не всякий раз носил. И замирает, как на страже, Тревожно вслушиваясь в синь. Он слышит, как роняют почки Едва-едва приметный звон. И бабка рядом с ним — В платочке Далеких свадебных времен.

Дед напряжён. Почти не дышит. Не видит неба и земли.

Он только чутким ухом слышит, Как соловьи бурлят вдали.

И вдруг поблизости Невольно, Как бы случайно: «Чок» да «чок». И усмехнулся дед, довольный, И торнул бабку за бочок.

Гляди-ка, наш-то отозвался.
 Выходит, перезимовал...
 А соловей вовсю старался,
 Не слыша искренних похвал.

Он пел. И с этой песней древней. Такой знакомой и родной, Сливались поле, лес, деревня, Уже живущие весной.

Пел соловей светло, знакомо. И дед негромко, не спеша Сказал:

– Ну вот, теперь все дома, Кажись, оттаяла душа...

Он шёл деревней вдоль дороги, Был крепок шаг, но не тяжёл. И бабка маялась в тревоге:

– Кабы до девок не пошел.

Сидела старая у дома, К сухим глазам прижав ладонь. А дед принёс огонь черёмух, Пускай не яркий, но — огонь.

И в мире не было милее Той соловьиной высоты. И старая, от счастья млея, Уткнулась в мокрые цветы.

Всё было так и не иначе. В тиши тонули голоса:

– Да ты, никак, старуха, плачешь?

– Да что ты, старый, то ж роса...

Дремали на коленях руки. И сладко думалось о том, Что вот и дети есть, и внуки, И соловей вернулся в дом.

Но всё не вечно в мире этом, Что говорить, закон таков. Роса с черёмуховых веток Оплакивает стариков.

Но вновь озвучены осины, Кусты черёмух и ручьи! Опять, опять по всей России Поют ночами соловьи.

И мы — в который раз! — с любимой Уходим с дедова крыльца, Чтоб в море голубого дыма Услышать прежнего певца.

(Он так, бывало, рассыпался! Аж закипал черемух вал.)

Но соловей Не отозвался. Видать, не перезимовал.

1972

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Дуб, На поляну рухнувший, Горел! По рукоять в нем молния торчала. И, как ни странно, Всё вокруг молчало, Никто о смерти той не сожалел. Светило солнце празднично в лесу, Весёлые березы зеленели. И птицы вдруг раздольно зазвенели, Всей силой славя Вешнюю грозу! Звучал природы праздничный хорал, Во все века Одной лишь ей послушный. Была ль природа Так же равнодушна, Когда Последний мамонт умирал?

РУССКАЯ РУЛЕТКА

Судьбой балованный нередко, Не ведал промаха наган... Вращайся, русская рулетка, Один патрон — на барабан.

Молчишь, Уставший от погони, Погони за самим собой. Белы, как снег, твои погоны, В боях добытые тобой.

Не жаждешь ты за око — око. Теплеет сталь в твоей руке. И всё, что было, так далёко, А всё, что будет — на курке.

В зрачках загробная отметка, Таков удел судьбою дан... Вращайся, русская рулетка, Один патрон — на барабан!

Синь васильковая России Поразлилась в глазах твоих. И замер коршун в небе синем, И ветер родины затих.

Во рту слюна давно прогоркла. Хоть смерть в твоих глазах видна, Ты свято веришь в поговорку, Что на миру И смерть красна.

Но нет удачи. Вновь осечка. Впустую клюнул твой курок. Знать, нет на родине местечка, Где б упокоиться ты мог.

И снова надо жить Со стоном, С душой, уставшею от ран... Но грянет день! — Все шесть патронов Внедришь ты в грузный барабан.

Твои друзья
Тебя оплачут
И, схоронив в родной земле,
Отчалят в поисках удачи
На чужеземном корабле.

* * :

Ты, осуждая, говоришь порой, Что о любви пишу прискорбно мало. А ведь писал. Писал и я, бывало, О том, чего и не было со мной.

Не знал любви, но было много слов. И так легко писалось, словно пелось. А вот сегодня наступила зрелость. И есть любовь, да нет о ней стихов.

Но знай, я о любви не промолчу. И в том, что нет о ней стихов, Не каюсь. Как некогда писал, Так не хочу. А как хочу, Так не могу покамест.

И осуждать меня не торопись. У слов любви нелегкая дорога. Они ещё на свет не родились, Их даже в русском языке Немного.



«ЕГО САРКАЗМ БЫЛ ТИХИМ И ОПАСНЫМ...

Мы прилетели в город Шевченко на Мангышлаке. Я из Алма-Аты, Лев Щеглов – из Москвы. Было такое учреждение при Союзе писателей – Бюро пропаганды – по путёвкам которого литераторы (в основном, члены СП) выезжали на встречи с читателями на заводы, стройки, буровые, в совхозы и прочие трамвайно-троллейбусные парки по городам и весям необъятной родины «победившего социализма». Конечно, в итоге он победил сам себя, так и не наступив до сих пор.

Но тогда был 1978-й год, десять лет прошло, как в Праге успешно защитили танками этот самый социализм, тунеядцев и прочих отщепенцев рассортировывали кого за сотый километр от столицы, кого в ссылку под Архангельск или вовсе за рубеж всеобщего счастья, а кого и в Мордовию на лесоповалы – «широка страна моя родная» и делянок для рабов не счесть...

И всё же власть, как всегда бывало и будет, дряхлела, а человек обретал достоинство и понимание невозможности «светлого будущего» во лжи и дозированной мысли. Мысли, а с ними и сомнение в этом самом грядущем благоденствии, растекались по кухням в анекдотах, звучали в песнях Высоцкого, Галича, Окуджавы, Висбора, наполняли кислородом души чистотой поэзии Беллы Ахмадулиной, Новеллы Матвеевой, горечью стихов поэтов-фронтовиков, заставляли взглянуть на жизнь

глазами писателей-«деревенщиков» Фёдора Абрамова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина... многих, чьё слово, совесть и талант прорывали усталую плотину цензуры. И был читатель. Или – слушатель. Уже отзывчивый на боль, уже внимательный к собственной жизни. Его, читателя-слушателя, алкающего талантливого и честного слова, было значительно больше, нежели писателей. И читатель этот умел слышать между строк, умел проецировать боль и надежду – на себя...

Вот в это время на Мангышлаке, в заполненном почти тысячеместном зале Дворца нефтяников мы встретились с поэтом Львом Щегловым. У меня только что вышла книга «Вожаки», но говорил я не о ней, а о значимости слова, о месте человека в природе и его самоубийственном варварстве. А Лев, уже издавший несколько книг, печатавшийся на 16-й полосе «Литературки» («12 стульев») был маститым поэтом, да и выглядел, как истый поэт: большой, широкоплечий, с огромным лбом и дремучей бородой, у него и голос слышался набатным даже без микрофона. И, естественно, у зала, заполненного геологами, нефтяниками, строителями, монтажниками, придерживалось дыхание, когда он читал:

> Нажимай на педали, Жми в бескрайнюю даль – Там тебя, в этой дали, Ожидает медаль.

Если ноги устали, Лбом педали бодай. Остальное – детали, Остальное – педаль!

Позже - встречи в подвальчике «Дна» ЦДЛа на Герцена (теперь Б. Никитская), где Льва, как и многих хороших и безденежных писателей можно было увидеть в любое время дня от «захода до заката». Здесь, на фоне исписано-изрисованной автографами живых и ушедших знаменитостей стены, встречались, спорили, дрались и мирились московские и наезжие литераторы. Здесь всегда кто-то кому-то наливал, а у доброй и всех знающей Люси в буфете можно было взять в долг графин водки, под запись, и продолжить слушать стихи. Именитые приходили в сопровождении только что открытого длинноногого таланта, студенты литинститута потихоньку обихаживали мэтров и редакторов, никого не смущал ни дым, ни споры, ни жёсткие строки стихов, ни «абсцентная» лексика... «Когда б вы знали из какого сора...»

Это часто слышится, Видно, правда в этом: "Пишется, как дышится На земле поэтам!". Множество услышится Истин в этой фразе. Пишется – как дышится! Но в противогазе.

Лев приезжал В Алма-Ату, жил подолгу, переводил очень много местных классиков и просто хороших поэтов. Его стихи вызывали не только смех, но колыхали разум и будили самосознание и необходимость перемен. Он, как и все мы дождался их, перемен жизни. Но – каких?.. Увы, как бы не пришлось сызнова доставать тот противогаз...

Вяч. К.

Лев Сергеевич ЩЕГЛОВ (1932-1996)

Историки снова и снова соврут В угоду текущим царям, И кем по их ведомству числится Брут, Следите по календарям.

Но сквозь наслоенья столетий и эр, Чтоб лучше представить момент, Был заслан в Элладу лазутчик Гомер – Грядущего тайный агент.

На всех континентах, во все времена Резцом, топором и пером Трудились агенты. Мы их письмена Как спецдонесенья берем.

А кто бы без их сообщений до нас О времени правду донес? И каждая строчка поэта – донос, И каждая фреска – донос.

*

Я ощущаю ход истории, Как ощущают ход трамвая, С ее колес тугими стонами, С ее моторов завыванием. На повороте взвизгнет рельсами И пассажиров накренит, А рядом кто-то в тумбу врезался, Расплющив фары о гранит. Там сигарету бросят в сторону И даже плюнут на нее, А это все уже история И достояние ее. Потом найдут записки личные – Пустопорожность беглых строк, Но их владельцы возвеличатся Как представители эпох. И никуда уже не денешься, И каждый шаг запечатлен -Упала из кармана денежка И закатилась в даль времен. Какая страшная ответственность За каждый слог, за каждый взмах! Неистребимы, как наследственность, Следы в гранитах и умах.

ХРАМ ИОАННА

Николаю Тихонову

Иван Васильич круто правил, И все опричники его Иных не признавали правил Опричь указа Самого.

Но все сотрется под ногами Прошедших лет, минувших дат, И будет свят он перед нами И перед вами будет свят.

И будет на Руси крещеной Холоп в изодранных ноздрях Всю жизнь гундосить восхищенно Нам про великого царя.

Забудет люд о боли лютой, Забудут задницы про кнут,

И где-то разве что Малюту Недобрым словом помянут.

А царь есть царь! Нельзя холопу Постичь, что ведомо царю: Для устрашения Европы, Быть может, рвали ту ноздрю!

Быть может, на крови замешанный, Прочнее будет Божий храм... ... А царь мудрец или помешанный, Судить не нам, рядить не вам.

Холопьи слезы быстро смоются, Сгниют безвестные гробы. И в храме том смиренно молятся К плетям привыкшие рабы.

СТУК

Стучатся в дом, Стучатся в дом, Стучат прикладом И перстом, И переходит, наконец, Тот стук В биение сердец. В стук вещи, Выпавшей из рук, И в вещий Маятника стук. И в стук по крыше Дождевой, И в стук по крышке Гробовой. И в вашу дверь Раздастся вдруг Всему предшествующий Стук.

У ОДНОГО КОСТРА

Давай присядем, гражданин конвойный, Сними с плеча тяжелый карабин, Давай с тобой поговорим спокойно, Давай с тобой за жизнь поговорим.

Мы столько лет с тобой ходили рядом! Ты был сытей и был теплей одет, Но жил у той же лагерной ограды, И в той же тундре твой затерян след.

Нам в лица дул один и тот же ветер, Один мороз нам леденил язык, Быть может, ты, конвойный, мне ответишь: Чего добился ты, чего достиг?

Не трусь, конвойный, мы свои же люди, У одного костра мы обожглись... Пускай нам общим памятником будет Построенный в боях социализм.

Вода? Я пил ее однажды, Она не утоляет жажды. Омар Хайам.

При спешке не спасает скорость, От жадности не лечит корысть, При лени не поможет спячка, При пьянстве – белая горячка. При нищете – обогащенье, При суете – коловращенье. Не выручат прямые средства. Спасенье где-то по соседству.

Отними хромоту у Байрона, И, быть может, его рука Неожиданно захромала бы И корявой была б строка.

Отними глухоту Бетховена, И не так бы тогда звучал Мир, в безмолвие похороненный У начала своих начал.

Отними темнокожесть Пушкина И безденежье Бальзака, И чего-то будет пропущено, И беднее станут века.

Изваянья поправить можно бы, Но художник уже не тот... Не касайтесь судьбы художника, Ни уродств его, ни красот.

Подумаем о черных тараканах. Они не то что некий там пруссак, Они щелей не любят иностранных И только в наших водятся пазах.

Наш таракан из всех членистоногих Всех боле членист и всех боле ног. И без того он тараканил многих, И больше бы протараканить смог.

И что б там иноверцы не кричали, Но я стою, сижу, лежу на том: Наш таракан был таракан вначале, Другие стараканились потом!

ИСТИНА

Не существует в мире лжи: Все только правда, только правда - И чучела, и муляжи, И колдуны и костоправы. И даже лжепророк не лжет, Правдив предельно лжесвидетель, И лжеогонь ладони жжет, От лжелюбви родятся дети. Идут, завидев миражи, Чтоб в них погибнуть, караваны... Не существует в мире лжи, И полны истины обманы.

А ведь когда-нибудь дойдёт до дела Всё, что в словах копилось не спеша. И в глубине бесчувственного тела Взбунтует возмущённая душа.

В груди взовьётся яростная кобра И зазмеятся молнии, слепя, Я обопрусь о собственные рёбра И выскочу из самого себя.



Валентин ЗОРИН

Валентин Зорин (1930–2003) был одним из тех, кто стоял у истоков Калининградского ПЕН-центра.

Судьба любого человека, а художника – тем более, всегда сложна, а жизнь Валентина Зорина, родившегося в Ленинграде, была изначально осложнена, словно испытывая талант на выживание: его отец, работавший в Смольном, был репрессирован в 1934 году – «без права переписки». Мальчишка пережил блокаду, был вывезен из истощенного города и вылечен от дистрофии в Ставропольском крае. А в пятнадцать лет поступил в школу юнг Черноморского флота, по окончанию которой работал на кораблях ЧФ матросом, машинистом, мотористом, позже служил в ВВС механиком.

А рука требовала пера... Через журналистику (вовремя, кстати, оставленную) Валентин вошёл в литерату-

ру. Феноменальная память дополнила недобранное образование. Талант его был очень широкого диапазона: рассказы, повести, стихи, публицистика, исторические романы, переводы...

В сразу ставшей популярной серии издательства «Янтарный сказ» «Тайны старого города» выходят его историкоприключенческие романы «Корона отступника», «Телохранитель королевы». Книга «Печать Великого магистра» вышла уже после его ухода.

26 книг – само количество говорит об осуществлённости и востребованности. Валентин Зорин, словно оправдывая фамилию, щедро и легко раздавал весь свой жизненный опыт, свой талант и душу, его появление всегда несло с собой добрую улыбку и заставляло мыслить... Ещё накануне Нового года, уже словно предвидя свой уход, он пишет собратьям по творчеству:

НОВОГОДНЕЕ ПОСЛАНИЕ К СТОЛУ

О, братья славные по цеху! Вам – эти честные слова: не станет в этом вам помехой в хмельном круженьи голова! Вы все на годик старше стали, но, это, верю, не предел. А я – в бесхмелье и в астрале, и, как в СИЗО, надолго сел! Под звездами ничто не ново. И вот, свершив круговорот, судьба Василия Кочнова

меня, вполне возможно, ждет! Алмазы требуют огранки – уменья надобно и сил... смешно признаться: лишь по пьянке я все ошибки совершил! Спасла, наверное, натура, и в горе не неся вреда единственно, литературе не изменял я никогда! И самый верный в жизни тезис: конечно, водка не вода... желаю: пейте, сколько влезет, но не спивайтесь, господа! Я – не мудрее, хоть и старше, люблю погреться у огня, но праздник, ставший общим нашим чего-то холодит меня... и сходимся-то в кои веки, и то в расчете на бакшиш... но динозавр на дискотеке не запоет: «Шумел камыш»! Бог видит: мне сейчас неловко, но стисну душу в кулаке я ж помню: Снегов на тусовках сидел тихонько в уголке... мы только собственные роли играем: он, и ты, и я, мне кажется, что за застольем сидят все прежние друзья... За окнами январский ветер, а утром будут сниться сны... и нет ни зависти, ни сплетен, и все по сути мы равны! У каждого талант огромный, и в каждом собственная стать... так вот: за это тост безмолвный Я с вами и готов поднять!

29.12.2002

16 января 2003 года Валентин Зорин ушёл в Вечность...



Сэм СИМКИН

Два года, как нет с нами Сэма, его улыбки, его вовремя сказанного слова, его внимания молодым талантам, которым отдал сорок лет своей яркой жизни. В эти дни мы отмечали бы его 75-летие, увы, приходится делать это без него...

Делюсь я с вами по пути Своим весёлым сердцем!

Это восклицание Сэма как ничто характеризует его натуру и отношение к жизни: щедрость таланта, умение восторгаться, порой даже чрезмерно, малейшей искоркой чужого таланта. Большая работоспособность при кажущейся лёгкости, многогранности интересов

и разбросанности привычек, выдала «на гора» не только книги добротных стихов, но и открыла ещё один талант - переводчика. И Сэм этим справедливо гордился: он вернул даже немцам многих забытых кёнигсбергских поэтов. Антология восточно-прусской поэзии «Свет ты мой единственный...», вышедшая на немецком и русском языках, открыла дорогу целой серии книг стихов, сборников легенд и народных песен. Эта серия приблизила российского читателя к духовной истории и культуре края, помогая перекинуть мосты в прошлое и подтверждая неразрывность культурного пространства...

Какой комфорт -

мешок мой односпальный,

мой кубрик,

мой кочующий блиндаж!

Но что не сделаешь,

что не отдашь,

когда в душе -

разлуки след печальный,

когда застыл походный календарь,

иты

сквозь наслоения столетий,

как лебедь,

умирающий в балете,

как листик,

замурованный в янтарь?

1960 г.

+ * *

Как будто танцевать от печки, – писать стихи. Так было встарь. Так сумасшедший голосит глухарь во время предвесенней течки. Так у меня ломался голос в эпоху полного застолья, не лучше ль умереть мне стоя, чем на коленях жить?

Я сто раз

корил себя, но слышу, в дверь стучится то ль домашний зверь, то ли волшебный почтальон, принёсший мне благую весть, покой, достоинство и честь, и успокаивает совесть. Так растворяет в горле ком с небес свалившаяся новость. Так начинают жить стихом.

Круговорот любви в природе... На ум приходит мне сей слоган, распространённейший в народе: «Поэты - это дети Бога...» Я сам пляшу под Божью дудку свою излюбленную польку, неподчинённую рассудку, а только сердцу, сердцу только, мол, нам не страшен серый волк, а рассудок отдыхает, ноги откалывают «Три поросёнка», пускаюсь сам я в пляс, поскольку «Поэты – это дети Бога...»

Свет мой единственный, в трудах возникший... В книге Э.Т.А. Гофман, Гердер, Дах, Бобровский, Мигель.

Включил в ту книгу заодно стихи я Канта, как будто белое пятно я стёр на карте, в чём я теперь на языке оригинала и подписуюсь: Simkin Sem, весёлый малый.

Совесть и душевное здоровье – Всё произошло от мудрой Софьи и прекрасных дочерей её.

* * *

Вконец

раздасадованы,

ломаем копья

до сих пор:

кто ж были муж

да их отец?

Я войду в садовую калитку и останусь с ним наедине, с ароматным садом,

маргаритки снова с клумбы закивают мне, так «головками склоняя ниже», как писал поэт

Сергей Есенин.

Не нужны мне

«лондоны-парижи» А мне нужен этот сад осенний, где цветы роняют лепесточки и роняют жёлуди дубы, где однажды я поставлю точку в книжице стихов своей судьбы.

У нас в гостях

Альфонсас Йонас НАВИЦКАС

ЦИКЛ О КРИСТИЙОНАСЕ ДОНЕЛАЙТИСЕ 1714 - 2014

1. В ОЖИДАНИИ ДОНЕЛАЙТИСА

Опалил слова и лица Нестерпимый вечный зной Ничему не позабыться В быстротечности речной

Без поэта нет нам жизни Миром правят страх и срам Нет и подлинной отчизны Нашим бедам и трудам

Нет поэта – нет и храма Возле нас и выше нас Только бездна, прорва, яма Смрад и мрак у самых глаз

Вознесла тогда младенца К небу Пруссия сперва. Никуда уже не деться Пробудись и ты, Литва

2. В ТОЛЬМИНКЕМИСЕ

І. У ДОНЕЛАЙТИСА

Солнце тает вблизи горизонта. Друг Донелайтиса отворяет двери И уходит тропой, проторённой веками. Он видел много исписанных бумажных Листов с перечислением празднеств, и чёрных работ, И даров. И ударов от вахмистра

ІІ. ОКОНЧАНИЕ ДНЯ

Чёрный вечерний покров Прикрыл Жгучее Солнце. Но Ещё длится день За дверями храма. Птица его провожает Призывом: "Эй! Донелайтис!"

ІІІ. ОГОНЁК

Вот уже и полумесяц на пороге. Огонёчек. Он к столу вернулся. Где когда-то создавались Времена Года.

IV. ТЕНИ

Тени, когда-то брошенные на просёлок, Тесно сплотились Вокруг Донелайтиса и его собора: Оберегают они теперь этот край.

3. ПРУССКИЙ БОР

Он был покойно благороден – по-оленьи, Густые ветви Плыли над землёй. Немногие таинственные птицы И путевые борозды, – Оберегали этот сокровенный мир.

И муравейники сторожевые, И белки зоркие В дозоре не дремали. По жилистым стволам текли дожди, Началом бытия Казалась эта пуща.

По серой слякоти, по бездорожью Она и ныне движется к зиме.

А по весне, вослед за новым поколеньем, Она в зелёной пене воскресает. И вновь она ровесница и ровня Поэту Донелайтису в веках!

4. ВЕСЕННЕЕ ПИСЬМО ИЗ ПРУССИИ

Дождь на оконном стекле выводит свои золотые сплетни И я уплываю всё глубже – цветок что зелёный парус Трава по окопам ползёт к войне – хорошо ещё, если к последней – От лачуги, неведомо чьей – будто ты давешний пан или бурас

Птиц бы теперь послушать среди тишины отрадной И юных рыбин морских увидеть побольше А парусник удаляется по морю он высокий такой и ладный Нам бы такой же

Все читайте это письмо, в малости слабой и мощной славе Моё ли посланье вам или строки дождя – всё едино Время теперь такое что позабыться не вправе Ни Времена Донелайтиса, ни Нрав упорный Жмудина

5. ВРЕМЕНА ДОНЕЛАЙТИСА

Весь Тольминкемис во мраке – Вороньё повисло в небе. Всюду карканье и драки... Донелайтис был бы в гневе!..

Но – написана поэма, Лист к листу в столе прильнули. Жить уже не смогут немо Те, кого кляли и гнули.

Радости весны – всесильны, Тяжки летние работы, Блага осени обильны, Зримы зимние заботы...

Смотрят пристально и строго Со страниц былинной были. Донелайтис – вот дорога! Были Времена. Не сплыли!

2011.12.30

ПАРАЛЛЕЛИ ______ декабрь 2012

ЭПИЛОГ 1765-1775 ГОДАМ

Вот я иду по Литве, по зелёному краю, Выстрадав жизнь – и себя, и безвестного хлебороба. Ещё и не рождены слова, я только их подбираю, Но гекзаметр много сильней, чем смерть и хвороба.

Берите мои «Времена», любовно читайте и чтите, И вам ответит земля в извечной своей заботе. Пусть она умягчает зачерствелые души; а вы целите Ваши сердца и мысли, и Новую жизнь призовёте!

2012.01.02

Перевёл Георгий Ефремов

Антанас ШИМКУС

Из цикла «Сезон окончен»

КОГДА ПОЭТУ НЕ СПИТСЯ...

Марюсу

Он написал трясущейся рукой, Что, мол, Во преисподней не закончился сезон И ему Иль быть, или пропасть – едино всё. "Нет,- Написал он,- правды. И правда В том."

МЕЖДУ Тадасу

Между "божебоже" и "богпоможет", Между абсурдом и нищетой Высовывается будто тёплый кошачий язычок, Словно листочек книги премудрого, Нечто неуловимо-лёгкое, Может, мыльные пузыри над железной дорогой, Может, отражение пруда в облаках – Не поймёшь, но хорошо так, Жить никак.

ПО СЛУЧАЮ СКРОМНОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ или вечер 27 января 2003 (in memoriam)

ВОЛКУ

Охотно вопросил бы самого себя, что делаю в этом мире. Что делаю. Однако, что с того. Что.

На улице дождь. На улице дождь. Дождь.

Подошли двое. Двое подошли.

У одного выше кисти татуировка. Крест.

У другого почти все зубы выбиты. Улыбается.

Требовали денег. Требовали. Не просили.

Отвечал я: найдёшь - твои, если свои найдёшь.

Отвечал я. И сам улыбаюсь.

Мне завтра в дорогу, говорю, путь ждёт. И ещё дождь на улице. На улице дождь. Дождь.

Охотно вопросил бы тебя, что делаешь в этом мире. Что делаешь. Даже, если у тебя выше кисти татуировка. Даже, если чего-то весьма не хватает. Даже, если ходите вдвоём. С выломанной улыбкой. Крест. Позвал бы тебя в путь. В дорогу. По миру. Что с того, ты б ответил. Я б улыбался.

Если знал бы хоть что. Хоть что если бы знал. Сказал бы, что твоё. Если найдёшь, что твоё. Этот дождь на улице, этот крест, дорога. А ты, если знал бы, знал бы если что, Спросил бы ты меня, что делаю в этом мире. Что? ---

Девушке, которая вечерами заказывает стихи у личностей не особо пристойной репутации

Наикрасивейшее стихотворение девушке, наверное, вовсе не стихотворение. Вовсе не стихотворение. И знаю ли я, что для неё красивее? Возможно, та ночь, та ноченька. Когда в комнате воскресенье и за окном Тьма и мягкий туман.

Красивейшие слова девушке говорят отнюдь не поэты. И даже не мужчины. Красивейшие слова девушке говорит в комнате воскресенье, тьма за окном И мягкий-мягкий поцелуй. Впрочем, не мне знать, что для неё красивее. Не мне её губы, влага глаз и всё, о чём запрещено даже писать,

Поскольку красивейшее девушке – далеко не стихотворение.

Что девушке красивее, что для неё красивее, что ей...

Не знаю и хочу ли знать, знаю ли,
Вот потому, наверное, в комнате воскресенье, когда тьма да тьма Да тьма за окном. Когда мягкий поцелуй, когда туман, когда она...

Тогда понимаю, тогда чувствую.--Ведь красивейшее девушке – вовсе не стихотворение.

Вероятно.

СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ

Колыбельная ad se ipsum

Война закончилась. С упавшею звездой Идёт история по кругу. Снова пала Троя. Вновь плачет на плече прекрасная Елена. Прекрасная моя, но не со мною, Прекрасная моя.

И все пути должны вести домой, Пусть мёртвого, через корчмы и дождь холодный, Но что с того, моя Елена, что с того. Коль не моя ты, все пути мои пусты, Все в никуда.

Ведь те, кто молвил,- что война из-за тебя,- Меня убили. И твои красоты уничтожат – (Им тень нужна, ведь сами в Гадесе такие, Им тень нужна, ведь потому и лгут тебе безбожно.) Я ж лишь люблю.

Люблю лишь я и лишь тебя, Пускай проиграна война, Да будет вечно проклят тот, Кто на тебя, Елена, Трою променял, Прекрасная моя.

СЕЗОН ОКОНЧЕН

Сезон окончен, Шлюх вывозят сутенёры, Пакуют жёны в чемоданы мужей рогатых, Пустота портмоне туристов Уже свидетельствует, что местные капиталисты сыты.

Сезон окончен, Лишь ветер пытается последних бабочек Обратить вчерашними листами календаря: Однако, для чудес годна пустыня – Порядочным буржуа не нужен курортный беспорядок.

Сезон окончен, Одиночество объяло улочки, Укрылись тенями бары, павильончики да скверы. Домой вернётесь. Здесь останется лишь пустошь К распространению поэзии. Бал кончен, господа и дамы.

В КНИЖНОМ ЭУРИКЕ

Мелодии тату, винила рифли, Слова и чай, ванильный запах, Как за окном над старым градом дождь Меланхолично шепчет вновь... Монмартр

Из Амелии, будто книги – с полок, Спасенья ищут в ящиках-коробках. Всё льёт? Да, льёт. Серебряною нитью. Что нового? Увы. Обычно тянутся слова,

Как электронное письмо без букв заглавных В сети огромной встретив адресата... И значит, что ничто в веках не изменилось. День будто дар – и так, сквозь поколенья, –

Ваниль, винила рифли и Монмартр.

ВКОНЕЦ СОСТАРИЛСЯ

Ветра длани младше стали к полноте луны.

Словно душеньки малышки времени и тьмы.

Тень их скрылась удалилась из песни песней строк.

Год за годом, Год за годом одинок.

Перевод с литовского Clandestinus



Марцелиюс МАРТИНАЙТИС

ПОЭТ С ЧЁРНЫМ НИМБОМ

Поэт имеет право быть взятым под стражу, Также быть обвинённым В богосмесительстве, куриной слепоте, попрании невинности.

Поэт имеет право на молчание, Как с приближеньем чумы молчат над землёй раскалённые звёзды.

Поэт имеет право Не иметь никаких прав – ему, Ему самому даны права оправдывать Других.

Поэт имеет право уйти, Чтобы, уйдя, навеки достаться Родине.

Поэта точат его собственные слова Как короеды порог, Что топчут прохожие.

Поэт понимает более, чем другие – Или не понимает того, Что понимает каждый.

Поэта пугаются те, Кого он любил, Не дождавшись ответа.

Поэт имеет право быть ими убитым – Его целует тот, Кто вскоре предаст.

Спят те, кто будут его апостолами, Спит народ, когда поэт Истекает кровавым потом.

Смерть поэта бывает его триумфом: Его, уходящего, немедленно признают.

Там, где прошёл поэт, Остаётся портал, Открытый в Жизнь.

ФОТОГРАФИЯ: КОСУЛИ У ШОССЕ

В лесу, на окраине шоссе, у дороги косули.

Достоинство, сознание своей необходимости, красиво выгнутые спины. Взгляд презрителен.

Им известно всё, что по ту сторону канавы: Это пространство не принадлежит людям. Мы там – оккупанты: охотимся на их сестёр и братьев, рубим деревья, оставляем свалки.

Косули не перешагивают дороги – линии, разделяющей два мира: человека и природу. Время и вечность.

Большие глаза – такие у богородиц. Им ни во что не надо верить: Они сами – то, Во что ещё верится.

На шоссе, закрыв автомобиль, в нескольких шагах по ту сторону линии, ещё можно оставить сей век...

СЕМЕЙНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ, НАЙДЕННЫЙ НА СВАЛКЕ

Свадебная фотография. С новорождённым. Первые шаги. Это – девочка. Несколько подросшая. Белое, до земли, платьице. С цветами. Конфирмация. Епископ¹. Всё та же – Уже подросток, некрасивая, с длинными ногами.

Обучение играть на пианино. Уроки балета. Скрипка. Прижатая подбородком. Неразвитые груди. Мгновенный девичий расцвет. Нежная Шея. Внимательный взгляд. Глаза! Несколько ретушировано. Мужчина, твёрдый воротничок. У алтаря, в повойнике.

Всё та же. Пара с новорождённым. Вырвано. Взрослая, уже пожилая. С мальчиком. С девчушкой, у поезда. Школьная виньетка. Строй девочек. С луками напротив трибуны. Вырвано. Мужчина с гармонью. Погоны. Тесное помещение, свадьба.

Всё меняется. Северное небо. Бараки. Всё та же. Другой мужчина. Лесная просека. Вырвано. Штабеля брёвен. Вагон. Женский хор. Тёмные, плохо проявленные фотографии. Сын в униформе. Строй солдат. Свежая могила.

Вырвано. Женщины. Всё та же – и помоложе, дочь. Другой мужчина. Дети у ёлки. На веранде. Вырвано. У автомобиля. В дюнах. Другой мужчина. Вырвано. Первые цветные фотографии. Двое пожилых. Над ними – Настенные часы, календарь, фотография в рамке.

Вырвано. Старушка, в тёмной одежде. Одна. Окно. Вырвано.

И ничего больше – пустые листы...

Перевод с литовского Clandestinus

¹ Согласно Ритуалу Католической церкви, обряд конфирмации (миропомазания) детям полагается лишь в подростковом возрасте. Букетики лилий или ландышей (символ Девы Марии) олицетворяют непорочность посвящаемого в таинство. В отличие от Ритуала Православной церкви, совершать обряд имеет право не простой диоцезный священник, но исключительно епископ (прим. перев.)



Пранас НАРУШИС

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Плачут берёзы да черёмуха-древо, плачет закат и все дали. Ветка сосны прильнула к колодцу даруя эхо — эхо последней капельке жизни. Неужто и снова утро росистое паутиной паутинчатой полно. А выход один — притвориться и ещё раз притвориться, дождавшись признания чудака.

ЗА ОКНОМ

За окном звучит танго, ненависти и мести, деяния несущее танго, фаза прошлого – будущего.

Эта всё повторяющаяся нота недоверия и надежды дарует и отнимает, нарушает покой и вдохновляет.

Ведь музыка танго многогранна, полна силы любви, и сей чарующий ритм в гармонии классического одеяния, путь джазовой мелодии в чужое сердце.

И невозможно всего услышать – это не сказочка августа и не курортное танго, текущее от отчаянья и нищеты выдавленными слезами гниющего яблока.

Можно ль назвать старостью старость, смерть – смертью, Предвечное танго, танго с вариациями и жаркой-прежаркой мелодией. За окном...

НОТА СУДЬБЫ

Ночь – не только тишина Пауза – таинство молчания Любовь – словно заблудший поцелуй – Жива в мыслях. Распростёртые руки Вечного завтра Больно наказывают всех.

Куда спрячешься, когда пробуждаются судьбы, Где там отдохнешь, полный желаний.

Распятый на шуме – Жаждешь тишины. А роковая женщина – эта пауза жизни Изменяет ритм и мечты.

Выбирай, любезный земляк, Какое из узилищ тебе по сердцу. Родился в шуме – и живи.

.

Ноты – Книги – Двери Не то же ли самое...

(XXX 26)

Родина дальше всех далей, Но глубоко в сердце, Ближе всех близей, В шелестении сердца.

Есть глубина и Нечем уколоть, Пока мучит тоска, Освежающ порыв.

Но и ещё раз но Нужен близкий человек Для дыхания и боли, Для любви и для завтра.

Родина всегда и везде, Но судьбой не дано – Опоздали ветра, Когда звучит хор пилигримов.

СКУКА

Храни скуку перетерпи, выброси создай ключ пытайся открыть

Не спеши в шелестенье шуми в себе хоть немного в безумье замкнись

Цветов сочетанье удачу найдёт, заблудшего выведет вознёсшегося остепенит

Плюнуть на скуку Можешь лишь разбогатев, а мука скукой испытанная никогда Тебя не предаст.

СЕРЫЕ ОБЛАКА

В небесах солнце сияет сквозь прорывы серых облаков вдали голый ствол обратился крестом.

Не всё то красиво, что криво и даль в Тебе достижение недостижимого покрылось ржавчиной. Это мышление и писание Лишь творят беспорядок, А творчество – случайно вину ощущает и вновь выпускает шипы.

(Не всё то красиво, что криво)

НЕ БОЯТЬСЯ БОЯТЬСЯ

Не путает ни кровь ни пот стекающий, хрупкое чувство даровано пустоте.

Постучаться... выйти придти и вновь покинуть – дар одиночества в спотыкающемся движении.

Благодарение всем, кто бежит по волнам, коть и спотыкаясь, но поднимаются.

Остановиться не можешь Небояться бояться – Ноты словно оструганные доски Мысли – дождь в тишине.

MOTO

Иду – следовательно, ещё жив.

Стыдно умереть в нищете На воняющей постели, Вызвать отвращенье у живых

Лунная дорожка проводила солнце И – ждёт завтра. А по лесам, полям и лугам, По улицам идут люди, И становится их всё больше

Иду – следовательно, ещё жив. Мужчины не различают женщин, Женщины – мужчин.

Одни так называемые джазмены, писаки. Другие – скульпторы, поэты. Все улыбаются, никому ничего не надо, главное – умереть в движении.

Человек вышел идти – с работы, из дому. Так уже идущему все близки, словно знакомые, замкнувшись на той же самой мысли: «жизнь – всепобеждение». Даже в зеркале нет ответа, может это вершина психической деформации может... – и не нужно спасительного белого халата.

ЖЁЛТЫЕ ЦВЕТЫ

Предчуствие смерти застилает свет, занавески от солнца и тьмы не помогут.

Не надо сочуствия, утешительного плача, поцелуев. Достаточно, что Ты рядом чувствительная и чистая.

И потерял ничто, у меня была своя жизнь, любил отечество, обрубал ветви акаций,

плакал также кровавыми закатами, искал мозг коры древесной ненайденных пластов.

Утром после всего гудят машины, птицы, шумные бары будто на острове мертвецов.

(XXX 56)

Не желая быть счастливыми – выпьем, выпьем. не умея пить радости уходя не оставим.

Потому да сделаем что приказало и чего не хотело сердце.

Ни к кому и никогда не вернётся исход, не вернётся – в дым обратился...

Перевод с литовского Clandestinus

Ричардас ШИЛЕЙКА

поливальщица

отражающий солнце зеркалами вёдер сверкающий кусок брошен – будто случайно – в меня: коричневая-прекоричневая кожа магнитные глаза раздирающие маечку две нежные выпуклости заставляют сходить с ума

другая дорога на поезде

обочины усеяны пылью замёрзшей грязью чудесами наполняя чистоту света освежающа хоть и сера утренняя открытка заплаты зелёные жёлтые но они не важны человечек две коровы за сетью деревьев – белый палец минарета походка берёз красный замерший трактор – высвечен недалеко от сарая

кто уже пытался понять непонятное что укрыто льдом зрит не осмелясь уверовать чем древнее тем больше лучей в прорехах всё более ими любуешься нежели пытаешься выяснить ту любовь раздуваешь полнее и редеет ткань мыслей крутишься смешав день с ночью птицы несутся в путь

малая великая радость видеть жадно хавающего из блюдечка щенка (сосед склонил сопливый нос в штаны сунув правую руку)

и сердце так сладко щемит обморок – то ли сна то ли смерти

rökfritt rum

дрожание твоих кудрей хруст пальцев ноги покачивание на ногах до сих пор хранимые тайные записи

шероховатая оболочка стекла муравейник окурков палец луча конфетти нетрезвый мужской выползок со вчера не действующий вентилятор

в Улан-Удэ проживающая калмычка сорокалетняя узкоглазая двух парнишек мама не выращивающая овец работающая в колхозной столовой почти не знающая родного языка мясная добродушная любит отдыхать широко раскинув ноги

ты видел как околевают лошади как падают птицы как сочные сосняки перебираются в более песчанные области как рассыпаются склоны дождь сбивает пыль в корку в пирог в ящике песка омывая стебли трав копыта

звериные высвечивает понемногу истлевающие испаряющиеся тающие скелеты и зубы ты видел как является смерть посещая таящегося в одиночестве как корни земные гниют чем-то вцепившись в род в продолжительность когда сорвавшись с цепи реинкарнации сбежавши из своей будки от любви хозяина а ныне даже не ведающий кто твоим ногам какую тропку предложит

+ * *

свежие булочки кофе мороженое вылитый и сумеречный город неизвестный как и лицо в зеркале тяжёлым утром немного иллюминации сквозной январский ветер лужи испытующие новую обувь made in italy зажмурься раскрой глаза остановок в поле зрения не увеличилось ожидающие курящая персона в шарфе мало самоубийц много целевых бунтовщиков горошин в земле сеятеля да не та земля всё та же выправленная будто вместо запятой раздавлен окурок ногой небрежных на обочине захмелевшая русскоязычные озабочены и равнодушны в одном салоне пробиты одноразовые билеты семечек на дне кармана лишь несколько порванных пакетов maxima знамя общественной скамьи частное прибежище для старого пьянчужки транслируется в кафе нудность безысходность понедельника в Вильнюсе свежие булочки кофе мороженое живучесть абстракций прошлых веков полный коридор подгоревшего мяса связать этот вечер чёрной усталостью соединить родство зонтиков обезличить ещё пообещать завтрашнему дню остаться самим собой похотливым игрушкам теле-видения оккупации новой архитектуры в нежилых местах ищут идентификации старые привычки

> надоевшие правила ленивая метрономия дворников уменьшится кровяное давление города парикмахерские выплёвывают последних клиентов свежие булочки кофе мороженое

> > эластичная кожа
> > застывшая
> > поддавшаяся мутации жировых
> > слоёв
> > яркоцветные губы
> > выдавливают монотипии
> > на фильтре сигареты
> > пакет торгового центра
> > однообразит
> > лирическую героиню
> > с пассажирами
> > автобуса среды
> > контролёр проходит мимо
> > даже не глянув

Перевод с литовского Clandestinus

Михаил ГОЛДЕНКОВ Минск, Беларусь



ПОЛЕМИКА С МОСКАЛЕМ

Бырло то мы дешевое в самом деле перестали пить. Но, всё же, больше не изза немцев, а потому, что бабло завелось некислое. Витя с деньгами совсем обурел. Раньше он такой тихий был и скромный. Теперь же ему, гадёнышу, рестораны подавай, цыган, стриптиз-бары, да коньяки пятизвездочные. Я, если честно, тоже на коньяк перешел и на рестораны. Ну, деньги же есть пока, чего мелочиться! Заходим, значит, мы с ним уже под шафе в ресторан нехилый какой-то, а официант и говорит, что, мол, звыняйте, мястов няма. Витя смотрит надменно на официанта и говорит, эдак, повелительно: «Милейший, я журналист из Москвы, газета "Известие" и "Президентский вестник". Нам бы перекусить, и выпить по быстрому. Организуйте место, пожалуйста, а то»... Официант не стал слушать, что там у Вити после «а то» идет, и отвечает: «Хорошо, щас организуем. Мы вас к литовцу одному подсадим, можно?» Я отвечаю за Витю, что, мол, можно, литовцы, мол, тоже нормальные люди. Садимся мы, значит, за столик. Литовец рубает щи какие-то. Мы смотрим на него, заказываем бутылку коньяка, два пива, два Мартини, и один стакан воды. «А что кушать будете?» спрашивает официант. Мы ему отвечаем, что вот всё, что заказали мы кушать и будем. Лакей ресторанный удалился, коньяк, правда, сучара, быстро принес. Мы налили по сто, чокнулись, ну и я, чтобы легенду не рушить, и говорю: «Так выпьем же Виктор Львович за наши братские народы. За вашу Москву златоглавую, будь она ладна, и наш светлый город Минск. За то, что мы всё объединяемся, объединяемся, да так и не объединимся в конце-концов. За это я особливо хочу выпить. И за братскую Литву,» — поднял я стакан в сторону литовца. Тот благодарно улыбается, мол, сэнк ю вери мач. Ну и жахнули. Витя, благо уже поддатый, тормозить перестал, как раньше любил, словно компьютер зависать на полчаса, и парирует: «Э-э-ээ-э-э-э. Ну... за... это. За братский союз». И мы по второму разу пьем. Тут же разливаем по третьей и пьём за литовца. Тот смущено улыбается, мол, ой не надо. Но самому приятно. «Вы первый раз в Минске?» - спрашивает литовец Витю-москаля. Витя что-то долго думал, а потом отвечает: «В тридцать четвертый». «Хороший город, правда?» улыбается литовец (мы ему тоже налили). «Хороший, но... масштаб маловат. Местячково у вас здесь. Нет размаха нашенского», - обращается Витя ко мне. Я смотрю на эту москальскую рожу и говорю: «Извините, ваше высокблагородь, какой-такой масштаб маловат? Да наш город в округе самый большой. Брестчанам, гомельчанам и даже полочанам с прибалтами и не снился город с населением в один миллион. А у нас этих миллионов в городе уже почти два с нелегалами наберется». Витя кривится, мол, чего это ты, шельма бульбяшная, тут тараторишь. Выпил, утер нос свой жидо-москальский и отвечает: «Мы в Кремле с Путиным, кстати, обсуждали в каком виде вашу Беларусь к

нам присоединить. В виде губернии, области, или района Смоленской области». «Чего-чего?» возмущаюсь я такой наглости: «А знаете ли вы, Витя Львович Москалев, что мне наш Президент тоже звонил, и как у авторитетного писателя спрашивал, как лучше писать «идите вы на х...й» — Вы с большой или с маленькой буквы? А я посоветовал с маленькой. Да чтобы мы, Белая Русь, в ваше мафиозное захолустье пошли!? Не бывать! Когда наши города в колокола звонили, когда у нас Софийские соборы строили, вашей фино-угорской Москвы еще и в помине не было! Сидели на берегу и лапти плели и русского языка не знали. Русь здесь лежит, а не в ордынской Московии, которую даже Русью никто не называл». «Па-па», отвечает москальский Витя. «При чем тут папа?» возмущаюсь я. «Па... па... пачему Русью не называли? Мы и есть Русь-матушка. Москва, — как говорил АС Пушкин, — как много в этом звуке для сердца, ик, извините, русского, сли... сли». «Сливу сейчас тебе сделаю на москальском носу! — чуть не кричу я, — да вы Русь-матушку продали! Загубили и задушили Русский мир. Где теперь Киев, Матерь городов русских? На Украине! Где теперь Великий Новгород? Ваш шизофреник Иван Грозный из него пункт для стеклотары сделал. Всё разрушил, лишь бы лучше, чем в Москве не было! Червонную и Малую Руси Украиной обозвал, хохлов придумал, а они, тупые, и рады. Хотя, заметь, хохлы не русских не любят, а именно москалей, ибо москали им, исконным русинам, которые с криком "За веру русскую!" на татар, турок и поляк ходили, всю малину обосрали. Переколпачили все на хрен, переобозвали то Малороссией, то не менее унизительной Окраиной! Львов от Руси отрезали! Крым отдали! Львов вообще в 1939 году впервые узнал, что есть такая пердь, как Украина, и что теперь он ее часть! Великий русинский город превратился в хохлятский оплот!" "Это верно, Крым и Львов мы зря отдали, — вешает нос москаль, — но это уже большевики, сволочи. Но зато мы всегда всех побеждали! Русский дух он это... эхма!" "Да кого москали когда побеждали? Что не война, то на хрен она русским людям на Балканах за болгар кровь проливать, то с финнами, эстонцами и латышами против Швеции двадцать лет биться, то в Италии по Альпам лазать за Наполеоном! Что мы в Альпах забыли? На хрена нам турки на Балканах? Что мы в Эстонии не видели? Какое на хрен окно? Какого лешего Николашка в Первую мировую войну ввязался? Одно ружье на пятерых! Десять миллионов погибших! А ради чего? Чтоб большевиков в Кремль запустить и Брест немцам отдать? А как на своей земле враги объявляются, то мы сразу — не готовы! На Швецию Петр напал из-за поляков и немцев хитрых, которые сами с Карлом воевать боялись — и не готов! Разбили под Нарвой. Наполеона по всей Европе гоняли, он пришел в Россию, а мы — не готовы! Бородино просрали, отступили, оставили Москву, а пишем в книжках: "Ого-го! Победа под Бородино!" Какая же на хрен победа, если треть армии потеряли, отступили и Москву оставили. Да еще и подожгли. Япония! Плюнуть и расстереть на эту Японию! Так Россия и им умудрилась войну просрать по всем статьям. Сдали Дальний Восток, как посуду япошкам недорослым! Позор! Красная армия всех сильней! На финнов в Финскую напали — и не готовы! Германию боялись, боялись, боялись, боялись, готовились, готовились, те таки и пришли, а мы — не готовы! Дерьмо москальское руководство было полное во все времена, и при царях, и при генеральных секретарях!" «Но нас ник.... ик... кто не сломил. Всё выдержал геройский народ", - икает

москаль. "Народ, конечно, геройский, таких москалей в столице выдерживать. Но если бы не дороги, которые москали так и не научились строить, не мороз, к которому сами москали каждую зиму не готовы, и не народу масса героического, хрен бы москальская Россия что выиграла! Будь Расея размером с нормальную страну, как Хранция — хана бы ей еще двести лет назад было бы". "Нас монголотатары испортили. Изнурили", - вешает буйну голову москаль. "Да ханы были в тыщу раз благородней, чем москальские князья, которые поклепы писали на соседние города и братьев собственных. Ханы Тверь столицей ордынских русских земель считали! Тверь! Даже монголы признавали, что Москва — херь полная, а не столица! А Иван Калита только и делал, что на тверчан анонимки строчил. Дмитрий Донской на Куликовом поле думаешь татар разбил? Мамая он разбил, одесского татарина, у которого в армии одни итальянцы, да осетины наёмные были. Европу хотел Мамай впустить в Орду. А Донской с татарами за Тахтомыша заступаться стал. А вы орёте на каждом углу: "Поле Куликово! Поле Куликово!" Разборки внутри самой Орды — вот что за поле! Если бы Орду разбили, то иго на том поле и кончилось бы, а оно еще сто лет продолжалось. Да и не иго то было, а добровольный союз москалей и монгол. Нестыковка, товарищ москаль! До Ивана Грозного вашу татарскую Москву никто Русью и не считал! Тартария и баста — вот кем вы были! А теперь ваши москали-историки в книжках детям пишут, что Русь — это Москва. Дети не историю отечества, а историю московской области в школах учат. А что делать тем россиянам, кто в Томске живет? Или в Ростове, Мурманске, Пскове?» «Ёж... ёж», - стал прерывать меня москаль. «Какой еще ёж? Сам ты ёж!» «Нет, не ёж, а Йош... Йошкар-Ола», - выговорил, сияя Витя-москаль. «Да, правильно. Йошкар-Ола тоже учит историю Московской области. Вот почему вас, москвичей никто не любит в Расее-матушке!» «Нет, мы же пишем о Киевской Руси, о Новгороде...» «Ну, да, пишите! А что писать, коль они за хрен знает сколько были раньше Москвы! До монгол Москва и не фигурирует нигде". "А почему?" подает голос литовец. "А потому, что ханы ее и возвеличили только за бабки русские, которые вы, — тыкаю я пальцам в москаля, — суки родинопродавцы, с Твери, с Владимира и Рязани сдирали. Иго! Во для кого иго было: для соседних русских городов от Москвы! Киевская Русь, Новгород! А потом куда они исчезли в ваших учебниках? Куда делось восемьдесят процентов Руси, а? Иго пришло! Москва пишет: ой, хреново как! Всю Русь иго завоевало! Да не было ига! Москали были, которые Русь по кусочкам себе оттяпывали, а русские пищали, как не хотели идти в Тартарию. Зачем Новгороду, великому прибалтийскому процветающему городу, члену экономического союза Ганза, под хамскую азиатщину идти, где на троне один душевно больной другого сменял, где человека никогда никто не уважал. Даже Пётр. На хрена на Швецию пошел, спрашивается? Исконные русские земли? Фигу! Где вы видели исконные русские земли в Эстонии или Латвии!?" "Да! — радуется литовец, где?". "Окно в Европу рубил!" — утверждает москаль. "А почему не в Пруссии, откуда Русь и пришла? Да после пьянки с польским королем Августом Пётр на Карла пошёл, чтобы угодить собутыльнику и немцам своим любимым, которые и сталкивали лбами соперников, а сами настоящие русские балтийские земли к рукам прибрали! Надурили Петра, как пацана! А вы, до сих пор этого и не видите!" "Ладно, кто старое помянет, тому в глаз, — соглашается с моими доводами

москаль, — давай на соврюменность вз... взг.л. взглянем. Мы, Москва златоглавая — православный центр!" "Чаво?! Какой такой центер? А кто вам это право дал? Может Константинополь, отец православия? Ан нет! Константинополь Софийские соборы строил в своих епархиях: в болгарской Софии, в Афинах, в Киеве, в Полоцке, в Новгороде, в Пскове. В Москве — нет! Вот почему вы, москали, Константинополь туркам сдали, когда даже католики воевали за Византию. Из Ватикана посланник приезжал в Москву к Ивану Придурковато-Третьему, просил, давай, мол, объединимся, заступимся за христианский мир на юге Европы. А Иван ему — фигу! Для этого москаля важней было с Литовским княжеством спорить и воевать, чтобы его признали государем Всея Руси. А какая же он Русь, москаль протатарский!? Полоцку, Новгороду, Киеву или даже Пскову надо всей России православной кланяться, а не узурпаторам московским. Кто они такие, эти москали, чтобы главными в православии быть? Кто их назначал главными? Дождались, родинопродавцы, пока Константинополь турки взяли, и сами себя провозгласили наследниками Византии! И даже герб спёрли византийский! Это какую же наглость надо иметь и полное отсутствие совести! А потом этот псих, Иван ваш Грозный, еще и название придумал -- Россия, Русь похоронил, церкви разрушил. Тьфу!» «Йош... Йош..», начинает икать москаль. «Да не лезь ты со своей Йошкар-Олой!» - раздражаюсь я еще сильней. «Ёж... Ёж твою медь!» - кричит, оказывается, москаль. «Ты кого, сучара жидярско-москальско-ордынско-финско-угорско-татарско-монгольское на х... посылаешь?» - хватаю я москаля за грудки. Москаль зеленеет. Пена на губах показалась. "За лацканы не берите, говорит сдавленно, — не люблю". А тут литовец вступился за него. «Не надо! Вы же интеллигентный человек! Мы же с вами в одном государстве, Великом Княжестве Литовском пятьсот лет прожили! По Магдебургскому праву!» Я серею. Отпускаю лацканы москаля — он сразу, кажется упал, это я по шуму определил — и как терминатор поворачиваюсь к литовцу. «А это ты, жмуд, не примазывайся к святому! Не вы с нами, а мы с вами в Литве жили, а потом вы, жмудявичусы безродные, наше название и герб наш Погоню сперли самым наглым образом! Ты, кстати, москаля не видел? Здесь вроде стоял только что. Сталина, говоришь, не любите? Тогда верните то, что Сталин у нас украл и вам, жмудам безродным отдал — Виленскую область! Слабо? Название наше Литву отдайте, жмудявичусы противные! Фамилие как?» «Жмудявичус», краснеет литовец. «Ага! — ору я радостно, — вот и оставайтесь жмудявичусами, а литовцами ни-ни! Вы заодно с москалями. Они вам нашу русскую землю отдали, лишь бы исконных русских земель поменьше на западе было! Вы же ничем не лучше, чем москали! Вы же пишите, что в Грюнвальдской битве-де, вы, жмуды, разбили крестоносцев! Ха! Вас там сто человек максимум оруженосцев было! Стрелы подносили русским рыцарям! Это вам нашу историю и наследие продали по дешевке москали сучарные, а вы, голодьба, краденое и скупили! Чемодан! Вокзал! И в Аукштайтию! В Жмудь! Вильно наше Вильнюсом обозвали! Минск тебе нравится, говоришь? Так может и Минск заберете? Мы его построили, выходили, как раз вовремя, чтобы к рукам прибрать. Давай, пиши, что это Минскас, и что всю жизнь он был жмудявичюским Минскасом! Всё забирайте! У нас еще Витебскас остался с Гомельсоном. Тебе жилетка, говоришь, моя нравится? Забирай жилетку! У меня еще и туфли новые! Бери! На! Подавись! Всё забирайте! Москаль где? Пускай

тоже берет всё! У меня ещё кошелек остался и удостоверение! Москаль, ты где, родинопродавец? Наверно уехал уже. Правильно! В мордву, на Урал! Там ему самое место!» «Мишаня!» — вдруг слышу я голос, словно с небес. «Кто здесь?» спрашиваю. А это Витяня из-под стола встает. А москаль, словно в воздухе растворился. И жмуд пропал куда-то. Литовец плачет чего-то. "Фу, умаялся я с вами", — удовлетворенно вздыхаю я, слезая со стола, — хотя немножко полегчало. Ну, давайте выпьем, что ли? Витек, садись и пинжак свой поправь, а то он у тебя на спину съехал. Господи, а лацканы-то чего так помял? Жмудявичус, ты чего расстроился, родной? А, коньяк закончился? Ну, да не беда. Официант!"



Ева ЛЮБИНЬСКА Лидсбарк Варминьский, Польша

Ева Любиньска родилась в роддоме в Илаве, в воскресенье во время Зеленых Празднеств. Считает, что по этой причине, как дважды лентяй от рождения, должна быть освобождена от какой-либо работы, и содержаться на государственные средства. К сожалению, эта идея не нашла понимания в высоких кругах, и потому она не переставая работает, начав в 1981-ом году. Успела побывать: библиотекарем, продавцом в киоске, работником суда и даже общественным попечителем в суде.

Детство провела в Прабутах, молодость – в Квидзыне, Прабутах и Щитно.

В Лидзбарк Варминьски, в котором живет до сих пор, переехала больше шести лет назад, чтобы создать в нем филиал Ольштынской Газеты.

По образованию экономист, нашла свое призвание в работе журналистом. Более десяти лет связана с Ольштынской Газетой, более шести – редактор Газеты Лидзбарской.

Самым большим своим успехом считает дочь Катажину и хороших людей, что всегда ее окружают.

Женщины под дождем (три рассказа)

Иоля

Мир Иоли не был особо красочным. Наиболее цветастыми были одежды её кукол. Бабушка научила ее из кусочков ткани шить юбочки, штанишки и кафтанчики, платочки и даже шляпы. Так что куклы были одеты лучше, нежели Иоля. Сама она не любила ходить в школу именно по этой причине. Из-за своего синего передника выглядела она еще более худой, нежели была на самом деле. Завидовала оборкам, складкам и бантикам своих подружек. А те радостно улыбались и обменивались цветными фломастерами. Такими светло-голубыми и розовыми, а самыми красивыми были золотые, как солнце, и серебряные, как отблеск месяца.

Знала, что ее подружки когда-нибудь станут врачами, учительницами, может даже учеными, а она – в лучшем случае продавщицей.

Вроде, ничего страшного, ведь это неплохая профессия – повторяла она себе время от времени, и в воображении становилась за прилавок, полный самых красивых фломастеров, кукол и бантов.

Однажды, когда она возвращалась домой, начался страшный дождь. Ее передник промок, по волосам стекала вода, Иоля чувствовала холод каждой упавшей на нее капельки. Перестала видеть перед собой дорогу. Мечтала, что кто-то знакомый на машине вдруг остановится и увезет ее в край солнца. Какая-нибудь добрая женщина. Да, это точно будет женщина. Ведь мужчины могли только напиваться до потери

сознания, а после насиловать своих жён, не обращая внимания на то, что это видят их дети. Могли только жаловаться, когда были трезвы, и обругивать всё и вся. Так что, это будет женщина. Улыбнется и скажет: «Какая-то ты, девочка, грустная и несчастная. Поедем со мной на золотистый пляж. Туда, где растут пальмы, а на них ананасы, бананы и кокосы».

И Иоля сядет и поедет.

Вдруг проехал автомобиль. Стена грязной воды окатила фартук Иоли. Девушка застыла в онемении. Минуту не могла понять, что случилось. Даже плакать не могла. Ей уже было все равно.

С тех пор прошло десять лет. Иоля и не вспомнила бы того дня, если бы не то, что как раз сегодня, когда она вышла за покупками, пошел такой же дождь как тогда, и так же как тогда какой-то проезжавший мимо автомобиль не окатил её грязью из-под колес. На минуту остановилась и вспомнила всё своё детство, в том числе то, что на следующий день решила изменить свою жизнь. Никогда больше не будет стыдиться своей одежды, и не будет слушать, как её отец устраивает очередной скандал, и никогда не выйдет под дождь в старом переднике. Через несколько лет сбежала из дому. Была уже взрослой, могла делать то, что ей нравится. Не ждала доброй женщины, сама к ней пошла. Выбрала короткую дорогу к хоть каким-то деньгам.

Её школьная подруга, Анка, вышла замуж за мужчину, который был много старше её. Он был лыс, толст и с постоянно красным, почти фиолетовым носом, но у него был также недурной доход от собственного дела. Иоля смотрела на Анку и думала, а не поступить ли так же, но не могла себе представить, что этот потный старик приходит каждую ночь к ней в постель. Предпочитала сама выбирать себе клиентов, брать деньги и выгонять их из снятой квартиры. Пока могла себе это позволить, ведь у неё еще было молодое тело, о котором она заботилась.

Сейчас она выглядела лучше, чем большинство её приятельниц. Иногда ездила домой, но только затем, чтобы показаться. Никто не знал, откуда берет деньги. Мать рассказывала, что Иоля работает заграницей гувернанткой.

Не жаловалась, вот только сегодняшний дождь, этот ливень, как будто хотел ей сказать, что, может, есть и другая жизнь, другой способ, чтобы больше не стыдиться синего костюмчика.

Ула

Ещё ребенком Улька обрезала волосы куклам и ждала, когда они отрастут. Никогда не отрастали. Сейчас она думает, что, в общем-то, совсем с тех пор не изменилась. Всё живет надеждами, на которые у неё нет права.

Почти год с тех пор, как они познакомились. Ула помнит этот момент как сейчас. Он был так худ, будто последний месяц пересекал пустыню с ломтем хлеба и бутылью воды, которую наполнял на каждом привале. Так ей в тот момент представилось. Ехал целый день на верблюде в полном одиночестве, а вечерами вёл путевые заметки.

Однако, оказалось, нет в нём ничего загадочного. Просто отучился на менеджера, и их фирма взяла его на должность замдиректора. До этого он был руководителем стройки, или кем-то подобным на другом конце страны. Теперь им выпало работать вместе, только вот она, к сожалению, не имела такого образования, и занималась в фирме в основном тем, что варила кофе, да отправляла факсы. Ну...

обслуживала компьютер, так как была современной секретаршей и не чужды ей были текстовые редакторы.

Вот так и началось их знакомство. Какая банальность: женатый мужчина, управляющий и его секретарша, девчонка. После нескольких недель бросали друг на друга жадные взгляды, а за одним из совместных обедов после работы пригласила его «на кофе». То, что любит его, поняла во время этого самого обеда. Даже не помнит, что он в тот момент говорил. Даже не слушала. Просто смотрела ему в глаза. В этом взгляде замкнула всё. Весь свой мир. Не думала тогда, что будет через минуту, но чувствовала: то, что случится – неизбежно. Он тоже об этом знал. Не знал только, что для неё был самым важным, важнее друзей, работы, рассвета в парке, сна на берегу озера, желе в шоколаде и любимых книжек. Не знал даже того, что она тоже была для него самой важной. Просто не хотел этого знать. Его увлечение, как думал, складывалось из простых составляющих – молодая, привлекательная, и того чувства загадочности, которое сопутствует измене, позволяющего пережить что-то захватывающее.

– Не совсем еще состарился, – повторял он про себя, как-то странно подходила ему эта фраза к настроению, которое сопровождало его с тех пор, как он встретил Улу.

Когда в первый раз зашли в её дом, слова сделались лишними. Без слов дала ему полотенце так, будто это был ежедневный ритуал. Без слов пошел в ванную. Всё происходило как в замедленной съёмке. Помнит, как встал в дверях комнаты, одетый лишь в то полотенце. Подошла. Вжалась в него, как если бы боялась, что вот-вот он исчезнет. Почувствовала его запах, закрыла глаза и утонула в этом запахе без остатка. Каждое движение его рук, прикосновение его губ оставляло на её коже яркие отметины, делало так, что её тело начинало жить своей жизнью. Так, будто рассудок Улы остановился на мгновенье и покинул её, а она сама желала каждым сантиметром своего тела, каждым помыслом прильнуть к Мареку. Здесь был её дом, здесь чувствовала себя в безопасности. Его понимала и ему хотела отдать всё. Одурманивали его слова, взгляды, ласки.

Так продолжалось ещё несколько месяцев. Жила надеждой, что, может, всё же волосы у куклы отрастают, просто она недостаточно в это верила. Так и спала, не думая, что такими же ласками Марек одаривает и свою жену, что это она, а не Ула делит с ним ежедневные заботы и радости.

– Наверняка они уже давно не спят вместе. Ведь иначе он бы ей не изменял, – уверяла себя, а сплетни на работе подтверждали это её убеждение.

Брак Марека переживал не лучшие времена. Видимо, потому он и позволил себе этот роман. Так он это себе объяснял. Ведь не мог же он признать, что нечто иное притягивало его к Уле. Не мог, потому что иначе ему бы пришлось заново перестраивать свой мир, а ведь так, как есть, было хорошо. Безопасно.

– Каждый мужик изменяет, либо хотел бы это делать, но ему не хватает смелости и таких способностей врать, какие есть у меня, – объяснял за водкой Дареку, который понимающе поддакивал, хоть ни разу не обманул своей девушки.

Так как есть, было хорошо.

Марек знал, что рано или поздно этот роман придется закончить, и надеялся, что Ула тоже это понимает. Понимала. Но сегодня, увидев его на больничной койке...

– Вы сестра или жена? – начала разговор медсестра, и Ула впервые не знала, что сказать.

- Подруга с работы, наконец выдавила из себя.
- Да вы не волнуйтесь. Всё уже в порядке. Приступ это почти нормально в его возрасте и при его работе. Еще долго жить будет. Только поосторожней придётся быть, медсестре явно было скучно на сегодняшнем дежурстве, сейчас вам с ним не удастся поговорить. Пусть спит. Кто-то из семьи уже здесь был, да тоже не поговорили. Вы завтра приходите.

Пришла в больницу тем же вечером. Шла по коридору, когда из палаты, в которой лежал Марек вышла его жена. Не заметила Улы, которая быстро развернулась и вышла из здания.

Слышала каждый удар каблуков по тротуару. Свернула в аллею прибольничного парка. Пошла медленней. Ула даже не заметила, что начало накрапывать. Вспоминался вопрос медсестры.

«Вы сестра или жена?» – било в ее голове, как африканский барабан.

- Боже, да я ведь никто. Я для него - никто, - услышала свой голос.

Сказала это тихо, хоть и знала, что никто и так не услышит: в парке никого не было. Дождь становился всё сильнее, и все от него попрятались. Лишь она шла под струями дождя и думала: «Хорошо, что льёт. Не будет видно слез.»

Надежда стекала по её щекам вместе с каплями дождя и макияжем. Ведь Ула хранила надежду, хоть убеждала себя в обратном, но всё же хранила.

Утром пошла в кадровый отдел с прошением об освобождении от работы. Взяла задолженный ей отпуск. Поехала к сестре. По дороге купила две куклы: одну для сестры, вторую – себе. Для Ванды это был лишь сентиментальный жест, но Уле кукла должна была напоминать, что иногда надежда лишь продлевает боль.

Агнежка

«Человек, - думала Агнежка, - как раковая опухоль на теле Земли.»

Всё время её эксплуатирует. Сверлит какие-то дыры, ранит землю глубокой вспашкой, наращивает корку из бетона и асфальта, убивает зверей и ставит тяжелые здания. И земля без устали это терпит. Как можно сносить такое? Ничего удивительного, что периодически она дрожит, выплевывает лаву, заливает этот ужасный рак водами и сметает со своей поверхности ветряными вихрями. Я бы поступала так же. Бедная Земля!

По счастью, Агнежка не впадала в тот тип удручения, что заставляет некоторых сидеть бездвижно на стуле и отупело вглядываться в пятна на стене. По счастью, у Агнежки доставало сил жить наперекор знанию того, что она тоже является составляющей частью той страшной, безустанно истязающей Землю опухоли. Иногда ей даже верилось, что люди оказались на этой планете не случайно. Иногда ей даже верилось, что они являются частью Всесильной Природы, и когда с неба била молния и лил обильный дождь, вставала в оконном проеме.

Не думала тогда ни о чем, только вслушивалась в стук капель, раскаты грома. Понемногу становилась таким же стуком, раскатом и яркой вспышкой, а после – запахом парной земли. Вместе с растениями наполнялась дарующей жизнь водой, волосы её шумели как листья на ветру. И тогда свершалось чудо. Агнежка не была больше злокачественной опухолью – была Землей.

Реэт КУДУ Таллинн, Эстония



ПРОСТИМ ЖЕ И НЕВИНОВНЫХ!

(1991 - 2012)

Несколько десятков лет назад, во времена глубокой стагнации, выражением святого-заветного протеста для эстонцев стало "Письмо сорока", в котором обращались к правительству Советской Эстонии: "Мы желаем, чтобы Эстония навсегда стала бы землей, где ни один человек не чувствовал бы себя униженным или ущемленным из-за своего родного языка или происхождения, где между равными национальными группами царило бы взаимопонимание и отсутствовала бы ненависть; землей, где достигнуто единство культуры в ее разнообразии, и никто не счел бы свои национальные чувства оскорбленными, а культуру в опасности". Во времена усиливающейся русификации под этим обращением подписались сорок выдающихся деятелей эстонской национальной культуры, это обращение, несмотря на "железный занавес", было отправлено и в Европу.

Если бы руководствовались призывами этого письма, то сейчас в Эстонии не было бы никаких национальных проблем, и Европе не пришлось бы впустую тратить миллионы интеграционных средств. Да, именно потому, что эстонцы, придя к власти, повели себя не в соответствии со своими гуманистическими обещаниями и идеями, местные национальные меньшинства (1979 – 35, 3%)

чувствуют себя оскорбленными, а не потому, что им приходится учить эстонский язык. Многие владели эстонским уже во время переворота, многие из них были диссидентами, укрывшимися в Эстонии, но это не спасло их от клейма "оккупант", использование которого за двадцать лет стало в народе привычным, при этом никто не боится клеймить беспартийных русских, но никто уже не осмеливается открыто в прессе назвать истинных коллаборационистов, способствующих оккупации Советской Эстонии. Даже упоминание партийных должностей многих наших политиков, которые они занимали в советскую эпоху, превратилось в табу. И, отмечая День родного языка, говорят только об эстонском языке, но не о русском, армянском, еврейском и языках других нацменьшинств.

Программа интеграции за двадцать лет независимости по сути провалилась, в Северо-Восточной Эстонии по-прежнему говорят, в основном, на русском языке. А в столице ЭР, где почти половина жителей — иноязычные, отчаявшиеся люди уже не выбирают средств, как свидетельствует неудачная и бессмысленная, попытка покушения Карена Драмбяна в здании Министерства Обороны Эстонской Республики. Протест, который не принес бы решения ни одной проблемы.

Что же в действительности способствовало бы решению проблем? Несомненно то, если бы гуманисты Европы сосредоточились бы на местных национальных проблемах, которых практически не было в момент распада империи, поскольку как у эстонских, так и у русских демократов был один общий враг – советская власть. И была одна общая родина – Советская Эстония или Советская Латвия!

Каким же образом одна из наиболее толерантных союзных республик за двадцать лет превратилась в государство – член Европейского Союза, в котором всячески отрицают наличие национальной вражды? Государство, в котором столь пылкое отрицание свидетельствует именно о существовании большой проблемы. Столь же воинственно когда-то отрицались проблемы советской империи, и сами "отрицатели" зачастую - те же самые национальные коллаборационалисты, имеющие богатый опыт опровержения всяческой "вражеской пропаганды".

Так же, как и в советское время простой люд бездумно повторял советские лозунги, сейчас зачастую простодушно повторяют пропаганду, возбуждающую неприятие русских. Но в основном именно искусственно созданная в народе ненависть к русским помогла коллаборационистам удерживаться на самых высоких постах в государственных структурах, хотя в действительности единственными привилегированными советскими гражданами были они сами, а вовсе не приезжие рабочие и не интеллигенция русской и еврейской национальности, которые, наоборот, пытались на окраине империи найти убежище от советской власти. Их отчаяние и возникло оттого, что притеснительный механизм советской власти, превратившийся в шовинистический, в конце концов, их настиг, поскольку вряд ли можно назвать истинной демократией нынешнее "законное" разжигание русофобии бывшими коллаборационистами и новыми ультранационалистами. Но неприязнь, занесенная уже в закон о гражданстве, продолжается в 2011 году реформированием русских школ на государственный язык обучения, хотя учащиеся не владеют им в достаточной степени, к тому же в стране недостаточно необходимых для этого учителей. Многочисленные просьбы русских школ, обращенные парламенту Эстонии, не были удовлетворены, хотя конституция это позволяет. Такие реформы, для которых предварительно не подготавливают учителей и не обеспечивают уровень знания языка учащихся, лишь способствуют повышению уровня невежества: ребенок, не способный учить математику на другом языке, просто не закончит школу, бросит учебу на половине.

Обращением с национальными меньшинствами Эстонская Республика уже законом о гражданстве проигнорировала не только знаменитое гуманистическое обращение стагнационного периода, но и законодательную преемственность Эстонской Республики, поскольку семена непонимания и неприятия в родную почву были брошены еще в тот момент, когда из списка коренных жителей были вычеркнуты те беспартийные и невиновные, родной язык которых был не эстонский, хотя их домом в течение десятилетий была Советская Эстония, где они работали наряду с эстонцами, а многие создали общие семьи. Но именно эта жертва сделала невозможным по-настоящему демократическое развитие, потому что на дискриминации невиновных со стороны виновных невозможно возвести

никакой демократии. Виновный, находящийся у власти, может заключить невиновных в тюрьму, и все же это не уничтожает его собственной вины. (В Нюрнберге, как известно, ни один подсудимый не признал себя виновным.)

Государственная политика в демократическом обществе должна быть направлена на то, чтобы нацменьшинства могли сохранять свой язык, обычаи, культуру. В противном случае Эстония получит увеличение криминала. Однако последние события в Государственном Русском театре Эстонии, созданном в 1948 году, имевшем всегда прекрасную труппу (80% - это выпускники московских и санкт-петербургских вузов), порождают мысли то ли о закрытии театра, то ли о переводе его в Проэктный театр. За последние 5 лет в театре сменились 6 директоров и 3 художественных руководителя — результат деятельности Министерства культуры Эстонии. Терпеливый коллектив взорвался, когда появился молодой худрук Наталия Лапина. Трагическая гибель актёра (он упал с крыши театра) в присутствии Н. Лапиной, с которой они встречали закат, к тому же при наличии алкоголя, явилась последней каплей. Коллектив направил худруку открытое письмо, где был объявлен ей вотум недоверия. Директор Светлана Янчек и член совета (Совет назначает министерство культуры) Е. Журьяри заверили коллектив и средства массовой информации, что Н. Лапина подала заявление об уходе, что оказалось ложью. Министру культуры коллектив отправил открытое письмо с 52 подписями (из них 70% труппы, все ведущие актеры), выписку из протокола собрания и т.д. Министр проигнорировал это обращение и, даже не распечатав конверт, отправил всё в Совет театра. В результате Н. Лапина осталась на посту в театре, а начавшиеся репрессии

над нелояльной труппой вынудили 10 актёров покинуть театр. Выходит, как и в советское время, члены коллектива не имеют право иметь своё мнение, а высказать его — тем более.

Мнения жителей Эстонии по важнейшим вопросам уже давно не спрашивают. И, естественно, народное голосование не проводили и по поводу закона, который в начале 90-х оставил иноязычных без гражданства, хотя многие из них стояли в Балтийской цепочке и ставили свои подписи (150 000), высказываясь за независимость Эстонии. Позднее эти подписи не учитывались. Просоветских шовинистов без всякого сомнения можно было лишить гражданства в судебном порядке, если они были в действительности виновны, но не тех, кто высказались за независимость Республики.

Ни одному демократически мыслящему эстонцу не нужно для укрепления национального идентитета (национальной идентификации) лишать иноязычного соседа элементарных человеческих прав, унижать его, называя "гиблой" или "оккупантом", прославляя при этом бывших коллаборантов. Разве может быть одинаковый идентитет у советского коллаборанта и диссидента, какой бы национальности они не были?

Финляндия подобным же образом была оккупирована шведами, но у них два государственных языка. Швейцария служит примером для могих эстонцев, но там аж четыре госязыка, и в этой стране по всем важнейшим вопросам проводится народное голосование.

Председатель Верховного Совета Эстонской Республики Арнольд Рюйтель в 1991 году проявил достаточную прозорливость, попросив у президента Ельцина, пришедшего к власти в дни путча и подарившего независимость

Балтийским государствам, о том, чтобы в договор был включен пункт об оповещении всего мира о получении независимости этих бывших советских республик. К сожалению, Борис Ельцин не оказался достаточно прозорливым, чтобы усомниться в своих партнерах и предвидеть безжалостный-немилосердный закон о гражданстве, которым в одночасье были лишены гражданства практически весь Северо-Восток и пол-Таллинна, поскольку в Эстонии, как и в Латвии, новый государственный язык был внезапно объявлен обязательным для всех граждан.

Восторженный возглас по поводу долгожданной обретенной свободы для сотен тысяч иноязычных превратился в вопль о помощи, ибо столь изощренной мести людям, совершенно не виновным в оккупации Балтийских республик, Борис Ельцин, действительно, не смог предвидеть. Как эстонцев, так и латышей в Советском Союзе всегда считали честной, ответственной и добросердечной нацией. Прибалтийскими республиками восхищались, приводили в пример другим союзным республикам как самые европеизированные. Но на проявленное великодушие парламент ответил шокирующим решением и ложью о том, что русские якобы всегда угнетали эстонцев. Советские нации, действительно, подавлялись, но это делали партийные деятели, которые и ныне продолжают ту же кампанию, опираясь на углубляющий национальную рознь закон о гражданстве. И это несмотря на то, что бывшие коллаборационисты поклялись всему миру, что их преступная натура, основным импульсом-целью которой являлось проведение карательных акций и стремление портить жизнь тысячам невинных людей, якобы навсегда изменена.

Закон о гражданстве Эстонии и Латвии обосновывался, таким образом, как утверждалось, правовой преемственностью этих республик. Независимостью, которую они имели до оккупации советскими войсками.

Но в таком случае лишением гражданства следовало бы наказать и всех национальных коллаборационистов. И со всей строгостью, как, например, это было сделано после войны во Франции. Особенно, если дело имеется с такой массовой идеологической несправедливостью, которая происходила за "железным занавесом" Советского Союза.

Советская диктатура означала именно то, что у народа не было никакой свободы слова, власть имелась лишь у горстки людей, партийных и государственных структур, многие из которых, однако, по-прежнему занимают посты в важнейших государственных структурах! В Эстонии, например, в правящей партии состояли около ста тысяч, половина из которых были иноязычными. Невинных и беспартийных переселенцев, которых оставили без гражданства и человеческих прав, было значительно больше (35,3 %). Русскоязычная часть населения не имеет равных с эстонцами возможностей развития, и дело не в ПРЕДОСТАВЛЕ-НИИ либерального гражданства, в чем наши национальные пропагандисты со всей очевидностью смогли убедить Европейский Союз, а в ЛИШЕНИИ гражданства и равных человеческих прав беспартийных-невиновных русских коллег, соседей и друзей.

Разжигающий национальную вражду закон о гражданстве родился как результат разногласий просоветски настроенных русских шовинистов и эстонских националистов, поскольку весь эстонский народ никогда бы не поддержал того решения. Не было

же проведено никакого голосования! Было лишь решение бывшего Верховного Совета Эстонской ССР. Верховного совета, который, будучи переименованным в Парламент, неожиданно приобрел демократический ореол.

Активно действующие русские шовинисты заглушили миролюбивые проявления остальной части иноязычных.

Из Парижа союзники, в конце концов, вывели свои войска, из Таллинна – нет! Сейчас это известно большей части русского населения. Но конфликт горстки крикливых сталинистов с нашими шовинистами, которые в противовес восхищаются эстонцами-гитлеровцами как освободителями нации, не может служить для Европейского Союза веской причиной для того, чтобы наказывать невиновных людей лишением гражданства. И особенно детей! Да, это была именно карательная операция, а не либеральный и демократический закон о гражданстве, при этом тысячи людей (более ста тысяч!) были лишены элементарных человеческих прав. Демократичные граждане Советской Эстонии, родным языком которых не был государственный язык, не могли участвовать в выборах парламента, они практически превратились в людей вне закона, потому что никто, естественно, не ждал их в России, которую они покинули десятки лет назад.

Коллаборационисты могли спокойно продолжать работать в государственных структурах, не становясь истинными демократами, ведь именно русские диссиденты как реальная демократическая сила были окончательно вытеснены из правительства. До сегодняшнего дня в Рийгикогу представителей русской национальности можно пересчитать по пальцам, но при этом коллаборационистическое прошлое не является препятствием для работы в государственных структурах: даже премьер-министра А.Ансипа, хотя с этим партийным аппаратчиком связано исключение из партии Юри Кукка, обвинение его в диссидентстве и увольнении из университета, позднее химик Кукк был убит в концлагере.

Столь бесчеловечный и нелогичный закон о гражданстве стал возможным только лишь потому, что Эстонская Республика в 1991 году при составлении новых законов была предоставлена на собственное усмотрение, в Европейский Совет она была принято намного позже. Забвение-игнорирование прежних гуманистических идеалов обосновали национальными идеями, но закон, дискриминирующий многочисленную группу населения, создал предпосылки и для последующих решений, которые не способствовали ни цельности и единству Эстонской Республики, ни истинной демократии. Внезапно часть детей, рожденных на эстонской земле, была признана родными, а другая часть – названа чужими.

И всё это проделывали, все так же воинственно размахивая флагами, как герои труда когда-то размахивали пролетарскими флагами, уничтожая как класс кулаков и интеллигенцию. Послевоенная "чистка" получила новое содержание, началась этническая "чистка" на основе родного языка, при этом не играло роли ни одно просоветское деяние или преступление, для получения гражданства (для определения "невиновности") стал решающим лишь нужный язык. Новая волна дискриминации, которая на этот раз создала затруднения всем иноязычным, добавила еще одно преступление против человечности, которое длится уже двадцать лет (1991 – 2011), потому что людей начали распределять-классифи-

цировать только по языку и месту рождения, что способствует всё увеличивающейся несправедливости. Вину за оккупацию со всей ее тяжестью перекатили с виновных на невиновных.

Норвежец Брейвик, как известно, упомянул в своем манифесте и две эстонские партии. И оправдывал себя так же, как многие эстонские шовинисты до сих пор оправдывают свою жестокость депортациями. Переживших депортацию не отличают жажда мести, беспощадность, безжалостность. Терпимость, сострадание, милосердие проявляют те, кто испытал на своей судьбе, что значит хотя бы небольшая помощь в тот момент, когда судьба висит на волоске. Простые русские сельские жители помогали депортированным в Сибирь эстонцам, спасали их от голодной смерти. Разве не наш долг таким же образом помочь невиновным иноземцам? Спасти их от политического давления, которое обрекает их детей на голод, на проституцию, на бедность, уголовные преступления? На получение образования на чужом языке? Но Россия, как известно, стала второй страной, вслед за Исландией признавшей независимость Эстонии. В поддержку независимости стран Балтии на улицы крупнейших городов России вышли демонстранты. Русские нас поддержали. И сейчас наша очередь облегчить их участь.

Сотрудничество многих эстонцев и русских, направленное, вопреки препятствующему давлению законов, на примирение различных национальных групп и взаимное обогащение культур, было бы, следовательно, намного эффективнее, его поддержал бы и Европейский Союз, рекомендовав бывшим коллаборантам простить, наконец, невиновных и беспартийных иноземцев, которых они сами притесняли во времена "железного занавеса".

Если Европа способна была простить национальным коллаборационистам, которые наслаждались роскошью в Москве, как сейчас в Брюсселе, то в таком случае можно было бы простить нацменьшинства Эстонии и Латвии, автоматически предоставить гражданство всем, кто уже 20 лет верен Эстонской Республике.

Не настал ли тот час для Европейского Союза простить и невиновных, если истинные виновники оккупации – безжалостные партийные аппаратчики – сами себе давно уже всё простили? Советская неменяемость, - лучшая питательная почва для шовинизма, - не принесет никакой пользы для будущего стран Балтии, в общем и целом – и для всей Европы, даже если экономические показатели Эстонии будут в полном порядке.

Прощение, отраженное в смягчении законов, необходимо всем эстоноземельцам, не только переселенцам, но и коренным жителям. Необходимо всему народу, который не несет ответственности за возбуждающие национальную рознь законы правительств Эстонии и Латвии, поскольку никакого народного голосования не проводилось ни в момент переворота, ни сейчас.

Простим же и невиновных? Простим наконец!?



Арвидас ЮОЗАЙТИС

ПРЕЗИДЕНТ ЛИТВЫ — ЗНАК СУДЬБЫ

Вскоре исполнится 20 лет как Литва избирает своих президентов. Казалось бы, мы прекрасно помним начало, однако новое поколение избирателей, приходящее как судьба, видимо, воспринимает первое голосование, проходившее 15 февраля 1993 г., как глубокую старину.

ПРЕЗИДЕНТЫ – ГОЛОС НАРОДА

Это понятно. Непонятно было бы другое, а именно - если бы мы не замечали закономерностей. А они существуют, поскольку десятилетия президентских выборов позволяют видеть правила культуры и мышления, от которых во многом зависит выбор людей. Так или иначе - пять выборов и четыре избранных президента. Все позволяет судить, что коллективная воля не слепа.

В жизни общества преобладают экономические и культурные законы, а все прочие - выведенные из них закономерности. Хозяйственная жизнь, пока ее не поглотила глобализация, имела свой литовский "характер" сельского хозяйства. В свою очередь "характер" истории и культуры придавал земле литовский, а не какой-нибудь другой отпечаток. Даже в империи СССР (уже в условиях первой глобализации!), въезжая на территорию Литовской ССР, гости произносили: "Здесь - Литва".

Ныне открытый мир корректирует

закономерности хозяйства и культуры, однако священные слова "здесь - Литва" мы произносим смело. Особенно во время президентских выборов. Почему не во время выборов Сейма? Потому, что Сейм - пестр, как дятел, да и вообще он - не человек, а коллектив.

КАНОН ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА

Альгирдасу Бразаускасу было суждено стать первым всенародно избранным президентом в особенно нелегких условиях. Победив на выборах, он был вынужден войти в свой дом как во вражескую крепость. Новая политическая элита страны сопротивлялась бывшему лидеру литовских коммунистов как только могла, даже используя национальное ТВ и Католическую церковь. Однако общественные опросы безошибочно свидетельствовали, что А. Бразаускас - типичнейший литовец, а значит, лидер выборов. Он был особенно приемлем в условиях начавшейся приватизации и реституции, во время разрухи хозяйства.

Народ видел, что правые силы готовы вызвать гражданское несогласие, даже гражданскую войну (чего не избежали Молдавия или Грузия).

Для инаугурации А. Бразаускаса двери Кафедрального собора были закрыты, а построенная армия встретила своего главнокомандующего свистом (действительный факт).

А. Бразаускас выдержал все об-

струкции элиты и Сейма, даже угрозу военного переворота (мятеж каунасских добровольцев, осень 1993 г.). Он утвердил канон: президент обязан оставаться на своем посту даже тогда, когда элита не дает ему нормально делать свое дело. И что дуб все равно нужно посадить, хотя сделать это всячески мешают.

МИФ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА

Летом 1997 г. А. Бразаускаас заявил, что не желает быть избранным еще раз. Хотя его популярность вновь гласила: победа на новых выборах гарантирована. Однако он, измученный пятилетней борьбой за спасение института Президентуры, заявил, что нужен политик "нового поколения". И сказал, что поддерживает бывшего генерального прокурора Артураса Паулаускаса. Этот субъективный шаг не отражал истинных настроений в обществе.

Литве все еще нужен был политик твердого опыта, а не "нового поколения". По-прокурорски непривлекательный А. Паулаускас в течение года, отведенного на создание его имиджа, не сумел пробудить доверия к этому "новому поколению".

Когда проходил первый тур выборов, новый политик исполнил лишь одну важную роль – легко победил В. Ландсбергиса и отнял у этого страдающего диктаторскими амбициями политика последнюю надежду претендовать на президентство.

Однако во втором туре правые выдвинули против бывшего прокурора администратора из эмиграции Валдаса Адамкуса. Победил имеющий гражданство США литовец, принесший с собой американский миф.

Американский миф - нота духовного состояния Литвы. Она прозвучала уже во время первых выборов с появлением Стасиса Лозорайтиса. Это не шутка, поскольку полвека несвободы в Литве жил миф, что "придет американец и освободит". Этот миф и стал источником популярности В. Адамкуса. Этот кандидат был гораздо удобнее, чем малознакомый С. Лозорайтис, потому что во время природоохранных и культурных наездов в Литву средства массовой информации его замечательно рекламировали. (Кстати, даже во времена СССР). Так, победа В. Адамкуса подтвердила закон ожиданий общества: людям все еще нужен был не новый, а надежный. (Кстати, закон "спасающего американца-президента" подтвердился и в Латвии, и в Эстонии).

ТРЕТИЙ ПРЕЗИДЕНТ – НАПРАСНЫЙ ПОЛЕТ

Третьи выборы выиграл Роландас Паксас. Это было второе и уже успешное появление представителя "нового поколения". За пять лет многое усвоено: были задействованы громадные денежные ресурсы, агрессивная реклама и необычные способы агитации. Особую роль сыграли и профессия летчика, а также характер, позволившие Р. Паксасу подняться с земли в то время, когда на ней нужно наводить порядок. Начало полета Р. Паксаса – октябрь 1999 г., когда он воспротивился тому, чтобы "Мажейкю нафта" была подарена американцам. Сделал он это поособому: исполняя обязанности премьера, отказался подписать позорный и вредный для Литвы пакт.

Однако не сделал главного: не ушел в отставку. Уйдя, он вызвал бы правительственный кризис и остановил голосование Сейма в пользу "Вильямса". Между тем, оставшись бессильно сидеть в премьерском кресле, он позволил договор с "Вильямсом" подписать ставленнику. А сам... стал "героем". С этим мифом он и

полетел в будущее, меняясь как хамелеон и выиграв в 2003 г. выборы. Победил даже не "герой", победили невиданные в Литве технологии выборов: Р. Паксас всем обещал все, особенно то, чего дать не мог. И это был удачный блеф.

Так мы впервые пережили угрозы выборов новой эпохи. Технологии. И их короткий век. Поскольку Р. Паксас не нес Литве никакой идеи, никакого канона, а являлся лишь собственным образом, актером, его миф быстро развеялся. Нападки СМИ его сломили, и в апреле 2004 г. состоялся успешный президентский импичмент.

Разумеется, он не украсил Литву, однако эта процедура являлась закономерным и необходимым противовесом технологиям. Дорого обошлось это восстановление равновесия. Увы, без опыта карнавала литовский менталитет не обошелся, и это - закономерность новой эпохи.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРЕЗИДЕНТ – НАДЕЖДА ЕВРОПЫ

Американский миф блуждал в Литве около полувека, а сколько блуждал европейский миф? Еще с довоенных лет. Поэтому, когда в 2004 г. Литва стала полноправным членом ЕС, многие превратили этот миф в действительность и эмигрировали, бросив Отчизну на произвол судьбы. Однако оставшихся было большинство и им пришлось созидать Европу в Литве. Различные структурные фонды, выплаты земледельцам и др. - это была лишь часть нового влияния Европы. Поэтому, как только представился случай, в мае 2009 г. президентом была избрана Д. Грибаускайте, "министр финансов" Европы. Уже тот факт, что литовка с 2004 г. ведала деньгами гиганта, являлся для нас как бы знаком литовского качества, честью. Лучшей кандидатуры для начавшейся

эпохи денег и быть не могло. Огромная популярность кандидату была гарантирована. Не только симпатии были на стороне Д. Грибаускайте, но и глубокая убежденность: это нужно. Потому что нужно уметь распоряжаться деньгами, такое настало время.

Д. Грибаускайте наиболее сопутствует успех среди всех четырех руководителей новой Литвы.

Она выдержала сильнейший шантаж СМИ и продолжает выдерживать их давление. Ее рейтинги не по зубам никакому политику. Значит, в ее лице выражается то, что необходимо народу. Не хватает лишь одного: за 2 года президент не воспользовалась гуманитарными ресурсами народа. К примеру, для стратегии выживания Литвы жизненно важно не приносить в жертву систему образования ради услуг безликого либерализма. А она позволяет жертвовать образованием.

ПЯТЫЙ ПРЕЗИДЕНТ? БЛЕДНАЯ ИДЕЯ

Следующие выборы президента вряд ли принесут что-то новое.

На горизонте не видно новой идеи, которая означала бы закон, миф, канон. Если только народ не будет подстерегать грозная опасность - нас зальет иммиграция из третьего мира. Тогда придет и новый человек, который попытается спасти культурный генофонд Литвы. А пока этого нет, все решать будут только технологии выборов и артистические способности новых деятелей. Между прочим, есть еще одна странная закономерность: успешно управлявшие Литвой президенты приходили на пост "со стороны". А. Бразаускас - из коммунистической системы, В. Адамкус - из США, Д. Грибаускайте - из Европы. Свой человек должен быть замаран "грехом" другого мира.





Лада СЫРОВАТКО

Родилась в 1968 в Калининграде. Сборники стихов «Грустный рай» (1997), Обретение формы» (2004), «Строгий собеседник» (2011), под псевдонимом Лада Викторова. Публикации: сборник «Солнечное сплетение» (2005), «Солнечный удар» (2011), «Новая Польша» (2012, переводы). Финалист Международного конкурса переводов на русский язык произведений Чеслава Милоша, организованного Польским институтом книги (2011). Преподает в лицее № 49 Калининграда.

Переводы стихотворений Чеслава Милоша, представленные в этой подборке, принадлежат финалистам конкурса переводчиков в рамках сетевого проекта «Международный день поэзии в лицее 49»-I, осуществлённого в 2011 – 2012 учебном году. В этом конкурсе приняли участие более 30 школьников и учителей из лицеев 49 и 35, гимназии 40.

ГОД 1900

Отбросить мысли о самом себе – Лучшее средство от депрессии. Переношусь для этого в год 1900-й. Но как объясниться с толпами умерших? Всматриваюсь в зеркала, В коридоры зеркал, множимых зеркалами. Там мелькнет эгретка из цапли, там – оборки, Там – блик наготы в полумраке: Мариула, Стефания, Лилька Чешут длинные волосы...

Тот, кто выпал из времени и пространства, Разве не должен быть там же, где цезарь Тиберий Или какие-нибудь кроманьонцы, охотники на бизонов? Но они всегда рядом и лишь отдаляются, Медленно, год за годом, Словно по-прежнему кружат на нашем бесстыдном балу.

Torquato Tasso. Sicilia sive insula mirandae приведённое ниже стихотворение, озаглавленное именно так, якобы авторства Торквато Тассо, было поднесено

мною в тщательно калиграфированной рукописи госпоже Анне Ивашкевич на ее именины 26 июля 1943 года. Не было опубликовано ни в одной из моих книг стихов (Примечание Милоша)

В море тёмно-синем белый остров светит. Птица, пролетая, видит там оливковые рощи И ослика, на котором служанка, Артемис, Едет домой по дороге меж виноградниками. Её госпожа – Миранда. Дом их стоит на взгорье. Когда всадники на мулах въезжают под арку, Кличут долго, к губам приложив ладони, И эхо вторит эху: Миранда, Миранда. Высится кратер вулкана над зеленью леса, Солнечная повозка катится по поднебесью. Вся в лучах, сходит Миранда. Волос её кольца Тенью лежат на платье, и тёмным кажется тело. Уже на ступенях гости, уже их ведёт в покои Хозяйка, и бьёт в ладони: Эй, Артемис, Неси-ка вина, того, что в погребе справа. И вот уж сидят на креслах с резьбою Под взором её, подобным таящейся ночи.

САДОВНИК

«Телом и достоянием мы подвластны дьяволу, мы странники и гости в мире, где дьявол является князем и богом. Хлеб, что мы едим, питие, что мы пьем, одежды, что мы носим, и даже воздух, которым мы дышим, – все плотское в этой жизни в его власти.» (Мартин Лютер, Комментарий к Галатам, раздел 3)

Не для того создавались Адам и Ева, Чтоб поклониться Деннице зримого неба.

Светом облита, вне времени, вне ущерба Иная земля вручалась им даром щедрым.

Сад соблюдал садовник седобородый, Древ кривизну выправлял и пестовал всходы.

Дни и века озирал он, как в окуляры, – И видел целостным то, чему положил начало.

Душа в коросте корысти и в язвах – тело: Вот что таил в себе плод с запретного древа.

Остерегал их, но знал, что уже не поможет: В них ощущалась готовность к сборам дорожным.

Скрывшись в листве, думой своей печальной Обнял огни, мосты, вокзалы, причалы,

В небе ночном самолёт, похожий на искру, Убийства на сцене и на войне убийства.

Бедные дети мои, почему вас так тянет Видеть пустыню, где жёлтые зубы череп оскалит,

Бёдра упрятать в шоссы и кринолины, Жизнь расчленять на следствия и причины?

Вот уже близок враг мой, и речь его знаю: Скажет вам – станьте как боги, запрет преступая.

Самости слуги, сообщники в первом обмане, – Вы не богами, а богокалеками стали.

Дети, несчастные дети, какими кругами Вы возвращаетесь в сад мой, разрушенный вами!

Вновь он цветёт – по аллее из липы духмяной, Мимо рабаток с шалфеем, лавандой, тимьяном

Вы подойдёте к порогу... О, блудные дети! Нужно ли было изведать все бездны на свете,

Ум отточить на системах, холодный, опасный, Вместо того чтобы жить в нескончаемой сказке,

Где не иссякнет любовь моя и опека? Ибо не лжёт Писание: у меня – лицо человека.

ДЕТСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ ЧЕСЛАВА МИЛОША

Дарья АБРАМОВА, 9 «Э» лицей 49

МОЛОДОСТЬ

Твоя несчастная и глупая молодость.
Твоё прибытие из провинции в столицу.
Запотевшие стёкла трамваев, бегущая бедность в толпе.
Испуг при входе в помещение, которое для тебя дорого.
Но всё здесь слишком дорого.
Тут увидят твою необычность,
И немодную одежду, и неуклюжесть.
Нет никого, кто бы встал рядом и сказал:

Ты хороший парень,
 Ты сильный и здоровый,
 Ты сам придумываешь свои несчастья.
 Ты бы не позавидовал тенору,
 Одетому в пальто из верблюжьей шерсти,
 Если бы знал о его страхе, о том, как он погибнет.

Рыжеволосая девушка, из-за которой так переживаешь, Кажется тебе красивой, но на самом деле она сгорающая кукла, Ты не понимаешь, что она кричит устами клоуна.

Формы шляп, фасоны платьев, лица в зеркалах Будешь помнить смутно, как будто ты это видел давно или во сне.

Дом, к которому приближаешься с дрожью, Апартаменты, которые тебя ослепляют, Смотри, там подъёмник убирает их обломки.

В своё время ты будешь многое иметь, Многим обладать, обеспечивать себя, Ты можешь, в конце концов, гордиться, когда даже нечем.

Исполнятся твои желания, тогда повернёшься ко времени, Сотканному из дыма и тумана,

К переливающейся ткани однодневных жизней, Которая волнуется, возносится и падает, как неизменное море.

Книги, которые ты читал, больше не потребуются, Ты искал ответы, а жил без ответов.

Ты будешь идти по освещённым улицам столиц юга, Вернувшись к началу, будешь восхищаться Белизной садов, когда ночью прошёл первый снег.

ПЕСЕНКА НА ОДНОЙ СТРУНЕ

С вдохновением невозвратным, В один из тёплых вечеров Я понял, что одинок.

Я проходил по улицам с липами, Дождь мыл глаза огромными каплями, Добрый дождь, сам сумел быть слезами.

Это глубокая зрелость, Это мудрость и жалость, Это к жизни небрежность.

Трамвай последний громыхал, Я на востоке облако встречал, Как будто о себе я где-то прочитал.

В далёком прошлом позабытый На мост иду я мглой укрытый, И облако в горе, как голубь сбитый.

И будь я иль младым, иль старым Спрошу: есть ли кто справедливый Кто хочет, чтоб я не был счастливым.

Для того, чтобы книги писал Иль молчанием мир волновал И улыбкой других утешал.

Вислы волна заплескалась, Последняя ложь растворилась, И ненависть вмиг затаилась.

Тот, кто не жаждет трудную книгу писать, Задумавший трудный мир волновать, Труднее одиноким сердца утешать.

Первыми ласточки солнце встречают, И малую песенку мы получаем:

В зелёной дубраве Спали три короля, Дятел стучал, Проснулись, сели, Златые яблоки ели, Кукушка звала.

ВАЛЬС

Уже звук вальса зеркалами кружит, И подсвечник, вертясь, отплывает в глубь зала, И смотри: сто свечей туман колышет, Сто зеркал отражают глубь бала.

Как цветки яблони пыль розовеет, И искры блестят от подсолнухов труб, Распяты широко, как крест перед смертью, Стекло, чернота, белизна плеч и рук.

Кружась, они бегло встречалися взглядом, По телу нагому струился и шёлк, И перья, и жемчуг с гудящим пространством, Шёпот и ритм, и зов, поворот.

Софья ВЫЛЕГЖАНИНА, 6 «В», гимназия 40

ВАЛЬС

Уж в зеркале вальса звуки отражаются плавно, И подсвечник, кружась, уплывает вглубь зала. Взгляни: подсвечников сто танцует во мраке, Сто зеркал отражают метелицу бала. И розова пыль цветочками яблонь, И искры – подсолнухи трепетных труб. Раскинуты вширь, как крест мучений, Плеч стёкла и рук мгла и их свет. Танцуют, поймав утомлённые негой глаза, Ах, а шёлк о неуловимости шепчет... И жемчуг, и перья в гремящем пространстве, И шёпот, и возглас, и кружения ритм.

Ангелина САЕНКО, 8 «Г», МАОУ гимназия № 40

ПЕСНЯ ДЛЯ ОДНОЙ СТРУНЫ

Вдохновенье не вернулось, И однажды в тёплый вечер Понял я, что одинок.

Я под липами шёл по улице, Вместо слёз дождевые капли, Добрый дождь, не могу иначе –

Значит, это и есть зрелость: Немного мудрости, немного жалости, Собственной жизни беспечность?

Проехал последний трамвай. Облачко мне сказало: «Не унывай».

Как мне это знакомо...

Всё забыто, пройдено, Я на мост возвращаюсь туманный. Сверху облако как раненый голубь.

Будь я ребёнок, будь я седой, Я спрашиваю, разве Всевышний Не хочет, чтобы я был счастлив?

А хочет, чтоб я книги писал? Или чтобы мир волновал И улыбкой людей успокаивал?

На Висле снова волна, Последняя иллюзия растаяла, Любовь остыла, ненависть истлела.

Нет желаний - книг не написать. Размышляешь - мир не взволновать. Одиноким трудно пыл сердца умерить.

Первое солнце ласточку встречает, И с моего оскудевшего языка, Эта песенка смешная слетает:

В зелёной дубраве, Дятлы стучали, Три короля спали,

Проснулись, сели, Золотые яблоки съели. А кукушка куковала...

Вероника КРАСИКОВА, 10 «Б» МАОУ гимназия № 40 ВАЛЬС

Медленно кружится зеркало в вальсе, Подсвечник, вращаясь, плывёт в глубину. Смотри: сто подсвечников вертится в зале, А сто зеркал – как сто пар на балу.

И нежная дымка, как яблони дымка, Сиянье трубы – как подсолнух в цвету. И словно распяты, раскрыты широко, Чёрные плечи фарфоровых рук...

И кружатся, глядя в глаза непрерывно, Шурша, прикрывают шелка наготу.... И перья, и жемчуг в звенящем пространстве, И шёпот, и ритм, и призыв на балу.

Таисия ШЛИБАНОВА, 10 «А», МАОУ гимназия № 40

ПЕСЕНКА ДЛЯ ОДНОЙ СТРУНЫ

Дар вдохновенья не вернуть... Тёплый вечер – дождь и грусть... Одиноким продолжаю путь.

Проходил под уставшими липами, Дождь умыл глаза тяжелыми каплями, Добрый дождь: я не смог бы умыться слезами.

Значит, это есть та зрелость, Немного мудрость, немного жалость, Жизнью своей неудовлетворенность?

Последний трамвай загрохотал, Облаком восход меня встречал, Как будто я о себе где-то читал.

Всеми забытый, оставленный, На мост возвращаюсь затуманенный, Облако в небе как голубь раненый.

И всегда, ребенком или седым, Спрашивал, решено ли Всесильным, Чтобы я не был счастливым?

И чтоб книги я сердцем писал Иль чтоб тихо мир обнимал, Других людей улыбкой утешал?

Волна по Висле пробежала, Последняя иллюзия пропала, Любовь остыла, ненависть угасла.

Без вдохновенья так трудно писать, Мыслью глубокой трудно мир изменять, Трудно сердце своё одному утешать.

Новое солнце встречает ласточка, И с бедного моего языка Слетает короткая, смешная песенка:

В зеленой дубраве Три короля спали, Дятел стучал.

Пробудились, сели, Златые яблоки ели, Кукушка куковала.



Александр КОВТУН

ПОЭТИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ

Мне дождь читал свои стихи, Он смешивал их с запахом сирени. В них было что-то от тоски И от безумного веселья.

Он шел в распахнутом пальто. Я заглянул в его тетрадь украдкой, Там было новое и то, Что он читал неоднократно.

Он путал строчки и слова, Как я, бывало, от волнения, По листьям струйками стекал, На лужах ставил ударения.

То успокаивал, то призывал, То разжигал мои сомнения, Отталкивал и обнимал, И, вдруг, терялся от смущения.

Его я слушал целый день И впитывал своею кожей, Он шел за мною словно тень, Стихами брызгая в прохожих.

MAME

Пока мама моя жива, Для нее я буду ребенком. Я сплету ей из слов кружева И украшу книжную полку.

А еще я могу ей спеть Про кудрявые листья клёна, И она меня станет жалеть, Словно я паренек несмышлёный.

Меня прежнего мало осталось, Но не нужно меня в том винить. Я дарю ей самую малость Из того, что мог подарить.

Мы разделим краюшку хлеба И некрепкого выпьем вина... Я по жизни часто шел слепо, Мама слепо меня ждала.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Цепляется ночь за кусты и деревья, Прячется в ямах, рядится тенью. С утром туманным ей встретиться хочется - Слишком устала от одиночества.

Тусклыми красками утро расцвечено, Я прохожу здесь никем не замеченный, И, оставаясь в плену сновидений, Сам себя чувствую собственной тенью.

Хмурится утро, а ночь им любуется. Холодно людям, а эти целуются. Вот уж и солнце скоро появится, Ночь обернется восточной красавицей.

ПЁС

Я не карманная собачка, Я уличный бродячий пёс. Мне не нужны от вас подачки, Я этот возраст перерос,

И приручать меня не надо, Характер мой не изменить, Но помню, было мне отрадно Под звездами у озера бродить.

В глаза взгляну, когда погладят, Увижу в них живую нить И привяжусь – на цепь не надо – Свободному на привязи не жить.

Не говорите мне: «дай лапу», Когда-то я служил всерьёз, Когда-то я был очень ласков, Тепло ладоней знал мой нос.

От злого взгляда не укроюсь, И в волчьей стае мне не жить, Но как же хочется порою, На звезды глядя, волком выть.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

Мои мысли, как рельсы, стык в стык Укладываются в ровный стих. Разлинованные шпалами листы, Здесь грохочут чувствами мосты.

Маневровая моя рука Тянет вязь письма издалека. Слышится на стыках рифмы стук, И сливается с колесным сердца звук.

Там, на полустанке, видишь – Грусть? Только ей не с нами. Ну и пусть. Проскочили мы засохшие кусты – Это нашей юности мечты.

Встречных мыслей вижу товарняк, Чувствую, что это добрый знак. Светит впереди зеленый свет, Значит остановки мысли нет.

ЗАЧЕМ

С тобой я откровенным был, – Сказал, и как-то понял сразу, Что прежде не произносил, Сакраментальной этой фразы.

А на земле и над землей Всё стало серо, как в квартире, Где мы, за маленьким столом, Еще вчера чего-то пили.

А ты была чуть-чуть бледна И, как всегда, чуть-чуть надменна, И выросла из слов стена, И я уперся в эту стену.

СЛЕДЫ

Я гуляю вдоль моря границы И читаю следы на песке, Их писали нездешние птицы На каком-то чужом языке.

Они пели нездешние песни, На какой-то нездешний мотив. Уносил их в края неизвестные, Налетающий ветра порыв.

Это ты их прислала за мною, Значит хочешь мне что-то сказать. Своей радости я не скрою. Жаль, что слов не могу разобрать.

ОНЕМЕВІНЫЙ КОЛОКОЛ

Странной картиной закончилась Ещё одной ночи бессонница: Я видел себя мрачным колоколом В заколоченной наглухо звоннице.

Светилось там небо сквозь крышу, И краски давно поблёкли, Шагов по ступеням не слышно, Лишь ветер свистел сквозь лёгкие.

И нелепым каким-то бредом Закончилась эта бессонница: Сидел я, укутавшись небом, У распахнутой настежь звонницы. Я был онемевшим колоколом – Кричал и не слышал ни звука. Может что-то случилось с голосом? Может это отсутствие слуха?

МЫСЛЬ НА ТАРЕЛКЕ

Дискретна мысль, прерывиста, Как азбука старого Морзе. Возьму ее, одну из ста, Выстужу на морозе,

А потом принесу скомканную К батарее, больную, в горячке, И она, в тепле моей комнаты, Разомлеет, размягчится.

Стану мять её, руки вымыв, И растягивать, и сжимать. Со стороны, может быть, некрасиво, Но Мысль начнет оживать.

И пойдет процесс сотворения... Вы скажете: так не бывает, Чтобы Мысль лежала на тарелке? А я ее уже читаю.



Наталья КАРДАЧ-ЛИСОВА

ЖИЗНЬ

Стать не мечтала ангелом И не стремилась в ад. Я не жила по правилам, А как-то – наугад. Не увлекаясь сказкою, Жила, спасибо Боже, Не пользуясь подсказкою -Как на душу положит, Как карты лягут на кон, На сколько хватит сил... Не жил тот, кто не плакал! Не пел, кто не любил! Пустое всё простое. А жизнь малым -мала! И я, наверно, стою Того, что нажила.

А годы проходят мимо. Стынет продрогший сад. Я тоже была любимой Тысячу лет назад. И мне целовали руки. И я открывала двери. Не верила я разлуке. Да и сейчас не верю! Я тоже любила с болью И скрипа шагов ждала. Я тоже была такою. И я молодой была!

Я всегда была ничейной! Жизнь летела наугад. Ни позора, ни прощенья... Все нескладно, невпопад...

Не на завтра, не на годы...
Дважды два, упрямо – пять!..
Растоптав закон природы,
Не умею умирать!
Жить, как шорох? Нет, как порох!
Жить, как маска? Нет, как грех!
Только миг во веки дорог!
Только через слёзы смех!
Всем назло я не такая!
Каждый взгляд и вздох краду!
И за то, что я живая,
Мне за всех гореть в аду!

РОССИИ

Неприкаянная, непонятная, Непокорная, нелюдимая... В миру баба ты повивальная – Жизнь дающая, но хулимая. Насмехаются, издеваются И кидают во след упреки, Но к груди твоей прижимаются, Как подходят прощанья сроки.

Вихрь по полю! Вихрь по крыше! Листья жухлые шуршат. Я тебя почти не слышу, Отступая наугад -Через осень, через зиму, Через реки, годы – вброд. Ведь не ты меня покинул, А совсем наоборот. Я ушла от дней вчерашних Под прохладу ноября. Отстучат часы на башне -Судный день календаря. Оборвут безмолвно крылья И прогонят в никуда. Я уже не стану сильной Никогда...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

«Ой, лю-ли, лю-ли, лю-ли!» -Над кроваткой наклонюсь. Улетели журавли, Да осталась грусть.

«Где твой папа, ангел милый? Упорхнул в какой он край? Мы с тобой ему постылы... Спи спокойно. Засыпай!»

Никогда не хотела Быть такою, как все. Обнаженное тело – Босиком по росе. Обожженная память – По осколкам души. Что б тебе мне оставить? Хочешь, тень подержи?

Не целуй моей руки -Слишком поздно... На дне илистой реки Вянут розы. Не пиши мои черты С этой маски. Умерла. И умер ты В этой сказке. Молодильных яблок нет -Вот и... - Финиш. Песня рухнула в кювет -Не поднимешь. Тяжелей оков судьба. Темней ночи. Только строчек голытьба. Только строчек.

А Вы боитесь приворота. Рука со стопкою дрожит. Как в Судный День скрипят ворота И ворон за окном кружит. И глаз моих немая похоть И стон из самой глубины Вас заставляют робко охать И опасаться тишины. Но, милый друг, всегда другая, И, душу пробуя на вкус, Вас мучая и зло пугая, Я больше Бога Вас боюсь.

Убаюкал свою совесть
И спокойно спать ложись.
В этом мире всё не новость –
Смерть – не смерть. И жизнь – не жизнь.
Не разложишь день на капельки.
На минуты дождь.
Ты меня любил. Навряд ли...
Так чего же ждешь?
Ведь давно уже полями
В прошлое ушла душа,
В пережитое не нами,
В скрип карандаша.

А ты ее и не знал. А ты ее и не слышал. Не ведавшую зеркал, Блуждающую по крышам. Лакающую пустоту Из блюдечка озаренья. Распявшую высоту, Упавшую на колени Перед своим грехом В облике херувима. Промчавшуюся верхом Мимо себя. Мимо...





Алексей СИМОНОВ

«Дю Вентре в эпоху джу Гашвили»

Без необходимого жить можно, Без лишнего нельзя.

М.А.Светлов

У этой истории много начал. И совершенно невозможно определить, какое из них следует считать первым.

Одно начало – самое древнее – 1553-й год – год, когда в Гасконии, в семье обедневшего дворянина родился Гийом дю Вентре – поэт, бретёр, баловень женщин.

Другое начало следует датировать где-то 1943-м годом – даты в этом повествовании носят приблизительный характер – в литейном цехе завода-лагеря под названием «Свободное» два «придурка» тащили кокиль с чугуном для разливки его в изложницы, – делали минные корпуса, и передний, приостановившись, кинул через плечо заднему:

– Вот так Вулкан ковал оружье богу. Еще одно начало - четыре года спустя. Москва, комната с кривым полом в двухэтажном флигеле на Зубовской площади - аккурат там, где стоит сейчас тяжкий утюг Счетной Палаты. Среди немногочисленных вещей Якова Харона, которые он привез из лагеря на волю после десятилетней отсидки, ограниченную запретом жить в одиннадцати крупнейших городах страны маленькая, в четвертушку листа, розовато-сиреневая книжечка, отпечатанная на чертежных синьках: «Гильом дю Вентре. Сонеты» - и нарисованный вензель. В той книжке появились на свет первые сорок сонетов. Книжка открывается вульгарно-казенным – в духе сороковых – предисловием переводчиков: Якова Харона и Юрия Вейнерта.

А вот и четвертое, тоже неплохое начало: слышите, как фамилия переводчика Вейнерта отзывается в имени автора сонетов – Вентре? «Когда б вы знали, из какого сора...», вот именно.

Протокольно точное начало этой истории - 1988 год. Уже нет на свете ни Вейнерта, ставшего жертвой несчастного случая в шахте в ссылке в начале пятидесятых, ни Харона, умершего от последствий лагерного туберкулеза в семьдесят втором. Ко мне приходит Эда Кузьмина - редактор издательства «Книга», дочь великой переводчицы и маминой приятельницы, Норы Яковлевны Галь, и предлагает мне составить, снабдить предисловием и выпустить в свет ту рукопись, которую, «ну, ты помнишь, никак не удавалось напечатать десять лет назад». И весной 89-го выходят «Злые песни Гийома дю Вентре», где впервые, тиражом в сто тысяч экземпляров появляются сто сонетов, прозаические комментарии Харона, написанные за 20 лет до того в туберкулезном санатории и мое предисловие – первый и до сего дня единственный доступный источник некоторых

более или менее надежных исторических достоверностей, на которых держится сия легенда.

Ну и, напоследок, еще одно - на этот раз международное - начало. В 2003 или 2004 году мне позвонила из Парижа некая аспирантка Сорбонны (есть ли там аспирантура или я неправильно ее понял - не знаю) и попросила разрешения использовать мое предисловие как источник сведений об авторах Гийома, которому она посвятила свою диссертацию и уже перевела несколько сонетов на ... тут я стал так смеяться, что даже забыл записать, как звали даму. Смешно мне было от того, что перевести сонеты дю Вентре можно было только на язык оригинала, а оригиналом этих текстов был язык переводов с французского, где антураж XVI века был заимствован из «Хроники времен»... - Мериме или «Мушкетеров» - Дюма. И мне, как-то совсем забывшему о Франции как о родине дю Вентре, все это показалось безумно смешным.

Сделали ли дю Вентре французским классиком – не знаю, под каким соусом подавалась ее диссертация – не ведаю, но то, что родиной дю Вентре была Россия, вся история рождения и бытования этой мистификации только подтверждает – это так.

А зачем?

Поскольку пишу я это специально для номера журнала о литературных мистификациях и всякий в нем публикующийся должен будет так или иначе ответить на сей вопрос, обойдусь-ка я без теории – во-первых, как таковая она для меня вещь в себе, малоосвоенная, труднодоступная, во-вторых, найдутся среди авторов и лучше меня вооруженные знанием

и ответят на этот вопрос на должном уровне, а в-третьих – и это, как мне кажется, ближе всего к истине – ответов на этот вопрос будет столько же, сколько публикаций, потому что в каждом случае отдельному «зачем» соответствует свое «потому что». И снова – не одно, как и в описываемой мною истории.

Сто сонетов разделены на пять тетрадей, по 20 в каждой. И каждой тетради придана глава прозаического комментария, написанного Я.Е.Хароном через годы и имеющего целью объяснить читателю обстоятельства места и времени рождения сонетов – войну, лагерь, одиночество, азарт работы, спасительность чувства юмора.

«Эти стихи, - пишет Харон, словно отвечая на наше главное «зачем»? были для нас не целью, а средством». Надеясь на догадливость читателя (в то время сугубо гипотетического) Харон не поясняет, средством чего или от чего. Ну что ж, попробуем догадаться, например, с помощью классиков. «Главное изменение в людях, - пишет о лагере Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба», - состояло в том, что у них ослабевало чувство своей особой натуры, личности и силилось, росло чувство судьбы». Сонеты дю Вентре помогали авторам оставаться самими собой, не давали ослабеть «чувству особой натуры» и бросали вызов судьбе - в этом их главный смысл, главное достоинство, и, как мне представляется, главное «потому что».

Очень уютно чувствуешь себя, когда можешь и на другое «зачем» найти авторитетный ответ в творческом наследии умных современников. На вопрос почему на строчку: «Вот так Вулкан ковал оружье Богу», произнесенную Вейнертом, Харон отозвался в риф-

му: «Персей Пегаса собирал в дорогу», или, иначе говоря, почему это «не цель, а средство» достигалось именно через поэзию, отвечу Борисом Слуцким, его стихотворением «Когда русская проза пошла в лагеря»:

…Прозой разве утешишься в горе? Словно утлые щепки Вас влекло и несло, Вас качало поэзии море.

По утрам, до поверки, смирны и тихи, Вы на нарах слагали стихи. От бескормиц, как палки, тощи и сухи, Вы на марше творили стихи. Из любой чепухи Вы лепили стихи.

Ну и еще одно «зачем?» – относится к избранной форме. Выбирая сонет, они обеспечивали себе головную боль на весь кусок своей жизни, посвященный или освещенный Гильомом дю Вентре – так он назывался при рождении в России. Сначала я отвечу на этот вопрос теоретически, приведу ответ из их, Харона с Вейнертом предисловия, из которого яснее ясного насколько туманна эта теория и насколько соответствует она нормам вульгарного литературоведения середины 40-х:

«Увлечение Гийома дю Вентре сонетом – скорее всего дань моде; но оно объясняется, если угодно, еще и активной неприязнью юноши к псевдоклассическим длиннотам придворной поэтической речи. В детстве поэта окружал скупой и сочный язык гасконских крестьян, известных своей способностью одним острым словцом взбеленить соседа и заодно лишить дара речи его сварливую жену (разумеется, если она не гасконка). «Одной прибауткой гасконец убивает трех провансальцев», – говорят еще и сегодня на родине дю Вентре. Привлекательная сила сонета – в его лаконизме, позволяющем, однако, облечь содержание, объем и тематический диапазон которого недоступен ни одной из прочих миниатюрных форм. [...]

У дю Вентре мы уже встречаем сонет-сатиру, сонет – жанровую сценку, наконец, сонет-декларацию, в котором заключительные строки – «ключ» – обретают выразительность и функцию призыва, лозунга. Современники поразному воспринимали эти вольности. [...]

... А, например, Агриппа д'Обинье, близкий друг – и литературный «противник» – дю Вентре, упрекает его в сонете же, ему посвященном:

Твой стих, Гийом, нагнать способен страху: Ты влил в него и желчь, и пьяный бред! Сумел ты изуродовать сонет, Как дьявол искорежил черепаху... и т.д.

Так или иначе увлечение сонетной формой с той поры стало весьма распространенным. Лаконичность сонета, ясность и строгая логика его построения («диалектичность»: 14 строчек, 4 строфы – теза, антитеза, синтез и ключ, неожиданным афоризмом или иным эффектным аккордом венчающий поэтическую миниатюру и одновременно раскрывающий читателю гражданский ее подтекст) обусловили широкое распространение этой формы во всех литературах Возрождения».

T UTO

Надо сказать, что писали они это предисловие уже после... после того как был сформирован план мистификации: 5 тетрадей по 20 сонетов, после

того как первые сорок сонетов были отредактированы и подготовлены к изданию в виде тех самых пяти книжечек на розовато-сиреневых синьках, про которые я уже упоминал. Здесь, не сдерживаемые необходимостью каждое хулиганство уложить непременно в 14 строк, Харон и Вейнерт шалили во всю, «показывали образованность», развлекались на интеллектуальном поле, делая вид что играют по правилам своего времени. Когда я готовил книжку к печати, в 88-м, то побоялся реакции образованного читателя и убрал этот балаган в «приложение», как исторический факт, не имеющий художественной ценности.

«Писалось оно уже под конец «когда чувство исполненного долга наполняло нас радостью, и была это уже не работа, а веселая игра – мы резвились и валяли дурака, давали волю своей фантазии и хохотали, представляя себе возмущение ученых мужей - наших будущих читателей - «непростительными прегрешениями» против истории. лингвистики, стилистики и прочая...» - так пишет сам Харон в своих комментариях и из них же возникает не простой вопрос: «уже не работа, а веселая игра» - значит, сами сонеты были работой? т.е. чем-то освященным их общими жизненными принципами?

Попробуем догадаться, в чем тут дело. И Харон нам помогает своими комментариями, в которых под видом трепа выдает самые серьезные мысли и желания. Например, такое: «Всю жизнь, сколько я себя помню, это казалось мне величайшим счастьем – уметь что-то делать. Не как-нибудь, не тяп-ляп, а понастоящему, красиво, легко, свободно, виртуозно. Разницы в профессиях для меня в этом отношении просто не существовало. Красивая работа столяра или пианиста, токаря или живописца,

слесаря-лекальщика или хирурга – все мне казалось равно прекрасным и вызывало горячую зависть. «Вот бы мне так» – пожалуй, наиболее постоянный лейтмотив моих заветных дум и мечтаний в течение долгих лет, чуть ли не всей жизни».

То есть мы имеем право предположить, что сонет был избран именно потому, что это одна из самых трудных литературных форм и научиться ею владеть, следовало «легко и виртуозно», причем независимо от образования и вопреки более чем скромным возможностям лагерной библиотеки, цитаты из Агриппы д'Обинье приходилось придумывать самим, а латинских грамматик неоткуда было взять.

Харон и Вейнерт попали в лагерь в одном и том же возрасте: двадцать три им исполнилось уже за решеткой. И если у Харона за плечами были несколько курсов Берлинской консерватории и работа на киностудии, то у Вейнерта, первый раз сосланного сразу после 9-го класса школы - ничего кроме знаний из рук в руки - от соседей по высылке или нарам. Так что планку они себе поставили на почти недосягаемую высоту ...

* * *

Теперь я хотел бы привести хотя бы несколько сонетов, чтобы читатель мог составить собственное мнение о том, что из всего этого у них получилось.

Ну, к примеру, это:

Меня учил бродячий менестрель, Учили девичьи глаза и губы, И соловьев серебряная трель, И шелест листьев ясеня и дуба.

Я мальчиком по берегу бродил, Внимая волн загадочному шуму, И море в рифму облекало думу, И ветер сочинять стихи учил.

Меня учили горы и леса; С ветвей свисая,

мох вплетался в строки. Моих стихов набрасывала кроки Гасконских утр прозрачная краса.

Меня учил...

Но суть совсем не в этом: Как может быть гасконец не поэтом?!

Или это:

Когда стоишь одной ногой в могиле, Ты вправе знать: за что тебя любили?

Меня любила мать за послушанье, За ловкость рук —

учитель фехтованья, Феб-Аполлон— за стихотворный пыл.

За томный взор меня любили прачки, Марго — за вкус, а судьи — за подачки. Народ за злой язык меня любил.

Отец духовный— за грехов обилье, Раскаянье и слезы крокодильи. Агриппе нравилось, что я— чудак.

Три короля подряд меня, как братья, Любили так,

что чуть не сдох в объятьях. Лишь ты меня любила «просто так».

Я люблю и за многие годы выучил наизусть по крайней мере пятую часть творческого наследия Гийома дю Вентре. Поэтому позвольте еще пару из самых мною любимых:

«Аз есмь Господь...» —

Слыхал. Но сомневаюсь. «Не сотвори кумира...» — А металл? «Не поминай мя всуе...» —

Грешен, каюсь: В тригоспода нередко загибал. «Чти день субботний...» — Что за фарисейство! Мне для безделья всякий день хорош. «Чти мать с отцом...» — Чту.— «Не прелюбодействуй...» От этих слов меня бросает в дрожь!

«Не убивай...» —
И критиков прощать?!
«Не укради...» —
А где же рифмы брать?
«Не помышляй
свидетельствовать ложно...»,

«Не пожелай жены, осла чужих...» (О, Господи, как тесен этот стих!) Ну, а жену осла-соседа — можно?

Чтоб в рай попасть мне — множество помех:
Лень, гордость, ненависть, иревоугодье,
Любовь к тебе и — самый тяжкий грех — Неутолимая любовь к Свободе.

Ленив я. Каюсь: здесь моя вина. Горд. Где найти смиренье дворянину? Как обойтись французу без вина, Когда он пил на собственных крестинах?

Любить врагов? Об этом умолчу! С рожденья не умел. И не жалею. В любви к тебе признаться? Не хочу: Тебе признайся—

будешь мучить злее. Отречься от Свободы? Ну уж нет: Пусть лучше в пекле жарится поэт!

Сонеты расположены вдоль придуманной Гийому дю Вентре биографии. Они – ее верстовые столбы. Годом рождения авторы избрали 1553 и

оказались Нострадамусами. Раньше 1953-го 400-летие Гийома, к которому они надеялись приурочить выход сборника в свет, не могло состояться. В стране СССР выход в свет дю Вентре не мог состояться пока жив был джу-Гашвили.

Далее, по версии переводчиков, семнадцатилетний юноша попадает в Париж, стихи, дуэли, романы. У него все в будущем, он весел, остроумен, удачлив и... беден.

Благодарю тебя, Создатель мой, За то, что под задорным галльским солнцем (Под самой легкомысленной звездой!) Родился я поэтом и гасконцем!

За страсть к Свободе, за судьбы стремнины, За герб дворянский, за плевки врагов, За поцелуи женские, за вина, И за мое неверие в богов,

За мой язык французский, злой и сочный, За рифм неиссякающий источник,— Твои дары пошли поэту впрок!

Мне на земле не скучно, слава Богу,— Неплохо ты снабдил меня в дорогу! Одно забыл: наполнить кошелек.

Взрослость наступает неожиданно и жестоко. В 1572 году придворные интриги, казавшиеся молодому дю Вентре забавами, оборачиваются трагедией Варфоломеевской ночи, где, верный принципу д'Артаньяна: «если трое напали на одного – неправы трое», он, легкомысленный безбожник, оказывается в рядах побиваемых гугенотов.

Не буду пересказывать дальнейшее своими словами, снова обращусь к пре-

дисловию, написанному еще обоими соавторами:

«С неимоверной силой возмущения и гнева, неожиданной и даже удивительной для вчерашнего изящного каламбуриста, угождавшего своими эффектными, но безыдейными остротами всему Парижу, Вентре обрушивается на инициаторов погрома – Карла IX, королеву-мать, Гизов.

Первые же два-три образца творчества в новом жанре обеспечивают их автору место в Бастилии и увлекательную перспективу – расстаться с собственной головой на Гревской площади. Пожалуй, лишь незаурядная популярность поэта и его широкие связи побудили Карла заменить смертную казнь «за королевскую измену», как это тогда называлось, вечным изгнанием дю Вентре из Франции».

Паук-судья мне паутину вьет. В ушах не умолкает гул набата... Молиться?

Не поможет мне Распятый: Заутра я взойду на эшафот.

Не рано ли поэту умирать? Еще не все написано, пропето! Хотя б еще одним блеснуть сонетом — И больше никогда не брать пера...

Король, судья, палач и Бог — глухи. Вчера кюре мне отпустил грехи, Топор на площади добавит: «Amen».

Умрет Вентре. Но и король умрет! Его проклятьем помянет народ, Как я при жизни поминал стихами.

Затем Англия, где дю Вентре проводит в изгнании несколько лет. Возвращение. Участие в так называемых гугенотских войнах. Он дружит с Генрихом Наваррским, впоследствии теряя его расположение вскоре после того, как

друг Генрих становится французским королем – Генрихом IV, и так вплоть до Нантского Эдикта 1598 года, когда след его теряется в истории. Вот что пишут об этом авторы:

«Отсутствие дат и иных документальных оснований исключает возможность строгой хронологической систематизации литературного наследия этого солдата, ворвавшегося - по собственному его определению - с пистолетом на Олимп, этого столь же одаренного, сколь и легкомысленного французского бунтаря. Исходя из ощутимой автобиографичности его произведений и руководствуясь собственными стилистическими соображениями, мы расположили избранные нами 100 сонетов в пяти тетрадях, в известной мере отвечающих пяти важнейшим этапам жизни и творческой эволюции их автора».

Не многие события в жизни Гийома дю Вентре уподоблены обстоятельствам жизни его авторов. Заключение в Бастилию, изгнание из Франции, любовь по переписке - вот, пожалуй, и все. Зато в зеркале характера дю Вентре отражаются их черты: и молодость, и бесшабашный атеизм, ироничность, задиристый, не признающий запретов юмор, неприхотливость в житейских обстоятельствах и даже уверенность в незаурядности своего предназначения. Пусть не так отчетливо и резко, но отразился в сонетах и разнобой их чувств (ведь писался дю Вентре не один год): грусть и жажда мщения, тоска несвободы и жар схватки со злом, моление о справедливости, страх перед беспамятством близких, счастье полученного письма, горечь измены... Чувства сосуществовали и составляли жизнь автора, - овеществленные в стихах и собранные в тетради, они становились биографией героя. Только не следует воспринимать

сходство их чувств и биографий слишком буквально. Очень соблазнительно в строках: «дрожи, тиран, перед моим пером» или «но я тобой, король-мясник, не побежден» - и еще в десятках подобных строчек вычитать их ненависть к Сталину или, на худой конец, к Ежову с Берией. И, вероятно, кто-то из тех, кто читает эти строки впервые, поддастся этому соблазну. По-моему, делать этого не стоит. Не стоит им навязывать нашу запоздалую мудрость. Свобода и тирания – вечное противоречие, вечная боль человеческой души и, следовательно, – вечная тема поэзии.

* * *

Крупным литературным событием книга Гийома дю Вентре так и не стала. И едва ли могла, изданная в 47-м в 5 экземплярах. Но - и в конце войны, и в первые два послевоенных года она не могла появиться на свет вообще, хотя читавшие первые сонеты, такие литературные авторитеты, как шекспировед Михаил Морозов, переводчик Михаил Лозинский, поэт Владимир Луговской давали на них восторженные отзывы. Создался даже малый круг любителей и поклонников Гийома и его сонетов, но ни для одного из них эти стихи и биография их автора не были мистификацией: все знали, что написаны они двумя зеками в лагере «Свободное», историю которого можно найти сегодня в Яндексе, где, отзываясь на пароль «Гийом дю Вентре», есть среди 17 страниц упоминаний, в том числе и история лагеря, позднее ставшего заводом. Были читатели знавшие авторов лично, а среди них Григорий Львович Рошаль и Вера Павловна Строева - величественные мамонты кинорежиссуры эпохи черно-белого расцвета, т.е. конца тридцатых, моя мама, закончившая Литинститут перед самой войной, из чьего

дома Харона и забрали 1 сентября 1937, ее так сказать, референтный круг, состоящий из культурных родственников и особо доверенных инженеров (мать всю войну служила по снабжению металлом в танковой промышленности). «Маркиза Л» (Люся Хотимская), к которой обращены основные лирические сонеты - возлюбленная, а потом жена Вейнерта, ленинградка, косвенная виновница последней Юриной посадки - они обменялись столь многозначительными телеграммами, понятными только им двоим, что не заподозрить шифрограмму тайного сообщества было в 1937 просто невозможно. Я хуже знаю ленинградский круг первых читателей Гийома – мое знание скособочено: из Юриной семьи я знал только в конце пятидесятых Юриного младшего брата - инженера, который изредка навещал наш с мамой дом.

Были среди первых читателей и критики, и даже редакторы, о которых с особым пиететом вспоминает Харон в своих прозаических комментариях: первые поправки в текст предложил в письме, посланном в лагерь, Николай Альфредович Адуев, франкофон и юморист старой школы.

«Приведу лишь несколько примеров «редактуры на полях» – пишет Харон в комментариях, – как мне представляется – очень характерных для поэтического и человеческого облика Николая Альфредовича.

Рифма «увенчан – женщин» обведена многозначительной и сердитой чертой. Приписка: «Очень изъезжено. Даже у меня есть!» [...]

...В «Химерах» первой редакции второй катрен описывал, как «друг друга рвут зубами обезумевшие кони». Адуев поставил рядом снежинку-сноску, а внизу написал: «Еще рыдают раненые кони» (Стийенский). «Хохочет,

обезумев, конь» (Сельвинский). И вы, Вентре, в ту же конюшню?»

...Седьмая строка в «Четыре слова» первоначально выглядела так: «За них я шел в Бастилью и в изгнанье». Адуев: «А лучше так: в Бастилию, в изгнанье. На что ж даны нам знаки препинанья?»

...Поправка в строчке «Генрих Гиз – дерьмо» – совсем крохотная: многоточие. Но вот как аргументирует Николай Альфредович: «Точнее бы mot на рифму дерьмо. Но поскольку г-но, сойдет и давно. Только... поставьте в связи с этим перед «дерьмо» многоточие.

...«Не француз, не XVI век, а ученик Игоря Северянина!» – это по поводу «Ты встречи ждешь, как в первый раз, волнуясь, Мгновенья, как перчатки теребя» и т.д. Бесчисленные «как» обведены Адуевым кружочками, а сбоку дан совет: «Сонет творя, не «как»-айте зря!»

В общем – всем бы поэтам такого редактора!.. Тем более что на похвалу Адуев был не менее щедр – и не менее изобретателен».

* * *

По большому счету мистификацией эта история стала только на недолгий период во второй половине пятидесятых, когда авторы-переводчики утратили моральный авторитет доблестных интеллигентов, сидящих в лагере и стали просто переводчиками или чем-то вроде переводчиков какого-то малоизвестного француза. Харон, уже отпечатал и сброшюровал в самиздатскую книжку 100 сонетов. В связи с отсутствием лагерных копировальных возможностей, сброшюрованная книжка существует в единственном экземпляре, уже Юры нет в живых лет пять, а самоуничижение паче гордости - Яков предъявляет своим доброхотам-распространителямединственноеусловие:это и маме, и ее литературным подру-

гам - Фриде Абрамовне Вигдоровой или Надежде Яковлевне Мандельштам: показывайте кому хотите, но без рассказа об авторах и лагере. Не хотел, не терпел, боялся снисходительности. И если, пока он был там, Вентре был их письмом на свободу, теперь, когда на свободу вышел он сам - Вентре для него становился литературной шуткой, важной главным образом тем, что она в памяти была накрепко связана с Вейнертом, ведь портрет Вентре был создан не только путем перестановки букв, но и пририсовыванием усов и густой шевелюры к портрету все того же Вейнерта. Таким и запечатлен в истории. А как только из биографии Гийома убрали место рождения, он сразу посерьезнел и претензии к нему возросли многократно. С целью пробить сонеты в печать мать и ее подруги стали давать их читать тем, кто имел вес и мог этому помочь. Иногда оказываясь в крайне неловких ситуациях, или того хуже затягивая в них уважаемых людей.

«Дорогая Фридочка! - цитирует Харон, - Что делать? Научите, пожалуйста. Сонеты Харона мне ужасно не понравились - Я ненавижу щегольство стилизацией, манерничанье, Гийомов, Агасферов, Обинье, Валуа, Мануциев, Амати и Finita la commedia, и Quod erat demonstrandum, и Sic transit... Умом я понимаю, что кое-где есть и остроумие, и меткость, и мастерство, но для души мне это нисколько не нужно - мне скучны эти дешевые позы, этот моветон наигранного снобизма, эта мармеладная Гаскония. Мне так хотелось, чтобы все это было прекрасно, - но с каждой страницей книга становится все более чуждой мне. Даже острая тематика на стр. (...) и др. не примиряет меня с ней. И кроме того, я, старовер, люблю, чтобы сонеты были сонетами. Эта трудная форма требует точных рифм. А здесь

слово «сабо» рифмуется со словом «моего» (и «зубов»), слово «спасти» со словом «Стикс», слово «Нострадамус» со словом «руками». Есть крылатые слова, есть эффектные мысли, но – разве этого мы хотим от поэзии?

Не правда ли, как грустно? Я так хотел, чтобы стихи мне понравились. Надеюсь, Вы не сказали поэту, что они у меня. Умоляю Вас не читать ему этих строк. Скажите, что я болен (это правда!), что я уехал, ради Бога – ведь я не виноват, – помогите!

Ваш...» – дальше у Харона так:

«Зная мой легкий нрав неунывающего оптимиста, Фрида Абрамовна последней просьбы не выполнила, - чем доставила мне неподдельное удовольствие, омрачаемое лишь сожалением, что и Юрке не довелось прочесть этот приговор. Вот уж кто бы повеселился! Юрка выучил бы его - да просто запомнил его наизусть с ходу, и всякий раз, как я стал бы что-то «редактировать», утирал бы мне нос подходящей цитацией - о, как он это умел!.. «Не очень надрывайся-то, - язвил он обычно, - не то доредактируешься, чего доброго, до того, что нас за настоящего дю Вентре примут...».

В отличие от Харона, который так и не назвал автора этого письма, я - сын грубого века - могу сказать, что история с Корнеем Ивановичем Чуковским была еще веселее, чем это извиняющееся письмо Самуила Яковлевича Маршака. Высказав значительные стилистические, исторические и прочие замечания как по форме, так и по содержанию, Корней Иванович вдруг услышал от собеседницы как и где эти сонеты рождены, то, чего Харон не велел обрушивать на экспертов. Так Чуковский не просто дал задний ход, а принялся убеждать свою собеседницу, что за эти пять минут у него буквально перевернулась

психика, изменился взгляд на мир и совершенно иначе стала выглядеть шкала ценностей.

Какие ловушки устраивает нам история, особенно советский ее период, как подталкивает к двойной морали высокомудрых, культурных и нравственно полноценных своих граждан. С этой точки зрения, сонеты дю Вентре безусловно были мистификацией, да еще какой!

* * *

А потом Харона догнал лагерный туберкулез. Открытая форма обрекает на долгое санаторное лечение. И вот, воззвав к всегда присутствовавшему в Хароне демону целесообразности, его жена Света, его подруга - моя мама - чрезвычайно узкий у Якова, референтный круг, уговорили его, что раз публикации самих сонетов добиться не удалось, необходимо предпослать им некий прозаический комментарий, рассказывающий историю их, Гийома и сонетов, появление на свет. Напомню, что это было время выхода «Самородка» Шторма, «Одного дня...» Солженицына, Алдан-Семеновских патриотических воспоминаний, т.е. лагерная тема перла во всю. И Харон, которому не позволено было убегать из санатория на свою любимую киностудию, признал, что это - наиболее рациональный способ бессмысленного убийства времени. Харон вообще был человек на особицу: заявление о приеме в Союз композиторов он назвал «Челобитная для пишущей машинки соло» и не сильно огорчился, когда заявление было отвергнуто. То, что вышло из-под пера Харона было разительно непохоже на господствовавшую интонацию завороженного покаяния, с каким мы воспринимали написанное о лагере.

Помнится великий Шаламов говорил про размер лагерной темы, где уместятся десятки Солженицыных и пяток-десяток Толстых. Но ведь и он не подразумевал, что в числе оных окажутся свои Ильф и Петров или того хуже свой Гашек с Иосифом Швейком – любимым литературным героем Харона. А в комментариях Якова Евгеньевича швейковская интонация занимает основополагающее место. Не зря же он утверждал, что юмороснова человеческого общения, даже если объектом осмеяния приходится быть тебе самому.

Ирония в рассказах о лагере? Да это же кощунство. И так она в дальнейшем и воспринималась эта книжка, которая с тех пор состояла из стихов и прозаического комментария и, перестав быть мистификацией, стала нормальным литературным самотеком, не принятым журналами и издательствами с той самой поры и до поры оттепели и перестройки, т.е. те самые 17 лет, которые прошли зря для истории Гийома от написания комментария до выхода книги в 1989. И только уже в начале девяностых появится еще одна книга, написанная с той же степенью насмешливости в отношении к пафосу, написанная еще одним киношником и старым сидельцем Валерием Семеновичем Фридом, «58 с половиной», где он поминает Харона, как своего литературного предшественника в развенчании пафоса темы тюрьмы и лагеря.

* * *

«А теперь, уважаемый читатель, переверните эту страницу. Вы услышите, как зазвучит медь оркестра, ведь вы совершаете таинство первооткрытия: именно с этого, долгожданного и торжественного, события и начнется

третья биография Гийома дю Вентре», – так заканчивалось мое предисловие к вышедшей в 89-м книге «злых песен». Как видите, лично я не смог избежать некоторого пафоса и вполне вероятно заслужил бы за это хорошую затрещину от авторов-переводчиков, но никого из них давно уже не было в живых.

Что же осталось от этой культурной шутки, временем и обстоятельствами превращенной в мистификацию, переменами в этом времени выращенной в легенду и к нашим дням основательно подзабытой, но все-таки подкрепленной полутора сотнями упоминаний в меню интернетовских справочников, где многочисленные пересказы друг друга и первого моего предисловия к книге 89-го года перемежаются выдержками из мемориальских списков осужденных по 58-й, где Вейнертов, кроме Юры еще четыре, а Харон - один, выступлением неведомой мне музыкальной группы с диким занудством исполняющей один из сонетов дю Вентре на собственную музыку, некое изыскание сибирского краеведа по поводу истории поселка «Свободное», где родился Гийом, и превращения тамошних авторемонтных мастерских в завод.

Не знаю, стал ли дю Вентре в результате написанной о нем диссертации признанным классиком французского средневековья. Как я уже упоминал, бесцеремонность моей реакции на сообщение дамы из Сорбонны, видимо, не подтолкнула ее к продолжению нашего знакомства. Одно только: скорее всего переводы дю Вентре на «язык оригинала» едва ли добавили им прелести и известности – уж больно отличаются по породе и темпераменту те, кто «переводил» с французского от тех, кто «возвращал их «родной речи». Видите: одни кавычки во фразе.

Неожиданным продолжением исто-

рии дю Вентре в России стал вышедший в 2004 году в издательстве Вагриус роман некоего Леонида Острецова «Все золото мира или отпуск в Зурбагане», где главным героем исторической части романа является ... Гийом дю Вентре отпрыск старого дворянского рода, да, да тот самый, ибо на странице 42 имеется сноска: «Авторство сонетов принадлежит Я.Харону и Ю.Вейнерту, а эпиграфы к главам - автору романа». Так что не только сам Гийом обрел новую биографию, но даже творческий его портфель пополнился некоторым количеством виршей, увы, уступающих приведенным в тексте сонетам «исторического» дю Вентре.

Ну и – завершающий аккорд этой истории, где Гийом и его стихи выступают в двух ипостасях: перста судьбы и уз Гименея. Я оставил его на закуску: уж больно, как мне кажется, он хорош.

В начале пятидесятых в Воркутинском лагере под названием «Кирпичный Завод» сидела моя тетка, Софья Самойловна Ласкина, отправленная туда еще в 49-м. Срок она мотала несоразмерный - 25 лет, так что иллюзии о человеческом будущем посещали ее только тогда, когда вместе с товарками, устав от катания тачек на шахте, они читали друг другу стихи, кто что помнил. Среди теткиных запасов памяти оказалось несколько Гийома (тогда еще Гильома) дю Вентре. В составе этой небольшой компании сиделиц была и юная филологиня (незаконченный Университет) Стелла Корытная, которую все и тогда, и много позже, до самой ее смерти, звали Светой. Отец Светы, бывший первый секретарь Московского горкома партии Семен Корытный был расстрелян еще в годы большого террора, мать -Белла Якир - старая большевичка и

родная сестра Ионы Якира - сидела на другом конце страны в лагере ЧСИР (Членов Семей Изменников Родины), двоюродный брат, впоследствии известный диссидент Петя Якир тоже сидел, словом, очень сидячее было у Светы семейство.

Одного из авторов-переводчиков, т.е. Харона тетка знала хорошо, а в короткий срок, когда Яков с Юрой появились в Москве после первой отсидки и перед вечной ссылкой, успела познакомиться и с Вейнертом, так что представление об этих орлах имела вполне основательное: ну как могли стихи, написанные в одном лагере восприниматься молодыми женщинами в другом? Талант помноженный на несгибаемость духа вызывал восторг и растоплял фи-

лолого-исторические придирки, если таковые и были. Словом, еще не будучи знакомой ни с Хароном, ни с Вейнертом в Гийома дю Вентре Света была уже влюблена.

А потом они встретились, уже освобожденные, но еще не реабилитированные, встретились в Москве, в нашем с мамой доме на Зубовской площади, и...

Вчера я позвонил Юрке – ну как еще могли Яков и Света назвать своего позднего сына? Юрий Яковлевич – прямой потомок игры в дю Вентре – уже немолодой компьютерный гений. И его сын Яков, тоже с гордостью носит эту фамилию.

Нет, не дю Вентре - Харон.

1943-2012 гг.

Романас БОРИСОВАС

КОГДА ВРЕМЯ МЕНЯЕТ СВОЙ БЕГ

Когда-то читал, что время имеет особенность менять свой бег. Чем дальше удаляемся мы от берегов Африки, тем более спокойной становится наша жизнь на борту. Встал, поел, почистился, распушил перья, отдежурил, опять поел, ну поучаствовал в жизни на палубе, спустился вниз, поужинал, часто это затягивалось надолго..., поспал и снова вахта, только уже ночная. Иногда бывало очень тоскливо, стоишь за штурвалом, а все как в черном мешке, ничего не видно Только огоньки приборов впереди горят. А иногда открывались такие сказочные виды... луна висит прямо по курсу, все сверкает, волны светятся. Над головой звезды как лампы.

За яхтой стелется шлейф светящейся пены. Действует прямо гипнотизирующее. Кажется смотрел бы и смотрел... Входишь в какой-то транс, кажется что наш полет по волнам никогда не кончится, мы никогда больше не вернемся ни домой, ни в прежнюю жизнь, так и будем все время летать по этим волнам.

Уже более трех недель, кроме воды, птиц и рыб, ничего больше не видели. Правда по дороге был остров, но при виде его эмоции были совсем другие, как если бы увидели какой-нибудь самолет. Никаких следов цивилизации... Кажется, что реальный, привычный мир вокруг нас не существует, а наша связь с ним, это всего лишь виртуальная компьютерная игра... какое-то время мы еще сможем играть, пока не кончится дизель и будет работать гене-

ратор, который все эти игрушки питает.

Начинаешь думать, а как себя чувствовали те первые, которые после долгих странствий по морям оказывались у этих берегов... Наверно эмоции у них были намного глубже и разнообразнее. Ведь им еще следовало найти путь и назад... Билетов на самолет им никто не резервировал...

Меньше становится этот наш мир, но человек все равно пылинкой остается... И это начинаешь чувствовать именно тогда, когда тебя отрывают от привычной обстановки.

Можно сконструировать самые быстроходные корабли, совершенную технику управления, можно придумать всевозможные средства спасения, но если человек решается сам, своими силами измерить этот мир, он чувствует себя так, как эти первые... Может быть это наша мания величия, а может просто страх перед величием природы...

Этот остров... пустой и чего доброго совершенно неприспособленный для жизни осколок вулкана, казался нам чем-то своим...

20 12 2008 41-я паралель

Сегодня пробовал рисовать жизнь на борту.

Оказывается, что рисовать трудно не только тогда, когда не умеешь, или работа неприятна. Сидя на палубе, ко-

торая «едет» со скоростью в 13 узлов и еще не совсем горизонтально, когда оторвав карандаш от бумаги, лист поднимается вместе, или норовит улететь со всем блокнотом, рисовать действительно сложно. Зато какое удовольствие...

Ты сидишь посередине Индийского океана и рисуешь, словно сидел бы где-нибудь в Вильнюсе на берегу реки. Может у реки бы и вышло красивее, но ведь туда можно ходить ежедневно... Похоже что уже вся команда это поняла, потому что в свободное от вахты время все что-то пишут, каждый хочет свои впечатления оставить на бумаге.

Все в жизни проходит. И этот рейс, как и вся наша Одиссея когда-нибудь кончится. Мы вернемся домой, к своим каждодневным обязанностям, останутся только фото и эти несколько в спешке написанных слов. Тоже и с моими рисунками. Дома, сидя в уютной студии, можно сделать значительные работы, но это будет совершенно другое, нежели на палубе в спешке набросанный эскиз. Под ним уже нельзя будет написать, что он сделан, идя вдоль 41-й параллели, недалеко от острова Сент Пауль или Кергелен. Это может солидная или не совсем, маринистская работа, но в ней не будет того привкуса авантюры, который здесь чувствуется во всем...

Остров Сент Пауль. Когда то Жюль Верн его выбрал местом действия своих известных романов «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров». Кроме того, во время Второй мировой войны немецкий военный корабль «Атлантис» сюда привез, и в районе находящегося в центре острова кратера вулкана, закопал еврейское золото. Позже «Атлантис» Британским флотом был выслежен и затоплен. Еще позже, корпус корабля был найден, идентифицирован и установили, что груза на нем

нет. Значит сокровище чего доброго и сегодня спрятано на острове. Франция, а остров находится под ее управлением, выпустила даже специальный закон, запрещающий любые поиски и раскопки на нем. Но все это уж очень далеко от цивилизации. Несколько квадратных километров земли, а вокруг - тысячи миль пустынных и штормовых водных просторов. Другой конец света. Это не Сейшелы и не Маврикий, куда можно заказать билет и полететь в отпуск. «Троллейбусы» туда тоже не едут. Несколько сумасшедших отшельников, когда-то живших там, может быть и обрадовались, если бы кто-нибудь их посетил, но там даже гавани нет. Натуральную бухту в кратере вулкана надежно охраняют рифы. Войти можно только очень небольшому суденышку. Остается «встать на якорь», а это тоже не всегда возможно.

Значит нам суждено плыть дальше и воображать себя Индианой Джоунсом с лопатой в руке, ищущим спрятанное нацистами золото...

Возможно мои наивные рисунки, сделанные тогда на палубе яхты, когданибудь напомнят нам об этом.

S/Y Ambersail 41.19 S 38.18 E Индийский океан Рождество в океане под Южным Крестом

Мы все еще в океане...

Только что получили пожелания австралийских литовцев встретить Рождество вместе, уже на берегу... Кажется такие слова, Богу прямо в ухо... Но, к сожалению есть как есть... Мы уже приготовились праздновать на яхте. Если судьба дарит нам такую возможность, надо ловить момент и превратить это в праздник.

Когда еще в жизни мы сядем за Рождественский стол в океане... ааа... Елка не какая-нибудь, на вильнюсском или каунасском базаре купленная, а сделанная из мешков для мусора и украшенная южноафриканскими бомбонками... Боженька дает нам знак. Когда еще мы сможем дождаться Северной звезды, сидя под небом Южного Креста... (в Литве он не виден)...

Наш кок обещает приготовить к столу 12 обязательных блюд. Все будет как у нормальных людей, которые не тащатся черт знает куда, а по такому поводу сидят за семейным столом.

Когда будете поднимать бокалы, вспомните же и о нас. Мы к этому времени уже встретим Рождество и вполне возможно, уже будем видеть берега Австралии.

А пока еще только вода и больше ничего... Правда час назад на яхте был большой «кипиш». Показались дельфины. Так красиво, парами пропрыгали мимо нас. Может тоже Рождество справлять спешили...

Поздравления всем, кто ждет нас в Аделаиде и Литве.

23 12 2008

РОССИЯ - ПОЛЬША: КТО МЫ?

Который год рано утром 4 - го ноября мне звонит зять из Польши - «Папа! Поздравляю тебя с праздником». Спросонья я всегда спрашиваю: «С каким?» «Ну, как же, - отвечает он, – в этот день в 1612-м году ваши вып... дили наших из Москвы». И каждый раз я в легком смятении – как россиянин, я чту этот государственнодуховный День народного единства и праздника явления иконы Казанской божьей Матери, а с другой стороны – с сожалением думаю о столетиях недопонимания нашей славянской общности. А ведь было все – союзническая битва под Грюнвальдом и разгром конницы Буденного под Варшавой, Катынь и освобождение Польши от гитлеризма, многолетняя дружба народов после войны, визит Б. Ельцина с «извинениями» за расстрел польских офицеров, Варшавский договор и вступление Польши в НАТО, противостояние католицизма и православия, но, наконец, и долгожданная встреча Патриарха Кирилла с архиепископом Юзефом Михаликом, подписание совместного обращения к верующим. Теперь, думается, за будущее наших добрососедских отношений можно с некоторым облегчением вздохнуть. Да, не все пока получается в создании новых отношений, сказывается груз наслоений прошлого.

Ну, а что наши народы в это время делали? Как простые жители, творческие организации, деятели культуры, спорта, науки и образования, российско и польско - язычные диаспоры со-

седствовали? Отвечу от себя просто - невзирая на политические и конфессиональные коллизии – по-дружески общались, взаимопроникали в культуру, быт, отдых и развлечения, проблемы экономики и торговли. Как и надобно соседям. Передо мной лежит документ далекого уже 1959 года – это «Протокол собрания представителей партийных, советских, профсоюзных, спортивных организаций, учреждений культуры, воинов Армии и Флота, посвященное образованию областного отделения Общества советско-польской дружбы». Круг-то какой! – от секретарей обкома, облисполкома до доярки и рабочей целлюлозно-бумажного завода. И живет это общество уже 53 года, активно работает по обе стороны границы. Несмотря на периоды охлаждения государственных отношений, высылки дипломатов, ужесточение пограничных и визовых режимов. И выезжать приходилось туда по деликатным вопросам восстановление разбитых памятников воинам, погибшим в боях в годы войн. Я не оговорился – в Польше наряду с братскими могилами 600 тысяч советских воинов, погибших в боях на территории Польши во 2-й Мировой войне, есть памятники наполеоновских времен и 1-й Мировой. Были и другие проекты патриотического направления. Шли годы.

Общества дружбы с бесконечными застольями и идеологически выдержанными тостами трансформировались в очаги взаимного сотрудничества во всех отраслях. Сейчас круг

интересоврасширился оказание помощи в изучении опыта работы польских коллег в промышленности (особенно пищевой и легкой), обмен учебными, научными программами и студентами, познавательный и молодежный туризм и отдых, изучение разрешения проблем функционирования жилищно-коммунального хозяйства и услуг, общественного транспорта сверять часы можно там по приходу трамвая на остановку. Наши тренеры - гимнастика, борьба, шахматы - работают в Польше, мы изучаем популярные у них виды – спидвей, бридж (поляки по ним – чемпионы Европы). Мы научили наших школьников ездить в Польшу не только в аквапарки и макдональдсы, но и в Ольштынский планетарий, музей Коперника, страусиную ферму. Шестой год функциони-

рует школа польского языка, культуры, обычаев и кухни. Налажены контакты с русскоязычными диаспорами в северных воеводствах. Никого не удивляют совместные дни культуры в маленьких городах области и воеводств, фестивали и гастроли народных коллективов, бардов. Особые отношения складываются в писательской среде. Давно налажен выпуск совместных сборников и антологий, польских писателей и поэтов охотно переводят и печатают в нашей периодике. С успехом прошли в Калининграде юбилейные слушанья по случаю Года ЮНЕСКО выдающегося поэта 20-го столетия, лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша, дайджест о котором, подготовленный полонистами «Общества Россия-Польша» мы с удовольствием выносим на суд читателя.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ. «ПЕССИМИСТ В ЭКСТАЗЕ»

В связи с объявленным Годом Чеслава Милоша и столетней годовщиной его рождения неожиданно пришло понимание, как мало мы знаем этого человека и поэта, биография которого столь тесно переплелась со сложнейшей историей 20 века.

Когда в 90 годах Чеслав Милош вернулся в Польшу, его восприняли как мастера и учителя, состоявшегося и всеми почитаемого поэта. В то же время сам он боролся с демонами неуверенности, чувства вины, греховности. «Если сказать правду, то мы его не знали», – говорит Анджей Франашек, автор биографии Милоша, опубликованной весной 2011 года в издательстве «Знак». «Милош, автор поздних своих книг, житель Кракова, явился перед нами, как самоутвердившийся, необыкновенно мудрый мэтр и учитель, однако, если

внимательно посмотреть на его жизнь, оказывается, что он был человеком страстно-эмоциональным, часто поступающим вопреки рассудку».

Рос, как дитя дикой природы. Местность Шетейне в долине Невяжи в Литве напоминала рай на земле. Именно так он ее и описал позднее в «Долине Иссы». Среди тех, кто окружал его с детства, наиважнейшую роль играли женщины: мать Вероника и бабка Жозефа Сыруч, так называемая Лисия, которая внешне напоминала старую индианку. В глазах ребенка олицетворяла собой силу, работоспособность и свободу. Ненавидела условности и не терпела чинного сидения за столом. «Холодной зимой ее любимым занятием было встать спиной к печке, задрать юбку и греть зад - эта позиция означала, что она готова к разговорам», - вспоминал Милош.

Сам он разделил семью на две части - на добрую и злую кровь. Добрая, т.е. хорошая, сильная, трудолюбивая и талантливая - была сторона матери, т.е. кровь Сыручей и Кунатов, злая, плохая - кровь Милошей, т.е. отца, в его окружении действительно было много эксцентричных, дивных и депрессивных неудачников. На жизнь Чеслава сильно повлияла судьба брата его отца - Витольда, слабого человека, который ничего не достиг. «Милош постоянно боялся, что тоже может стать таким», говорит Франашек, - часто говорил, что именно Витусь послужил поводом всех его творческих достижений и даже Нобелевской премии, т.к. всю жизнь он боялся, чтобы не победила его депрессия и умственная отсталость, характерные для Витольда.

Лучший и худший

Отсутствие условностей и детского воспитания привели к определенным последствиям - Милош среди ровесников в школе, а также в Вильнюсе в Университете, ощущал себя обособленным, другим, отчужденным, как он сам писал – и лучшим, и худшим. «С одной стороны стыдился, что не умел вести себя в обществе, а с другой - чувствовал, что он лучше, потому что читал Шопенгауэра, Паскаля, в то время, как его старшие коллеги интересовались только «обниманками, бриджиками, наливками» - он этим брезговал», говорит Франашек. Эти эмоции всегда были с ним, до самой старости, всю жизнь. «Несмелость, чувство ничтожности, а за этим - сумасшедшие амбиции заставили меня изучать черты моего характера. Очень рано понял, что мои литературные успехи - это компенсация за мои мучения и терзания», - писал Милош сам о себе.

Воображал себе, что он не подходит

ко многому в этой жизни, и никогда не сможет это преодолеть. Чувство отверженности обернулось склонностью к левому движению уже в студенчестве. «Левая лига болезных», – так он вспоминал, – состояла из подобных мне отщепенцев». В университете среди католиков чувствовал себя изгоем, переживал кризис веры и только встреча в Париже с двоюродным дядей, поэтом – мистиком Оскаром Милошем, вернула его в костел. До Парижа он также избегал и убежал от великой любви.

В молодости был красивым, страстным, по своей природе бунтарем. Ему везло во всем, однако переживал все события своей жизни необыкновенно сильно, с болью. Первое очарование закончилось попыткой самоубийства, а первая любовь - камнем на всю жизнь. Постоянно его преследовало болезненное воспоминание обмана, в котором обвинял себя по отношению к девушке. Они были неразлучны с Ядзей до первого года студенчества. Сравнивал ее с героиней «Волшебной горы», о своем восхищении ею писал Ивашкевичу. Однако, когда дошло до серьезных отношений, струсил, перепугался стабильности. Бросил любимую в очень неприятных для нее обстоятельствах.

«Милош в одном из своих произведений описывает доктора Михолапского, энтомолога, который, идя на свою свадьбу, неожиданно бросил невесту и погнался за редкостным экземпляром насекомого, которого не мог упустить. Я спросил Милоша, о нем ли эта история, ответил, что да, только в его случае этой мухой была литература. Написал стихи, в которых представлял, как бы все было, если бы его первая любовь состоялась. Через много лет нашел Ядзю, переписывались, но никогда не смогли встретиться», – говорит Франашек, ко-

торый в биографии Милоша очень подробно описывает историю его романа.

Сны об Ивашкевиче

Очень напряженным было также его общение с Ивашкевичем. Милош обожал его стихи. Оба имели похожее отношение к действительности. Милош писал ему очень личные, откровенные письма, в которых описывал свои сны об Ивашкевиче. В «Дневнике» Ивашкевич описал знаменитый фрагмент об «очищении Милоша» в келье базилики. Милош и Ивашкевич могли иметь мимолетный роман, однако эта запись в Дневнике не однозначна, все это могло быть только в воображении. Из писем Милоша видно, как он обожал Ивашкевича, а в свою очередь Ивашкевич писал об их «болезненных отношениях», которые их связывают - говорит Франашек.

Милош размышлял над тем, не его ли описал Ивашкевич в «Страстях порочномерзких», Ивашкевича в свою очередь очень не любила жена Милоша Янина Ценкальска, которую за язвительный, колкий язык знакомые переименовали в Цианкальску (цианистый калий). Прожили с женой более 30 лет. Были совершенно разные: Янка - холодная, спокойная, мощно ступающая по земле. Ставила барьеры его безграничной натуре. «Любил ее, не зная, кем она была на самом деле, причинял ей боль, заставляя бежать за моими миражами, изменял с женщинами, оставаясь верным только ей одной», - писал поэт после ее смерти. Гомбрович удивлялся, как такая интеллигентная женщина могла выдержать с Милошем. «Жизнь рядом с Милошем должна была быть трудной и требующей жертв. Только очень поздно, при второй жене Кароль, научился пониманию и уступчивости. Начал понимать, что обычные люди не

живут так интенсивно, подвергая все философским размышлениям, как он сам», – утверждает Франашек.

Демоны двадцатилетия

В конце 30-х годов жили с Янкой в Варшаве. Милош уже ощутил успех «Трех зим», с ним считались в литературной среде. Легко объединял вокруг себя людей. Двадцатилетие между войнами в его поздних книгах возвращается, как время, когда подняли голову наихудшие черты польского народного характера - ксенофобия, антисемитизм, национализм. Средний польский интеллигент того времени был бескостный, поверхностный и неглубокий, старающийся острить, часто антисемит.

Милош неоднократно рисовал портрет поляка, сущность которого сформирована Сенкевичем. «Народ, который воспринимает повесть о себе, как детскую сказку, свою «Илиаду», не платит ли он слишком высокую цену? Не превращается ли целый народ в «Питера Пэна», мальчишку, который не хотел расти», – писал поэт. В это время он всячески подчеркивал свою отстраненность от польскости.

Объяснение этого двадцатилетия являлось для него такой важной вещью, что в конце своей жизни создал антологию «Путешествие в двадцатилетие». Рассчитывал на серьезные отзывы, однако его книгу едва-едва заметили. «Когда она вышла, – говорит Франашек, – казалось, что демоны двадцатилетия уже не являются нашей проблемой. Но через несколько лет в Польше появилась организация «Всепольская Молодежь» и некоторые принципы и основы этой книги стали вдруг вновь актуальны. Милош был уверен, что душа народа не изменяется.

И был прав.

Великое путешествие

Сразу же после окончания войны начинается великое путешествие Милоша, сначала он становится дипломатом в Нью-Йорке, затем в Париже. С самого начала хотел убежать на Запад любой ценой. Янка жила в США и хотела, чтобы Милош присоединился к ней. Он однако очень плохо чувствовал себя в этом потребительском раю. Милошу в 1951 году удалось выехать во Францию, но вместо того, чтобы явиться на работу в посольство, он предпочел политическое убежище. Какое-то время жил в Майсон-Лаффите (местность под Парижем, где размещался Литературный институт, основанный Ежи Гедройцем). Страшно переживал свое бегство, сходил с ума, когда не получал вестей от Янки и сыновей Тони и Петра из Америки. Временами, как писала Зофия Хертц, выглядел, как сумасшедший.

Чувствовал себя предателем, проклятым человеком. А одновременно ввязался в спор с эмиграцией, обвиняя ее в примитивности мышления и национализме. Не мог поехать в Америку, так как власти США отказали ему в визе, как бывшему коммунисту. Поэтому остался во Франции. Единственным спасением от злых мыслей была работа: написал «Порабощенный разум», книгу о формах совращения и обмана людей через идеологию. Однако сам в то время еще не был окончательно вылечен. «Что сделать, чтобы не чувствовать себя предателем и свиньей? Какой мне выход моральный остается? Битый по лицу одними и другими, и использованный, как тряпка, американцами. Велика моя вина, потому что я выступил против необходимости», - писал поэт в письме Станиславу Винчензу.

Чувствовал себя так, как будто выезд приговорил его к небытию - друзья и литературное сообщество отверну-

лись от него, в стране его не печатали. Ивашкевич в Париже не хотел ему подать руки. В Париже начал писать так, чтобы его поняли на Западе. Создал в это время «Поэтический трактат» и «Долина Иссы», а затем «Семейная Европа». В это время переживал роман с философом Зофией Хертц. Признался об этом Янке, однако постоянно уверял ее, что хочет быть только с ней и с семьей. В его стараниях на получение визы не помогла даже поддержка и помощь Альберта Эйнштейна. В конце концов ему удалось перевезти семью во Францию, но теперь он вынужден был зарабатывать деньги на все писательским трудом. Только в 1960 году все они выезжают в США, где Милош получил хорошо оплачиваемую должность в Калифорнийском Университете.

Тени над заливом Сан-Франциско

Американские годы Милоша по польским понятиям представляются чередой успехов, увенчанных Нобелевской премией в 1980 году. В то же время за несколько лет Милош не издал в США ни одной книги, был совершенно неизвестен, только «Избранные поэмы», изданные в 1988 году, полностью сблизили его поэзию с американскими читателями. В то время ощущал себя так, что в Польше он всеми забыт.

Калифорния не была местом его мечты, в солнечном сельском пейзаже еще обостреннее чувствовал, что его жизнь – «ужас, наказание, гибель». Калифорния была для него краем полного отчуждения, духовной пустоты. Здесь была создана его «Земля Ульро», книга о потере религиозного сознания. «Не ожидал, что Милош был так глубоко религиозен», - говорит Франашек. «Поначалу мне казалось, что как поэт он просто отображает внешние проявления религии. Только читая его письма,

я понял, что он был в своей основе глубоко верующим человеком. С годами становится все яснее, что для Милоша главным были не литературные успехи, а собственное спасение души».

Он не представлял себе жизни на свете без религии. Именно благодаря этому убеждению выкристаллизовались его взгляды на поэзию и литературу, которые должны были давать надежду, быть нужными и полезными. Поэтому многократно писал, что не согласен с Беккетом или Ларкинем. Самому себе никогда не позволял погружаться в депрессию. Постоянно полемизировал на эту тему с американскими поэтами. Писал, что в себе тоже носит их стрессы, боль, депрессию, но никогда не выказывает этого. Носит коротко остриженные волосы и галстук, не курит марихуану и не употребляет наркотики. «Нельзя давать себе поблажки, нельзя потому, что у человека есть долг, а кроме того потому, что есть страх перед силами, которым стоит только немного уступить, как тут же покажется наше блаженство», - писал в стихах, посвященных Аллену Гинсбергу.

Даже через много лет преследовал его вид дяди Витольда, погруженного в депрессию. «Не могу себе позволить нервный срыв», – писал Збигневу Херберту. Держался благодаря постоянной умственной активности. Называл себя «пессимист в экстазе», т.к. кроме лекарств и беспокойств, впитывал в себя жизнь, упивался жизнью. Водка, бурбон, женщины, формы и цвета окружающего мира - все это хранило его от погружения в депрессию.

Профессор Леонард Неугер из Института славистики Стокгольмского университета вспоминал визит Нобелевского лауреата в Стокгольм в 2000 году, во время которого дошло до забавной ситуации. Поэта, приглашенно-

го бывшей в то время шефом шведской дипломатии Анной Линдх на прием в честь нобелевского лауреата, приветствовали шампанским. Шепотом попросил коллег министра заменить шампанское водкой. Однако в Министерстве иностранных дел Швеции водки не оказалось. Из щекотливой ситуации вышла госпожа Министр, которая за личные деньги попросила быстро купить и принести бутылку водки. «Счастье, что это не было признано за попытку коррупции», – шутил профессор Неугер. Милошу в то время было 89 лет.

«Он мог стать героем «Доктора Фауста», - пишет Франашек. «В его жизни присутствовал фрагмент мистицизма, а именно – подписания договора с дьяволом. Много раз за свою жизнь возвращался к этой мысли. Ранимый, переполненный огромными амбициями юноша молился о том, чтобы стать великим. Ему казалось, что способен отдать все, чтобы стать кем-то больше, чем поэтом». Действительно, в биографии Милоша прослеживается все большая интеллектуальная активность, все высшие и высшие успехи творца. Имел необыкновенные жизненные силы. В возрасте 70 лет постоянно был в игре, флиртовал с женщинами. И за все это, как он сам считал, платил очень высокую цену: неизменно вокруг него происходили несчастья.

Особенно трудными были 70-е годы, когда смертельно заболела Янка, а у младшего сына появились симптомы психической болезни: стал агрессивным и грозил оружием. Никто из его европейских друзей не знал, что ситуация так тяжела, Милош не рассказывал об этом никому. «Почему такую страшную цену плачу за так называемый талант? Думал, что старость – это освобождение от Эринии – оказывается, нет», –

писал, уверенный, что страдания близких – его вина.

Преподавал в Университете, занимался Янкой, убирал в доме, готовил. Когда представим себе его жизнь в то время, совершенно иначе звучат его стихи «Поэтическое состояние» : «Сейчас внимательно режу лук, выжимаю лимонный сок, перебираю соусы разных видов». В то время переводил Библию: Псалмы и Книгу Ниоба. «Это был такой вид работы, которому не должен был посвящать много времени, однако он постоянно искал в этих текстах помощи для себя. Укрывался от боли», - считает Франашек. Янка умерла в 1986 году. Но это не был еще конец испытаниям. Его вторая жена Кароль, моложе его более 30 лет, которая должна была стать для него опорой в старости, умерла раньше него. Потом умер брат Анджей. Милош остался один, в последние годы прикованный к постели, практически слепой.

Наперекор злу

В 90-х годах, после приезда в Польшу Милош был очень активен. Писал до конца. Работа была для него натуральным способом жизни. «Кому другому хотелось бы в его годы читать новые книги молодых авторов, таких как Томек Тризна и писать о них», - удивлялся Франашек. «Помню, что когда выходил новый Шестов или Гамус в «Еженедельнике», Милоша просили написать эссе и он это охотно делал. В одном из интервью сравнивал себя с велосипедистом, всю жизнь должен был нажимать на педали, потому что если бы перестал – перевернулся бы».

Никогда не был доволен собой. О некоторых своих книгах писал, что они слабые, о ранних стихах отзывался скептически. В 90-х годах средства массовой информации залили его светом прожекторов, вознесли на пьедестал. За это молодая литература встала в оппозицию Милошу. Обвиняли его в монотонности дикции, в том, что он превратился в образ кого-то посконально всем известного и палекого. Это не настоящий образ - писали о нем. Люди не представляли себе, какие великие кровопролитные бои ведет внутри себя поэт. В конце припоминал все эпизоды своей жизни, отдавал долги, мучился от своих ошибок и неустанно задавал себе один и тот же вопрос - стоило ли все это того, что он перенес и какова цена его творчества.

Умер в 2004 году, символично, что именно тогда, когда закончился XX-й век в литературе. Почему-то в это время сам Милош вдруг стал фигурой неудобной – это было видно хотя бы по спорам о месте его захоронения и о решении Сейма об объявлении Года Милоша. А в то же время эта фигура аккумулирует в себе наиважнейшие проблемы столетия. Боролся с ними неустанно – именно оттуда возникло у него чувство нечистой совести.

Ненавидел зло, был человеком с обостренным чувством противостояния злу, не только тому злу, источником которого был он сам, но также всему злу в этом мире. Именно эту его особенность и стоит нам помнить всегда.

Составитель дайджеста – В. Герасимова, ответственный секретарь Общества, переводчик.

Калининградская региональная организация «Общество Россия-Польша» регулярно проводит творческие вечера польской музыки – от старинной, хоральной и духовной музыки прошлых веков до современных композиций рока и джаза. Выпускаются сборники произведений местных авторов-активистов общества.

И, последнее, о чем бы хотелось сегодня сказать – о неосуществленном пока.

Тринадцать лет назад, в год двухсотлетия со дня рождения поэта Адама Мицкевича, по инициативе «Общества Россия-Польша» одному из скверов Калининграда (на углу улиц Носова и Грекова) было присвоено его имя.

Все эти годы мы безуспешно совместно с Русским PEN-центром (В.Карпенко) и комиссией по культуре Общественной палаты области (И.Одинцов) пытаемся создать и установить доминанту этого сквера – памятник Мицкевичу; все, вроде,

согласны: власти города, руководители Министерства культуры Польши (тогдашние), есть скульптор-архитектор проекта, фирма, готовая установить постамент, а все что-то не срастается...

Может быть, потому, что Мицкевич принадлежит всем сразу – родился под Гродно, выучился в Вильно, гонимый в Польше за вольнодумство, скитался в России, а умер в Стамбуле от холеры, формируя там повстанческий отряд, будучи уже великим польским поэтом. А, может еще и потому, что 4 ноября, в день 400-летия «изгнания» поляков (кстати, временного, – смута на Руси закончилась лишь в тридцатые годы) опять позвонит мой зять из Польши и с легкой иронией скажет: «Здравствуй, папа! С праздником…»

Олег Турушев, Председатель Президиума КРОО «Общество Россия-Польша», Калининград.

Михаил НИКИТИН



ВСТРЕЧА В БЕРЛИНЕ

Эта случайная и трогательная встреча произошла в Берлине несколько лет тому назад, куда я приехал для совместной работы с немецкими коллегами. Утром я с женой, которая сопровождала меня в поездке в качестве переводчика, направились из гостиницы в сторону вокзала Остенбанхоф, чтобы оттуда на поезде отправиться в Научный парк Адлерсхофа. По пути от гостиницы до вокзала мы вышли на небольшой железнодорожный мост, переходя который нагнали женщину лет восьмидесяти. Когда мы проходили мимо нее, она услышала нашу русскую речь и спросила по-немецки:

- Извините, вы русские?
- Да, мы из России. Ответила жена.
- Откуда вы? Вновь спросила женщина.
- Из Калининграда. Сказала жена. Услышав это, пожилая женщина закрыла лицо руками и, не открывая лица, вымолвила.
 - Боже мой, вы из Кенигсберга!?

Какое-то время она так и стояла с закрытым лицом. По всему было видно, что слова жены о том, что мы из Калининграда сильно взволновали женщину. Весь ее облик: скорбная поза, молчание, нервные движения рук выдавали очень глубокие переживания. Когда она спустя некоторое время открыла свое лицо, мы увидели слезы у нее на глазах. Она плакала беззвучно, плотно сжав губы. Жена постаралась ободрить женщину добрыми и сер-220

дечными словами. С трудом женщина справилась со своими волнениями и продолжила разговор с нами. Из ее слов мы узнали, что она родилась в Кенигсберге перед войной и подростком была эвакуирована из родного города в 1945 году.

Случайная встреча с нами – людьми, которые приехали из города ее далекого детства, оказалась не последним потрясением для этой женщины в тот день. Так получилось, что при мне оказался подарочный альбом «Кенигсберг в воспоминаниях» на русском и немецком языках, который я собирался презентовать немецким коллегам из Адлерсхофа. Я вспомнил об этом альбоме и решил преподнести его в качестве подарка незнакомой женщине, рожденной в довоенном Кенигсберге. Подарок произвел на нее еще большее впечатление, чем сама наша встреча.

Пролистав книгу и увидев фотографии навсегда ушедшего в прошлое прекрасного города своего детства, она вновь разрыдалась. Плача, она обняла мою жену, стала гладить ее лицо своими руками и сквозь слезы говорить слова, о смысле которых я мог только догадываться, потому, что жена, также взволнованная происходящим, не могла переводить в ту минуту. Эта тяжелая и для старой немки, и для нас, сцена продолжалась несколько минут. Когда женщина вновь успокоилась, она попросила нас рассказать о себе и на-

шем городе. Мы вкратце поведали ей о себе и о Калининграде. Проникшись добрыми чувствами к старой женщине, мы пригласили ее приехать к нам в гости, чтобы вновь увидеть город своего детства.

– Нет, – сказала женщина, – я никогда больше не приеду в Кенигсберг. Этот город теперь для меня чужой.

Время торопило нас, и мы были вынуждены попрощаться с бывшей кенигсбержкой.

Сейчас, спустя несколько лет после этой встречи, размышляя о ней и вспоминая ее детали, я задаю себе два вопроса: почему женщину так сильно взволновала встреча с нами и почему она столь решительно отказалась от нашего предложения навестить Кенигсберг-Калининград? Конечно, было бы лучше получить ответы на эти вопросы от самой немки, случайно оказавшейся на нашем пути по одному из берлинских мостов. Но, увы, это невозможно, так как мы не обменялись тогда адресами. Остается только одно – попытаться ответить на эти вопросы самому, исходя из собственных представлений о жизненных ценностях и человеческой психологии.

Итак, почему встреча с нами оказалась такой волнительной для немецкой женщины? Я склонен думать, что сильная и эмоциональная реакция немки на слово «Калининград», произнесенное моей женой, была вызвана тем, что в ее окружении последние годы практически не говорили о Кенигсберге. Возможно, это стало следствием того, что из жизни ушли те, кому Кенигсберг был родным городом, кто бережно хранил о нем теплые воспоминания и готов был делиться ими с такими же, как они лишенцами. Те же, кто жил рядом с ней: дети и внуки, соседи и знакомые не испытывали никакого интереса к разговорам о довоенном Кенигсберге, поскольку эта тема была для них чужой и не актуальной.

Так со временем мысли о родине ушли в дальние закутки памяти этой женщины, и затаилась там до поры до времени, не беспокоя свою хозяйку светлыми и горестными воспоминаниями. Встреча с нами внезапно нарушила сложившийся порядок отношений с далеким прошлым и прорвала плотину забвения этого прошлого. Поток воспоминаний при этом оказался таким мощным, что женщина оказалась бессильной им противостоять. И она оказалась во власти переживаний и эмоций, которые долгие годы были скрыты в глубине ее сердца.

Причины отказа немецкой женщины от нашего приглашения более понятны и просты. Ее отказ, прежде всего, стал естественной реакцией человека на неожиданное предложение, исходящее от незнакомых людей, людей, с которыми она никогда раньше не имела дела и которым она не могла бездумно довериться. Преклонный возраст немки также мог стать мотивом ее мгновенного отказа. Только в молодости мы готовы к необдуманным и спонтанным поступкам, только в молодости мы готовы окунуться с головой в неизвестное, не ведая сомнений и страха. С годами эта способность теряется, а в зрелом возрасте она сходит практически на нет.

Пожалуй, основной мотив отказа немки был определен ее словами «Этот город для меня чужой». Чужой, значит, не родной, не близкий, не желанный. Другим он и не мог для нее быть, если вспомнить, как она и тысячи других беженцев Кенигсберга

в 1945 и 1947 годах расставалась с ним. Все они вынужденно покидали Кенигсберг, когда он лежал в руинах и напоминал собой Помпею, погребенную под многометровым слоем пепла, битого кирпича и искореженного металла. Им казалось тогда, что уже ничто не сможет возродить их любимый город к жизни и вернуть ему прежний прекрасный облик. Они покидали поверженный город и уносили с собой его душу, так как духовную сущность городов составляют люди, которые в них живут. И если по каким-то причинам люди оставляют свою землю, то и душа города оставляет его вместе с ними. Существо же

без души есть ничто иное, как призрак. Возможно, встречу с таким призраком Кёнигсберга и хотела избежать старая немецкая женщина.

Говорят, время лечит и с годами боль утраты затихает и ложится на дно сознания. Там она может лежать долго, возможно, до конца жизни, не беспокоя человека. Но иногда по случайной причине скорбные события далекого прошлого возвращаются к нам вновь и доставляют боль не менее острую, чем та, что мы испытали изначально. Встреча с уроженкой Кёнигсберга лишний раз подтверждает известную истину – от прошлого никуда не уйти, оно всегда с нами.

Марина ПОПОВА

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Вся осень 2012 года запомнилась мне встречами с актуальным искусством в разных странах Европы, начиная с посещения самой престижной «Документы 13» в немецком городе Кассель и, заканчивая Премией Кандинского в Москве. Последнее состоялось в знаменитом «Доме на набережной», в помещении бывшего кинотеатра «Ударник».

Между ними были посещения чудесного кунстхауса в Граце (Австрия), прозванного friendly alien — дружественный инопланетянин, за очень авангардную, но очень теплую архитектуру, несколько выставок современного искусства в Италии и Польше, открытие нового «Гаража» на территории Парка Культуры и Отдыха в Москве, а так же поездка в Калининград – бывший Кёнисберг, или, Кёниг, как его называют местные жители.

Что же это за актуальное искусство, по каким критериям его судить и кто эти художники, им занимающиеся? Попробую прояснить некоторые вопросы.

Пожалуй, только время может по настоящему оценить те явления, которые происходят в искусстве вообще и в современном в частности. Во всем нужен талант и хорошие специалисты: искусствоведы, кураторы, коллекционеры и просто зрители, у которых настроен глаз и слух, тоже могут почувствовать настоящий талант. Так было всегда. Когда импрессионисты казались мазилами, подрывающими основы, такие как Савва Морозов собирали выдающиеся коллекции за очень небольшие деньги.

По такому же принципу должно работать жюри, выбирая наиболее оригинальные, свежие произведения, уловившее немую важную, витающую в воздухе суть, которая еще не замечена большинством.

Каким-то образом все увиденное мной этой осенью вычленилось парами, то есть Кассель и Кёнисберг, Гараж и Ударник.

Часть первая

Что же есть общего между Касселем и Кёнигсбергом кроме их немецкого происхождения и буквы «К», с которой начинаются названия этих городов? На первый взгляд ничего, но мне увиделось много такого, что все же связывает их невидимыми нитями.

Начну с простого перечисления:

Кассель часто называют городом братьев Гримм и современного искусства. Город является главным этапом так называемого «Сказочного пути» – романтического маршрута ведущего из Ханау в Бремен. В Касселе жили и работали братья Гримм. В период с 1812 по 1815 гг здесь была написана большая часть произведений, вошедших в их знаменитый сборник сказок.

Кёнигсберг же неразрывно связан с именем Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который жил и творил в то же время и, как говорится, по соседству.

В 1685 г. Кассель стал убежищем 1700 гугенотов. В это же время гугеноты спасались в Кёнигсберге. В 1803 г. Кассель был занят Наполеоном. Наполеон прибыл в Кёнигсберг 12 июня

1812 года и, остановившись в королевском дворце, покинул его 16 июня, отправившись на восток навстречу своему концу.

Во время второй мировой войны в 1943 г. британские бомбардировщики подвергли Кассель массированной бомбёжке, разрушив 90% центра города, погибло около 10 тыс. человек, а 150 тысяч осталось без крова.

Налетами на Кёнигсберг массированной «ковровой» бомбардировкой союзников в августе 1944 года был полностью разрушен исторический центр. От Кафедрального собора XIV века остались только стены. Королевский замок, старое и новое задания Кёнигсбергского университета, дома и кирхи были превращены в руины. Погибло 4200 жителей.

С 1633 года Кассель считался университетским городом. В 1554 году в Кёнисберге был основан старейший университет Пруссии – Альбертина, который функционирует по сей день.

Мы говорили о совпадениях исторических, но для меня, как для художника, очевидными являются и совпадения визуальные. Оба города были отстроены заново в маловыразительном функциональном стиле послевоенных, но некоторые старинные постройки восстановлены, радуя глаз жителей и путешественников.

. . .

Не являясь туристическим центром, Кассель обычно живет своей несуетливой, несколько провинциальной жизнью. Но раз в пять лет город взрывается. Здесь с 1955 года раз в пять лет проходит самая значительная международная выставка современного искусства. Толпы туристов со всего мира: художники, интеллектуалы, студенты, кураторы и журналисты заполняют город. Длится выставка 100 дней,

разыгрываясь на разных площадках - от дворцов, музеев и соборов до парков, кинотеатров и вокзала.

С конца 60-х годов «Документа» стала главной художественной инстанцией в мире. Более того, в отличие от Венецианского Биеннале, которая считает своим долгом нравится публике, «Документа» завоевала себе интеллектуально-экспериментальную репутацию. Участие в ней есть высшее признание для художника. Выставка делается каждый раз новым куратором, который приглашает художников, созвучных его концепции. Некоторые произведения город покупает, и они остаются в Касселе навсегда.

Например, на площади перед вокзалом, который тоже является площадкой для экспонирования видеоарта, инсталляций и интерактива, в небо врезается 25 метровая труба по которой шагает человек. Скульптура «Человек шагающий в небо» знаменитого американского скульптора Джонатана Борофски сделана для «Документы» в 1992 году. С тех пор она «живет» на площади и местные называют ее «Да помогут нам небеса!».

«Документа» дает установку, определяя направление в современном искусстве на последующие пять лет.

В этом году куратор Кристов-Бакарджиев, решила еще больше размыть границы между искусством и неискусством, и кроме молодых художников и мэтров, пригласила участвовать ученых физиков, биологов, математиков, антропологов. Свою концепцию она назвала «Мозг», намекая на те странные, часто взаимоисключающие вещи, связанные с не менее странными ассоциациями, роящимися в голове современного человека, замученного апокалипсическим потоком информации.

(Кстати, вовлечение математики в

процесс художественного творчества, созвучен моим собственным живописным экспериментам в последние два года. На международной конференции математиков в Монреале, состоялась моя выставка «математических работ» и презентация лекции на тему схожести абстрактного мышления математика и художника).

Формат этого эссе не позволяет описать все работы, которые произвели на меня впечатление. Но одну я все же опишу:

В изумительном парке с копиями античных статуй и каналами в небольшой роще сидят на пеньках зрители и слушают пение птиц, стрекотание цикад и кваканье лягушек. И вдруг к этому примешивается какое-то тревожное жужжание и неприятный металлический звук. Он нарастает, и ты понимаешь, что это летят самолеты. Раздаются взрывы, а потом опять тишина, пение птиц, и ты догадываешься, что это реальные звуки природы смешиваются с аудиозаписью звуков мира и войны! Техника спрятана на разных уровнях в траве и на деревьях, погружая зрителя в звуковой лабиринт. Впечатление потрясающее!

Эта аудиоинсталляция – работа канадской художницы Жанет Кардифф, которая в своей аудио инсталляции использовала факт бомбардировки Касселя в 1943 году.

В 1955 г. «Документу» посетило 100 000 человек, а в 2012 – 860 000. Бюджет формируется городом, областью, культурными грантами, спонсорами, донорами и продажей билетов. Безусловно, что «Документа» поставила Кассель на карту мира.

Мне не хотелось уезжать из Касселя. За несколько дней я привыкла видеть вокруг себя любознательные лица, слушать и участвовать в разговорах на любые темы за чашкой любимого капу-

чино. Люди из разных стран обсуждали актуальное искусство, философию, политику. Объединял их интерес ко всему новому и... английский язык.

Мысленно я возвращаюсь к Кёнисбергу, с которым связано так много выдающихся имен: философ Кант, сказочник Гофман, астроном и математик Бессель, композитор Вагнер и многие другие.

Наличие в Кёнисберге знаменитого университета Альбертина делает
город молодым, восприимчивым к самым смелым идеям в различных сферах человеческой деятельности. И хотя
за те несколько дней, что я провела в
Калининграде,, я не видела примеров
современного искусства, но мне показалось, что контекст и ландшафт города приспособлен к расширению активности в сфере актуального искусства,
тем более, что здесь уже плодотворно
работает БФ ГЦСИ (Балтийский Филиал
Государственного Цента Современного Искусства).

Часть вторая Гараж – Ударник

25 октября в кинотеатре «Ударник» открылась выставка номинантов Премии Кандинского. Здесь же в скором времени планирует открыться музей современного искусства, о чем во время пресс-конференции сообщил глава фонда «АртХроника» и основатель Премии Шалва Бреус. Премия учреждена в 2007 году.

«Ударник» – часть знакового комплекса, построенного для советской номенклатуры, о чем рассказывает роман Юрия Трифонова «Дом на набережной». Это был технически передовой проект со знаменитым раздвижным потолком-куполом, сработавшим, впрочем, единожды – в день открытия кинотеатра в 1931г.

На вопрос, будет ли раздвигаться потолок в новом музее, Бреус сослался на сильно изменившийся акустический фон по сравнению с тридцатыми, но пообещал полы-трансформеры в главном выставочном пространстве на втором этаже.

Выдержки из пресс-релиза:

«В этом году на конкурс Премии поступило самое большое число заявок за весь период ее существования. Из 385 заявок международное жюри и экспертный совет Премии Кандинского выбрали 35 работ, которые составят экспозицию выставки номинантов Премии.

В номинации «Проект года» – двадцать номинантов; в номинации «Молодой художник – пятнадцать.

«Экспозиция задумана как временная воронка, вбирающая в себя слои прошлого, настоящего и будущего, что во многом соответствует ситуации в современной России, где множество различных темпоральностей сосуществуют и нередко образуют парадоксальные связи», – комментирует формат выставки экспозиционер Кирилл Светляков.

Первая экспозиция Премии Кандинского в бывшем кинотеатре "Ударник" уникальна тем, что она организована в пространстве, еще не адаптированном для музея и содержащим в себе временные слои предыдущих эпох».

Безусловно, «Ударник» – это выдающееся здание советской архитектуры и остается надеяться, что к реставрации, которая намечена на следующий год, отнесутся с уважением, что и обещает новый его владелец Шалва Бреус.

Пока кинотеатр не превращен в музей, есть еще время насладиться ностальгической роскошью советской эпохи (огромные хрустальные люстры)

и остатками декора быстро уплывающего вдаль постсоветского времени, – здесь работало казино от которого остался ковролин и пара тупо расписанных колонн из Лас Вегаса.

Конечно, я не могу помнить, как пели в круглом фойе на первом этаже советские звезды эстрады. Тем не менее, ощущение дежа-вю не покидало меня, – мне слышались голоса Шульженко и Утесова. Ведь мы часто испытываем ностальгию по эпохе, где никогда не жили, но которая еще хранит следы наших родителей, дедушек и бабушек.

Удивило меня, как удачно разместились экспонаты в помещении, не предназначенном для выставки. Центр фойе заполнен монументальной деревянной скульптурой-инсталляцией — «Вселенский Разум» известного художника и философа Николая Полисского. Это только часть работы (целиком она установлена в деревне Никола-Ленивец) и по форме напоминает человеческий мозг.

А ведь в Касселе общая кураторская концепция тоже называлась «Мозг»! Можно, конечно сказать, что это совпадение, заговор кураторов, да что угодно... На самом деле – это тенденция, а человеческий разум и сознание - это самая большая неразрешенная тайна в которой еще предстоит разобраться. Может быть, в XXI веке ответ найдется, и художники, как люди, обладающие интуицией, предчувствуют это в своих работах?!

Вот, что говорит сам Николай Полисский: «Мозг» – это матрица, вселенский разум... Мы привезли лишь одну из мыслей этого мозга, этого разума. Он всегда занимает то пространство, которое предлагается, и вот здесь он весь из себя такой блестящий, мы даже и назвали это – «блестящие мысли разума». Здесь город, здесь всё перелива-

ется, отражается друг в друге, потому и его поверхности блестят. То есть он всё считывает в окружающем пространстве, и как-то даже мимикрирует».

Сегодня художники, участвующие в выставках актуального искусства, озабочены тем, чтобы в ёмкой форме выразить философскую мысль, политический стейтмент, социальное сознание, парадоксальную связь или ассоциацию, дерзкое заявление, психологическую проблему, предчувствие будущего и т.д и т.п. Содержание диктует форму и материал, в котором оно будет выражено. В сегодняшнем искусстве нет лимита в выборе материала для самовыражения: от видеоарта и перформенса до традиционного холста, масла и акрила.

Эпатаж так же характерен для этого вида деятельности, и одна из главных целей современного художника – высказать свое отличное от других мнение и быть услышанным!

Напротив инсталляции Полисского на вогнутом длинном экране, повторяющим форму фойе, в замедленной съемке крутится гламурно-философское видео мэтров постперестроечного искусства – группы АЕС+Ф.

Гламур, которого я вообще не заметила на «Документе», просматривается во многих экспонатах Премии Кандинского. Художники как будто жонглируют этим понятием, так сильно вошедшим в российскую жизнь. Здесь наблюдается сопоставление, противопоставление и взаимопроникновение элитарного и демократического, гламурного и антигламурного.

Бывает, что вступая в диалог с гламуром, художник не до конца выдерживает дистанцию. Например, работа Дмитрия Цветкова «Головы героев» – на блюдах разложены look like посмертные маски Грибоедова, Гоголя,

Иоанна Крестителя. Из их ушей, носа, рта вытекает «кровь» – полоски ткани, расшитые красными блестками.

Гораздо скромней и незаметней эта роскошь просматривается в скульптурной инсталляции Г. Брускина «Время Ч», что в военной терминологии означает начало атаки. На черном фоне словно в воздухе парят белые «гипсовые» фигуры солдат, крыс и т.д, символизирующие человеческие фобии. Закавычила я «гипсовые», так как отлиты скульптуры из дорогой бронзы и покрашены под гипс, – так сказать, гламур наоборот.

Напротив Брускина по контрасту разместилась белоснежно-белая видео-инсталляция «Пленэр», выполненная группой художников «коллективная акция». Акция, которая длилась 1 час, была задокументирована и теперь показывается на «родном» экране в зале кинотеатра на втором этаже.

Этим летом 18 художников расположились на набережной против Кремля, расставив этюдники с белыми холстами и стали писать белой краской Кремль, - кто сделал абстракцию, кто оставил непочатый холст. На сцене перед экраном на мольбертах и этюдниках стоят эти холсты. Понятно, что «Пленэр» – работа метафоричная. Своей лаконичностью и чистым белым цветом она вызывает чувство покоя, несмотря на ясный политический мэсседж, которые выразили художники, адресованный к тем, кто в Кремле.

Покидая «Ударник», я услышала, как в фойе архитектор говорил журналисту, показывая на большое зеркало в стиле модерн, отражающее инсталляцию Полисского и видео АЕС+Ф: «... Из фойе – зеркало, а позади - кабинет для VIP. Они нас видят, а мы их – нет! Совсем, как в следственном кабинете. Наверное, Дом на набережной навеял».

. . .

Галерея «Гараж» также разместилась в историческом месте – ЦПКиО им. Горького во временном павильоне, построенном японским архитектором Сигэру Бана из... картона, дерева и бумаги. Для постоянного места обитания галереи, предназначен павильон сельскохозяйственного машиностроения «Шестигранник» архитектора Жолтовского, который сейчас находится в процессе реставрации.

Парк Горького, так же как «Ударник», знаковые места истории советского периода. Свое присутствие на территории парка «Гараж» ознаменовал элегантной, умной экспозицией «Временная архитектура от Мельникова до Бана». Есть на выставке и интерактив: посетители с помощью специального маркера могут посмотреть на экране, как выглядят в 3D изображения разных зданий, пока камера снимает их игру с виртуальным макетом. Тут же с другого экрана можно отправить свою фотографию с 3D-моделью в любимую соцсеть.

Если взглянуть на карту центра Москвы, видно, что наметилась интересная тенденция, - музеи, галерей и центры современного искусства образовали новое «золотое кольцо». Возьмем за отправную точку музей изобразительных искусств им. Пушкина и мысленно начертим круг. В него попадут:

- 1) Музей современного искусства, Гоголевский бульвар д. 10,
- 2) MAMM Мультимедиа Арт Музей Москвы,
 - 3) Галерея «Гараж», Парк Горького,
 - 4) ЦДХ Центральный Дом Художника,
- 5) Бывшая шоколадная фабрика «Красный Октябрь», уникальный памятник российской промышленной архитектуры, построенный в 1907 г., а в 2007 г. ставший домом для различных институтов дизайна и актуальнгоо искусства

6) Кинотеатр Ударник, в скором времени будет трансформирован в музей.

Все эти институты расположены в историческом центре Москвы. При желании их можно обойти пешком! Многие из них занимают помещения, которые являются памятниками архитектуры, поэтому остается надеяться, что новые владельцы отнесутся к этому факту с должным уважением.

Несмотря на такую положительную динамику в области рождения и становления новых музеев, есть опасение, которое выразил Михаэль Фер, немецкий куратор и организатор многочисленных выставок, среди которых многие напрямую касаются музея, как социального явления, как общественной и автономной культурной институции:

«...Капитал во всем мире набирает силу и все меньше нуждается в общественном музее. Доминирующая тенденция последнего десятилетия – создание частных музеев, где действия собственника не сдерживаются и не ограничиваются никакими традициями и другими интересами... Основные общественные функции музея: сохранение и презентация абсолютных ценностей, создание канона. Капитал же пытается войти в сферу формирования канона, чтобы влиять на неё и связать её с потребностями рынка».

Эти обоснованные опасения все же оставляют надежду, что люди, в чьих руках оказались музеи и центры, найдут возможность противостоять часто неправомочным потребностям рынка. В конце концов, на них лежит ответственность, подразумевающая формирование зрительского вкуса и толерантного отношения к непростому, порой раздражающему, но всегда бурлящему современному искусству.

Монреаль-Москва 2012 г.



Кристийонас Донелайтис: «ВРЕМЕНА»

Подобное издание поэмы Кристийонаса Донелайтиса – «Времена года» – совместно литовский текст и его русский перевод – появляется впервые в 2005 году в издании Калининградского ПЕН-клуба. Русский перевод Давида Бродского вышел в 1946 году, достаточно регулярно издавался, став по-своему каноническим. Однако такой книги, которая открылась бы читателю гранями двух языков одного автора, не было. Потребовалось разойтись, чтобы понять обоюдную значимость и, соответственно, интерес к пограничному соседу. Литве надо было стать самостоятельным государством, а нам – калининградцам-россиянам – получить соседа на все времена. Уверен, что дружественного и доброго соседа. Основой же дружбы и взаимного уважения прежде всего становится знание характера, традиций, мировоззрения – всего, что создаёт культуру народа, открывая его ментальность. Что определяет почву для общения и понимания.

Уже совсем скоро мы вместе с литовскими коллегами и друзьями отметим 300-летие Кристийонаса Донелайтиса, родившегося 1 января 1714 года.

И нет ничего удивительного, что появляется новый перевод классической книги, уже вошедшей в анналы мировой литературы. Русский писатель и переводчик Сергей Исаев (Clandestinus), выросший в языковой среде Литвы, несколько лет назад пришёл к необходимости заново осмыслить текст великой поэмы. И результатом серьёзного многолетнего труда стал новый перевод на русский язык всего творческого наследия Кристийонаса Донелайтиса (Clandestinus впервые предоставил возможность русскому читателю познакомиться не только с поэмой или баснями, но и со стихотворениями и письмами литовского поэта), уже получивший добрую оценку профессионалов и ученых литовского Института литуанистики и фольклора, а также российских специалистовлингвистов, среди которых – известный российский писатель и патриарх русского перевода более чем с десятка языков Е. Витковский. Восстановлены фрагменты, по разным причинам прежде выпавшие из русского варианта поэмы, многие места переосмыслены и значительно приближены к оригиналу. Да и само название, в отличие от привычного и, пожалуй, снижающего философскую значимость произведения, приобрело более объёмное, если угодно, планетарное звучание. И если «Времена года» приводит мысль читателя именно к смене сезонов и связанного с этим состояния, то именно титул «Времена» расширяет диапазон звучания произведения – до ощущения космического и вневременного...

К такому же ощущению протяжённости в пространстве и времени, некоторой эфемерности и зыбкости жизни приходит в своей графике художник Ирина Герасимова. Одухотворённость, наполненность воздухом, который словно пронизан космическими частицами на её графических листах, непременно остановит взгляд и мысль читателя...

В культуре каждого народа есть свои знаковые имена. Нацию создаёт язык. Слово. В своё время о русском современнике Донелайтиса – Михайле Ломоносове – Белинский сказал, что с него «начинается наша литература; он был её отцом и пестуном, он был её Петром Великим...». «Краеугольным камнем литовской литературы» назовут потомки поэму Кристийонаса Донелайтиса. Поэму, которая вмещает в себя не только природу бытования человеческого и эпоху историческую, но и создаёт нравственную

основу жизни – те моральные принципы и правила поведения, благодаря которым сохраняется самое главное, что определяет будущее. Достоинство личности и самоуважение, дающие возможность человеку обрести свою божественную сущность в самых, казалось бы, нечеловеческих условиях. Ибо вне достоинства личности, вне знания и памяти не может сложиться нация. «... Звёздное небо надо мной и нравственный закон во мне», – гениальное определение смысла и способа человеческого существования современником Донелайтиса – Иммануилом Кантом – можно было бы поставить эпиграфом «Временам».

Критиками, историками культуры давно отмечено, что самые глубокие, философские и провидческие произведения искусства создаются в переломные, порою тяжкие для народа времена. «Илиада» и Библия, «Гамлет» и «Братья Карамазовы», «Тихий Дон» и «Шуаны»... Словно на защиту выдвигает нация из недр своих гения, способного произнести Слово объединяющее, показывающее невозможность будущего в состоянии рабском. Обретение человеческого достоинства... труд тяжкий. Но это – именно труд, не «работа»: сама этимология слов несёт различие смыслов. Для люмпена, для лакея, для раба – труд непосильный. Осознание необходимости свободы (и несомой с нею ответственности за деяния свои) для созидания на своей земле зачастую проходит в долгом историческом времени. И требует цементирующего раствора, способного сплотить толпу, неоднородную массу человеческую в единую большую семью, озабоченную не только бренным существованием, но и продолжением себя – в будущем. Красоты – как гармонии природы, её, природы, мерила здоровья.

И катализатором этого раствора становится художник. Если угодно – проповедник и духовник в самом расширительном значении этого понятия. Проповедник Красоты и Гармонии. Лада.

Таким катализатором и явился для литовской культуры Кристийонас Донелайтис. Как и многие народные просветители, он был универсальным мыслителем, так и практическим деятелем. Своими руками он мог сотворить музыкальный инструмент, сделать барометр и термометр. И здесь же записать о юности: «Верно... ... глупа молодёжь поначалу:/ Ртути текучей подобна, что бегает в склянке ретиво...» (Clandestinus). А позже, словно проникаясь болью от насилия и одухотворяя чувственность природы напишет: «Вся промокла земля и слезами обильными плачет,/ Ибо повозка порой раздирает ей дряблую спину» (Д. Бродский). Он поэт и главное его деяние – Слово. И поиск через Слово – пути в едином для всех пространстве Жизни и Смерти, Космосе чувств, приобретений и утрат.

Он не увидел своего произведения напечатанным, скорее всего – и не предполагал этого. Достойный и внимательный наследник древней культуры, Донелайтис, конечно же воспринял уроки греческих классиков, особенно тех, кто, как и литовский пастырь, славил жизнь на земле – жизнь, слиянную с природой, ею питаемую и одухотворяющую.

Поэзия Донелайтиса не только формой, ритмикой, но и чаяниями гармонии восходит к Гесиоду с его землепашеским практицизмом в «Трудах и днях», к вергилиевским «Георгикам»:

…Вот что ещё: какие б кусты на полях ни сажал ты, Больше навоза клади да прикрой хорошенько землёю, Пористых сверху камней наложи да немытых ракушек, – Воды меж них протекут и воздушные струйки проникнут. Лучше тогда насажденья взойдут…

(перевод С. Шервинского)

Поэма «Времена» складывалась непосредственно в гуще событий, пусть и в достаточно замкнутом поначалу пространстве – как слово пастве, которой проповедник был близок и в которой он знал и различал каждое лицо. И любил – да, любил, порой с болью и досадой, и гневом – каждого из этих прихожан с их слабостями, предрассудками, униженностью и порождаемой ею черствостью к миру и... к себе, к себе! Ритмизированность проповеди наверняка зачаровывала, оседая в глубине души и сознания. Но она осталась бы лишь энергичным сотрясением воздуха, если бы не касалась самых основ жизнеуклада этих людей. Отсюда гениальный замес назидательности и сарказма, переполняющие всю поэму «Времена». Внимательный (и даже не очень) слушатель, а позже – читатель, найдёт здесь всё: от рецептов кулинарных и красоты национального костюма, птичьего гама и свадебного пира с непременной потасовкой, сезонных советов (как у Вергилия) землепашцу и прочее, до ядовитого осуждения лености, осмысления социальных столкновений, продажности суда и нелепости слепого подражательства чужим нравам и моде. Написанная более двухсот пятидесяти лет назад, поэма интересна и ныне не только этнографией, но и тем нравственным зарядом личностного узнавания добра и зла, который и делает произведение искусства непреходящим во времени. Становится – народным. Ещё и потому, что и корни языка Донелайтиса – там, в почве, именно оттуда взят крутой замес языка, которому предстояло стать литературой. А позже – разойтись в пословицах и суждениях. Дать новый слой почвы языковому выражению мысли и настроения, почву общения... И поэт не боится ни патетики, ни самой низкой грубости, предоставляя слову возможность открыться любой аудитории слушателей. А затем – читателей.

> ...Тот обманул лесника и гордится поэтому, дурень, Этот — объездчика долго дурачил и, шельма, смеётся; Этот, качаясь от водки, лишь тупо глазами сверкает... (перевод Clandestinus)

И, становясь народным, национальным, пополняет общечеловеческую культуру, которая принимает в себя (и хранит, благодаря книге!) лучшее от духовности любого народа.

Основой же дружбы и взаимного уважения прежде всего становится знание: характера, традиций, мировоззрения – всего, что создаёт культуру народа. Что определяет почву для общения и понимания. В культуре каждого народа есть свои знаковые имена. Нацию создаёт язык. А утрата, вульгаризация и небрежение родным Словом неминуемо ведёт к деградации народа, к утрате им своей истории.

«Не слушайте наш смех, услышьте нашу боль!» – восклицал Александр Блок. Да, литература, искусство – прежде всего не знание, и уж конечно не потеха, но – сопричастность боли, страданиям и заблуждениям человеческим. Это – поиск духовной гармонии с природой, с Богом. С собой. Ибо природа и создала нас, саму возможность мыслить и страдать в непрекращающемся поиске – для того, чтобы через человеческий разум и опыт познать самоё себя...

Уходят в историческую память (или забвение) цивилизации, пропадают в небытии покорители и властители. Остаются художники, как концентрация мысли и чаяния людей, опыта и боли, и единственности пути в добре и красоте. Кто сейчас вспомнит «власти предержащие», при которых творили Гесиод и Вергилий, Конфуций и Леонардо, Шекспир и Достоевский, Вийон, Акутагава... И – Донелайтис. Их гением жив народ, их гением объединено и призвано человечество в своём будущем, как бы банально это ни звучало. Ведь истины, даже становясь банальными, не перестают быть истинами...

...Даже следы поселения Лаздинеляй, где родился Кристийонас Донелайтис, за-

терялись во времени и стёрты человеческой ожесточенностью. Две мировые войны уже в XX веке прогремели над этим местом и «нет уже здесь ни старых дубов, ни берёзовой рощи»... Словно предчувствуя апокалиптичность человеческих деяний, поэт предупреждает в своей проповеди:

…Адские чудища вылезут в мир из подземного пекла, И меж учёных господ, и меж буров непросвещённых Только обман да коварство увидим одно повсеместно... Зрим и теперь ежедневно, как черти, господствуя всюду, Космы зловещим безбожникам ожесточённей лохматят... (перевод Clandestinus)

Он не пугает – предупреждает, предостерегает и страдает болью тех, будущих (нас!), которым в венах перетекает кровь рабов и лакеев... Ибо, оставляя себе лазейку для оправдания собственной слабости, лености, подражательства и зависти, уничижения слабых и заискивания перед сильными, – мы усугубляем зло, оставляя проблемы – потомкам. Вчера – готовя век ХХ-й с его предупреждением самоубийственности этой агрессивной цивилизации, вкладывающей больше средств в оружие самоуничтожения, нежели в созидание. А ныне, уже в третьем тысячелетии, чьим голосам внимаем мы?..

Видимо, художник с его даром провидения и талантом внушения, полученным свыше, и становится тем колоколом, звуки языка которого, преломляясь в слова разных народов, входят ясным зовом к добру и пониманию значимости наших деяний для этой земли. Такой малой по сути и очень ранимой. И вовсе не важно, на каком языке изначально сказано верное слово. Оно – трансформируется, если честно и гармонично, открывая другим народам свой опыт соседствования и взаимопонимания.

Ибо в итоге мы – земляне.

Это лишний раз подтверждает и бережное сохранение памяти литовского поэта в его доме-музее и бывшем приходе в Тольминкемисе – ныне Чистых прудах. И бюст Донелайтиса, установленный несколько лет назад в Гусеве (бывший Гумбиннен) на средства жителей. Совсем недавно в Чистых Прудах (приход Тольминкемис) на месте погибшего сада, в своё время выпестованного Донелайтисом, деятели культуры двух народов вновь заложили сад, который непременно зацветёт к юбилею поэта. К тому же это издание Пен-клуба – полный свод творчества литовского гения – юбилейное: десятое издание К. Донелайтиса на русском языке по счёту вообще. Новое оформление и новый перевод.

Да, именно это издание, которое, хочется надеяться, откроет и молодому русскому читателю ещё один аспект в культуре литовского народа, его корнях и нравственных традициях. Ибо вне уважения к духовным основам другого народа не может быть и уважения к культуре собственной. А вне её – кто мы? И какое будущее себе готовим?!..

Вяч. К.